

The book cover features a composite background. At the top, there are autumn leaves in shades of orange and red. Below them, a bright sun or light source is partially obscured by a red, flowing fabric or ribbon that trails across the sky. The sky is a pale blue with soft clouds. In the lower half, the silhouettes of two children stand on a grassy hill, looking out over a city. The city is rendered in a desaturated, blue-tinted style, showing domes and minarets, characteristic of a Middle Eastern or South Asian setting. The overall mood is contemplative and hopeful.

ХАЛЕД ХОССЕЙНИ

АВТОР РОМАНОВ «И эхо летит по горам»
И «Тысяча сияющих солнц»

Бегущий за ветром

ОДИН ИЗ САМЫХ ЧИТАЕМЫХ СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
ОБЩИЙ ТИРАЖ ДВУХ РОМАНОВ ХАЛЕДА ХОССЕЙНИ – 40 МИЛЛИОНОВ

The book cover features a warm, autumnal color palette. At the top, there are large, detailed illustrations of red and orange leaves. The background is a soft-focus image of a city with domes and minarets, likely Kabul, under a hazy sky. A bright sun is positioned behind a red kite that is flying across the upper half of the cover. In the lower right, the silhouettes of two children are visible against the cityscape; one child is standing with their arm raised, while the other is slightly behind them. The title is written in a large, blue, handwritten-style font in the center. The author's name is at the top in a gold, serif font, and the book's accolades are at the bottom in a gold, sans-serif font.

ХАЛЕД ХОССЕЙНИ

АВТОР РОМАНОВ «И эхо летит по горам»
и «Тысяча сияющих солнц»

Бегущий за ветром

ОДИН ИЗ САМЫХ ЧИТАЕМЫХ СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
ОБЩИЙ ТИРАЖ ДВУХ РОМАНОВ ХАЛЕДА ХОССЕЙНИ – 40 МИЛЛИОНОВ

Халед Хоссейни
Бегущий за ветром

*Эта книга посвящается Хэрису и Фаре, светочам моих
очей,
и всем детям Афганистана*

Декабрь 2001 года

Тем, кто я есть, я стал зимой 1975 года, в морозный пасмурный день. Эта минута навсегда врезалась мне в память: пригнувшись, я хоронюсь за саманной стеной у замерзшего ручья и украдкой наблюдаю за тем, что совершается в переулке. Все это происходило давно, но не верьте расхожим присказкам, что, мол, «было и быльем поросло». Прошное впивается в тебя словно когтями, не оторвешь. Оглядываясь сейчас назад, я четко понимаю: вот уже двадцать шесть лет кряду я тайком наблюдаю за тем, что творится в переулке. И нет этому конца.

Этим летом мне позвонил из Пакистана мой друг Рахим-хан и попросил приехать. Я стоял в кухне, прижав к уху телефонную трубку, и сознавал: это не простой звонок. Меня настигло прошлое, мои неискупленные грехи. Закончив разговор, я вышел прогуляться. Путь мой пролегал вдоль озера Спрекелс у северной границы парка «Золотые Ворота».^[1] Едва перевалило за полдень, солнечные лучи сверкали на поверхности озера, по воде пробегала легкая рябь. Свежий ветерок раздувал паруса игрушечных корабликов. В небе плыла пара красных воздушных змеев, их длинные голубые хвосты полоскались в воздухе. Люди, деревья, ветряные мельницы и прочая мелочь остались далеко внизу, и змеи величественно созерцали Сан-Франциско, город, который стал мне домом. И тут я услышал слова Хасана: «Для тебя хоть тысячу раз подряд». Голос мальчика с заячьей губой, который обожал запускать воздушные змеи и всегда первым прибежал к месту их приземления, отчетливо прозвучал у меня в голове.

Я присел на лавку под ивой, стараясь переварить слова, которыми Рахим-хан закончил разговор: «Тебе выпала возможность снова встать на стезю добродетели». Глядя на воздушных змеев, я думал о Хасане. Думал о Бабé. Об Али. Вспоминал Кабул. Вспоминал, как я жил, пока не настала зима 1975 года. Эта зима все изменила. И сделала меня таким, какой я есть.

В детстве мы с Хасаном частенько залезали на какой-нибудь из тополей, росших во дворе у дома моего отца, и пускали солнечные зайчики в окна соседям. С карманами, набитыми сушеными тутовыми ягодами и грецкими орехами, мы забирались высоко, садились каждый на свою ветку, свешивали ноги и по очереди ловили лучи осколком зеркала. Весело хихикая, мы набивали рты ягодами, кидались ими друг в друга. Так и вижу Хасана на дереве: солнечные лучи играют в листве, трепещут на его круглом лице, словно вырезанном из дерева, — плоский широкий нос, раскосые глаза, формой напоминающие бамбуковые листья (в зависимости от освещения глаза у Хасана становились то золотистыми, то зелеными, порой даже бирюзовыми). Вижу его маленькие приплюснутые уши и выпирающую косточку на подбородке, словно у китайца-кукольника соскользнул резец. А может быть, мастер просто устал и допустил небрежность.

Иногда, сидя на дереве, я подговаривал Хасана пухнуть из рогатки орехом в соседскую одноглазую немецкую овчарку. Хасан поначалу не соглашался, но если я просил, *настоящему* просил, он не мог мне отказать. Он всегда выполнял любую мою просьбу, а с рогаткой был просто неразлучен. Случалось, Али, отец Хасана, ловил нас на шалости и выходил из себя (насколько мог выйти из себя такой мягкий человек). Али грозил нам пальцем и велел немедленно слезать. На земле он отбирал у нас зеркальце и повторял слова своей матери: дьявол насылает в зеркала отблески, дабы отвлекать мусульман от молитвы. «И смеется при этом», — неизменно говорил он, с укоризной глядя на сына.

«Да, отец», — бормотал в ответ Хасан, потупившись. Но он ни разу меня не выдал. Ни разу не сказал, что это я всегда был зачинщиком всякой проказы и что страдания соседской собаки (да и солнечные зайчики тоже) — на моей совести.

Тополя росли вдоль вымощенного красным кирпичом проезда к нашему дому. Ворота из кованых железных прутьев открывались внутрь, во двор. Если смотреть с улицы, дом стоял по левую сторону, а в самом дальнем конце участка располагался задний двор.

Все соглашались, что особняк моего отца, моего Бабы, был самым красивым в Вазир-Акбар-Хане, новом богатом районе на севере Кабула.^[2] А может, и во всем Кабуле. Обсаженный розами широкий проход вел к просторному дому с мраморными полами и широкими окнами. Узорчатые мозаичные панно для четырех ванных комнат Баба заказывал в Исфагане. Купленные в Калькутте ковры, шитые золотом, украшали стены, со сводчатого потолка свисали хрустальные люстры.

Наверху располагались моя ванная, комната Бабы и его пропахший табаком и корицей кабинет, или «курильная». Здесь хозяин и гости отдыхали в кожаных креслах после обеда, поданного Али, курили и беседовали. Обыкновенно тем для разговоров было три: политика, бизнес, футбол. Мне всегда очень хотелось присоединиться к ним, но Баба не разрешал.

— Уходи немедленно, — говорил он мне, стоя на пороге кабинета. — Здесь взрослые беседуют. Иди почитай книжку.

И он захлопывал дверь, а я, гадая, смогу ли хоть когда-нибудь разделить компанию со «взрослыми», опускался на пол, поджимал колени к подбородку и сидел так час или два, подслушивая. До меня долетали громкие возгласы и взрывы смеха.

В гостиной на первом этаже, вдоль плавно изгибающейся стены, выстроились шкафчики, выполненные по индивидуальному заказу. За стеклянными дверцами скрывались семейные снимки в рамках, и среди них — зернистое фото моего деда и короля Мухаммеда Надир-шаха, снятое в 1931 году, за два года до покушения; дед и король стоят над убитым оленем, оба в ботинках до колен, ружья закинута за плечо. Имелась и свадебная фотография моих родителей: бравый Баба в черном костюме и мама вся в белом, словно юная принцесса. А на этом снимке Баба у нашего дома со мной — совсем еще маленьким — на руках, рядом — его лучший друг и компаньон Рахим-хан, лица у всех серьезные, утомленные, даже мрачные. Пальцы мои вцепились в рукав Рахим-хану, а не отцу.

Изгиб стены тянулся до самой столовой, посередине которой стоял стол красного дерева. За этот стол свободно могли сесть тридцать гостей, что, кстати, и происходило чуть ли не каждую неделю, благо отец мой любил пиры. Панораму зала замыкал огромный мраморный камин, зимой в нем всегда пылал огонь.

Большая стеклянная сдвижная дверь вела на полукруглую веранду, окна веранды выходили на задний двор (целых два акра) и на вишневый сад. У восточной стены Баба и Али разбили небольшой огород: помидоры, мята, перец и высаженная в ряд кукуруза, которая почему-то никогда как следует не вызревала. Мы с Хасаном прозвали это место «стена чахлой кукурузы».

В южной части сада, в тени локвы, стоял дом слуг, скромная глинобитная хижина, где жили Али и Хасан.

Здесь, в этой лачуге, зимой 1964 года, ровно через двенадцать месяцев после того, как моя мама умерла, когда рожала меня, Хасан и появился на свет.

За все восемнадцать лет, прожитые в доме отца, я считанные разы бывал у Али и Хасана. Когда солнце пряталось за холмы и играм на сегодня наступал конец, Хасан и я расставались. Я шагал меж розами к особняку отца, а Хасан скрывался в саманном домике, где родился и прожил всю свою жизнь. В слабом свете двух керосиновых ламп жилище поражало скудостью обстановки, чрезвычайным порядком и чистотой. Два тюфяка у противоположных стен, между ними старенький гератский ковер с обтрепанными краями, трехногая табуретка в углу у стола, за которым Хасан рисовал. Почти голые стены, только один коврик с вышитыми бисером словами «*Аллах Акбар*». Баба купил его для Али в одну из своих поездок в Мешхед.^[3]

Здесь, в этой лачуге, Санаубар, мать Хасана, родила его холодным зимним днем 1964 года. Моя мама истекла кровью при родах. А Хасан потерял свою мать через неделю после того, как появился на свет. Тяжкая доля досталась в удел Санаубар, хуже смерти, как сказало бы большинство афганцев, — она сбежала с трупой бродячих певцов и танцоров.

Хасан никогда не упоминал о своей матери, будто ее и не было вовсе на свете. Думал ли он о ней, хотел ли, чтобы она вернулась, тосковал ли, как я тосковал по своей маме, которой никогда не видел?

Как-то мы пробирались в кинотеатр «Зейнаб» на новый иранский фильм коротким путем — через территорию казармы у средней школы «Истикляль». Баба запретил нам ходить этой дорогой, но он сейчас был в Пакистане вместе с Рахим-ханом. Мы перелезли через забор, перепрыгнули через ручей и оказались на грязном плацу, где пылились старые списанные танки. В тени одного из них сидела группа солдат, они курили и играли в карты. Один из служивых приметил нас, толкнул соседа и окликнул Хасана:

— Эй, ты! Я тебя знаю.

Коренастый, бритоголовый, черная щетина на щеках — мы никогда его прежде не видели. Его злобная ухмылка испугала меня.

— Не обращай внимания, — шепнул я Хасану. — Не останавливайся.

— Ты! Хазара!^[4] Я с тобой говорю! Ну-ка, посмотри на меня! — рывкнул солдат, передал сигарету соседу, поднял руки, чтобы всем было видно, и принялся совать палец в кулак. Туда-сюда, туда-сюда. — Я был близко знаком с твоей матерью, знаешь? Ой как близко. Я поимел ее прямо у этого ручья.

Солдаты засмеялись. Один даже зашелся в визге.

— Какая у нее узенькая сладкая манда! — Скалясь, солдат пожимал руки товарищам.

В темноте кинозала, когда сеанс уже начался, Хасан закричал, и слезы покатались у него по щекам. Я обнял его, притиснул к себе. Хасан положил голову мне на плечо.

— Он тебя с кем-то перепутал, — прошептал я ему на ухо. — Он принял тебя за другого.

Мне говорили, что никто особенно не удивился, когда Санаубар сбежала. Люди изумлялись другому: как это Али, человек, наизусть знающий Коран, мог жениться на Санаубар, женщине моложе его на девятнадцать лет, красивой, но развратной и бессовестной, чья дурная репутация была вполне заслуженной. Правда, они с Али были шииты^[5] и хазарейцы. К тому же она доводилась ему двоюродной сестрой, вроде бы выбор правильный. Только больше ничего общего между ними не было. Прекрасные зеленые глаза и веселое личико Санаубар многих мужчин ввели во грех. По крайней мере, так говорили. А у Али был врожденный паралич мимических мускулов, он не мог улыбаться, и его неподвижное лицо было словно высечено из камня. Только глаза смеялись или грустили. Говорят, глаза — зеркало души. Что правда, то правда, если речь идет об Али.

Своей походкой, одним движением бедер Санаубар пробуждала в мужчинах нечестивые мысли. Али же припадал на правую ногу, скрюченную и высушенную полиомиелитом. Как-то он взял меня с собой на базар. Мне было лет восемь. Шагая вслед за Али, я старался подражать его шаткой походке. Изуродованная правая нога совсем его не слушалась, просто чудо, что он ни разу не упал. Я и то чуть не свалился в придорожную канаву и захихикал при этом. Али обернулся, посмотрел на меня и ничего не сказал. Ни тогда, ни потом. Шел себе и шел.

Маленькие соседские дети боялись Али из-за его лица и походки. А вот с детьми постарше была просто беда. Когда он выходил, они увязывались за ним и дразнили как могли. Некоторые называли его *Бабалу*, страшилище. Эй, Бабалу, кого ты сегодня слопал? (Взрыв смеха.) Кого ты сожрал, плосконосый Бабалу?

У Али (как и у Хасана) были характерные для хазарейцев монголоидные черты лица, вот его и прозвали «плосконосый». «Они потомки монголов и смахивают на китайцев» — это все, что я знал тогда о хазарейцах. Школьные учебники упоминали о них походя и только в прошедшем времени. Но как-то в кабинете Бабы мне в руки попала старая матушкина книга иранского автора Хорами. Я сдул с нее пыль, взял с собой, чтобы почитать на сон грядущий, раскрыл и был потрясен, обнаружив, что народу Хасана, хазарейцам, посвящена целая глава. Оказалось, мы, пуштуны, исторически преследовали и угнетали хазарейцев, вот те и подняли в девятнадцатом веке бунт, который был «подавлен с неслыханной жестокостью». В книге говорилось, что мой народ перебил массу хазарейцев, продал в рабство их женщин, сжег их дома и изгнал с родных земель. В книге говорилось, что хазарейцы — шииты, и это одна из причин ненависти к ним суннитов-пуштунов. В книге было еще много такого, чему нас не учили в школе и о чем даже Баба никогда не упоминал.

Ну а кое о чем я уже знал. Например, о том, что люди обзывают хазарейцев «*пожирателями мышей*», «*плосконосыми*» и «*вьючными ослами*». Соседские дети кричали эти гадкие слова вдогонку Хасану.

Как-то после занятий я показал эту книгу учителю. Он пролистнул несколько страниц, скривился и отдал мне книгу обратно.

— Единственное, что у шиитов хорошо получается, — сказал он, брезгливо морща нос при слове «шииты», будто упоминал о какой-то дурной болезни, — это мученическая смерть.

Санаубар, несмотря на принадлежность к одному с Али народу и связывающие их кровные узы, тоже любила насмехаться над мужем и прилюдно называла его уродом.

— И это муж? — фыркала она. — Старый осел был бы куда лучше.

В конце концов люди стали подозревать, что Али о чем-то договорился с дядей, отцом Санаубар, а женитьба — просто часть договоренности. Ходил слухок, что он женился на двоюродной сестре, дабы восстановить доброе имя дяди. Хотя, что скрывать, невелика честь. Какое уж там богатство у Али, сироты с пяти лет!

Али никогда не отвечал своим мучителям — отчасти, может быть, потому, что ему было за ними просто не угнаться. С его-то ногой! Но главное, что делало Али нечувствительным к оскорблениям, это сын, которого ему родила Санаубар. Все произошло предельно просто. Ни акушеров, ни анестезиологов, ни сложной аппаратуры, только нечистый голый тюфяк, Али и повитуха. Причем толку от повитухи было чуть. Всегда верный себе, Хасан был просто неспособен причинить боль другому человеку. Даже при собственных родах. Пара схваток, короткий всхлип — и Хасан появился на свет. С улыбкой на лице.

Как поведала соседскому слуге болтливая повитуха (а слуга затем оповестил всех и каждого), Санаубар бросила взгляд на новорожденного на руках у Али, увидела раздвоенную губу и горько расхохоталась:

— Вот тебе ребенок-дурачок, пусть теперь улыбается за тебя!

Она даже отказалась взять Хасана на руки, а через несколько дней исчезла.

Для Хасана Баба нанял ту же кормилицу, что годом раньше для меня. По словам Али, она была голубоглазая хазарейка из Бамиана, города, знаменитого гигантскими статуями Будды.

— Как замечательно она пела! — часто повторял Али.

— А что она пела? — спрашивали мы, хотя сами прекрасно это знали. Уж на этот счет Али нас просветил. Нам просто хотелось послушать, как поет сам Али.

Отец Хасана прочищал глотку и заводил:

На высокой горе я стоял

И выкликал имя Али, Божьего Льва.

О Али, Божий Лев, царь людей,

Приди и вдохни радость в наши опечаленные сердца.

Закончив петь, он неизменно напоминал нам о братстве между людьми, вскормленными одной грудью, о родственных узах, перед которыми бессильно даже время.

Меня и Хасана вскормила одна женщина. Свои первые шаги мы сделали на одной и той же лужайке на одном и том же дворе. И под одной крышей мы произнесли наши первые слова.

Я сказал: «Баба».

Он сказал: «*Амир*». Произнес мое имя.

Оглядываясь теперь назад, я вижу: эти наши первые слова заложили основы всего, что случилось зимой 1975 года. По ним все и исполнилось.

Предание гласило, что однажды в Белуджистане^[6] мой отец голыми руками задушил гималайского медведя. Если бы эту историю рассказывали о ком-то другом, в нее никто бы не поверил, ведь афганцы любят преувеличивать, это у нас уже превратилось в национальный недуг. Если кто-то говорит, что сын у него — доктор, вполне возможно, что этот самый сын всего лишь сдал когда-то экзамен по биологии в средней школе. Но насчет Бабы и тени сомнения ни у кого не возникало. Да и откуда же тогда у него взялись три параллельных шрама через всю спину? Много раз перед глазами у меня вставала картина смертельного поединка, но как я ни старался, не мог различить, где отец, а где медведь.

Это Рахим-хан первым назвал отца *Туфан-ага* — господин Ураган. Меткое прозвище прижилось. Отец и впрямь казался живым воплощением стихии, образцовым пуштуном. Копна непослушных каштановых кудрей, густая борода, ручки, которые, казалось, легко могли вырвать с корнем молодое дерево, грозный взгляд, способный «заставить самого дьявола молить на коленях о пощаде», как говаривал Рахим-хан. Стоило отцу (а росту в нем было под два метра) появиться на каком-нибудь многолюдном рауте, как все головы поворачивались за ним, словно подсолнухи за солнцем.

Даже во сне Баба громко заявлял о себе. Сколько раз я затыкал уши ватой и с головой накрывался одеялом, все равно храп Бабы — этот рык мощного двигателя — настигал меня. А ведь наши спальни разделял холл! Как мама могла спать с ним в одной комнате, осталось для меня загадкой. Если бы нам суждено было свидеться, я бы о многом ее расспросил. И насчет храпа тоже.

Где-то в конце шестидесятых (мне исполнилось пять или шесть лет) Баба решил построить приют для сирот. Рахим-хан рассказывал мне, что все чертежи Баба выполнил сам, хотя раньше никогда строительными проектами не занимался. Скептики уговаривали его бросить дурить и нанять профессионального архитектора. Баба, разумеется, отказался, и добрые люди только головой качали, порицая его за упрямство. Когда у него все получилось, опять последовало покачивание головами, только на этот раз в нем сквозило уважение. Баба не только построил двухэтажное здание недалеко от реки Кабул, но и оплатил из своих средств все прочие расходы, связанные со строительством, лично рассчитался до гроша с каменщиками, электриками, водопроводчиками, не говоря уже о чиновниках из муниципалитета, ибо сказано: «не подмажешь — не поедешь».

На строительство приюта ушло три года. К тому времени мне исполнилось восемь, и я отчетливо помню торжественное открытие. Накануне мы с Бабой ездили на озеро Карга, что в нескольких километрах к северу от Кабула. Баба просил меня позвать и Хасана, но я наврал, что у Хасана понос, и он с нами не поехал. Мне хотелось побыть с Бабой наедине. К тому же мы уже были как-то втроем на озере, кидали камешки по воде, и плоский голыш Хасана срикошетил целых восемь раз, прежде чем утонул. У меня больше пяти раз не выходило. А Баба все видел, и похлопал Хасана по плечу, и даже обнял.

Мы расположились на берегу озера (только Баба и я) и устроили пикник — у нас с собой были яйца вкрутую и *кофта* — завернутые в лепешки *нан*^[7] тефтели из молотой баранины с маринованными овощами. На зеркальной глади водоема играло солнце, вода была темно-

синяя. По пятницам кабульцы выезжают на озеро целыми семьями, но в середине недели кроме меня и Бабы да нескольких лохматых и бородатых туристов с удочками — я знал, что их называют «хиппи», — на берегу не было ни души. Я спросил у Бабы, зачем они отрастили такие длинные волосы, но он только неразборчиво буркнул что-то в ответ, весь погруженный в написанную от руки завтрашнюю речь. С карандашом в руках Баба делал какие-то пометки. Я очистил яйцо и спросил Бабу, правду ли говорил в школе один мальчик, что если проглотить яичную скорлупу, надо сразу же выблевать ее обратно. Баба опять промычал что-то невразумительное.

Я прожевал кусок лепешки. Желтоволосый турист рассмеялся чему-то и хлопнул другого туриста по спине. На противоположном берегу грузовик с ревом одолевал крутой подъем, от зеркала заднего вида разлетались зайчики.

— По-моему, у меня *саратан*, — сказал я. — Рак то есть.

Баба поднял голову от бумаг, зашелестевших от налетевшего ветерка, и сказал, что сода в багажнике и чтобы я сам пошел и взял ее.

На следующий день столько народу пришло на открытие, что стульев в приюте не хватило, и многим пришлось стоять. День был ветреный. Баба произносил торжественную речь с небольшого возвышения перед главным входом в новое здание, я сидел за спиной у отца. На Бабе был зеленый костюм и каракулевая шапка. Только он заговорил, как порыв ветра чуть было не сдернул с него шапку. Все засмеялись, а Баба повернулся ко мне и передал папаху, чтобы я подержал ее, пока он произносит речь. Я был счастлив, ведь теперь каждый увидел, что он *мой* отец, *мой* Баба.

— Надеюсь, этот дом будет основательнее сидеть на своем фундаменте, чем эта шапка на голове, — сказал в микрофон Баба, и все снова засмеялись.

Когда Баба закончил, все встали и захлопали. Аплодисменты долго не смолкали. Потом настал черед рукопожатий. Некоторые подходили ко мне, ерошили мне волосы и пожимали руку, как и отцу. Я гордился им. И нами.

И все-таки, несмотря на все успехи, в отношении людей к Бабе сквозило что-то вроде недоверия. Поговаривали, что бизнес — не его призвание, уж лучше бы он изучал право, как его отец. Ну тут Баба всем показал, как надо вести дела. Со временем он стал одним из самых богатых предпринимателей в Кабуле. Со своим партнером Рахим-ханом они создали процветающую компанию по экспорту ковров. Кроме того, им принадлежали две аптеки и ресторан.

Словно в ответ на насмешки, что ему никогда не найти себе достойную супругу, — сам Баба был происхождения незнатного — он взял в жены мою матушку, Софию Акрами, блестяще образованную женщину, преподавательницу классической персидской литературы в университете и, по общему мнению, одну из красивейших, достойнейших и добродетельнейших девушек Кабула. К тому же в ее жилах текла королевская кровь. Так что когда Баба шутливо представлял ее своим друзьям и врагам «моя принцесса», он имел на то все основания.

Разумеется, Баба старался изменить окружающий мир «под себя». Вот только со мной у него ничего не получалось. И конечно же, мир для него был черно-белым, причем Баба сам решал, что черное, а что белое. Такой человек внушает любовь и вместе с тем страх. А порой даже возбуждает ненависть.

В пятом классе начались занятия по исламу. Вел их мулла по имени Фатхулла-хан, коренастый плотный человек с рябым лицом и хриплым голосом. Он толковал нам о пользе

выплаты *закята*^[8] и об обязанности совершить хадж, учил, как правильно совершать ежедневный пятикратный намаз, и заставлял вызубривать стихи из Корана, добиваясь с помощью розги, чтобы мы верно произносили арабские слова (хотя их значение оставалось для нас тайной), дабы они достигли ушей Аллаха. Как-то он просветил нас, что ислам считает пьянство великим грехом, за который пьяница ответит на *Киямате*, Судном дне. Надо сказать, в те дни в Кабуле выпивали многие, и никто не подвергал провинившихся публичной порке, хотя, конечно, на употребление алкоголя смотрели косо. Любители покупали бутылку виски, упакованную в оберточную бумагу, в качестве «лекарства» в известных им аптеках и, выходя на улицу, старались засунуть сверток подальше от посторонних глаз.

Придя в тот день домой, я поднялся наверх, в «курительную», и передал отцу слова законоучителя. Баба как раз наливал себе виски у бара в углу комнаты. Он выслушал меня, кивнул, отхлебнул из стакана, опустил на кожаный диван и посадил меня к себе на колени — все равно что на два бревна. Затем сделал глубокий вдох и выдохнул через нос — его усы, казалось, трепетали целую вечность. Я уж и не знал, то ли обнять его, то ли испугаться и убежать.

— Вижу, то, чему сейчас учат в школе, тебя смутило, — наконец проговорил Баба басом.

— Но ведь если он сказал правду, получается, ты грешник, отец.

— Хм-м-м. — Баба раскусил кубик льда. — Хочешь знать, что твой отец думает насчет греха?

— Да.

— Я скажу тебе. Только запомни хорошенько, Амир, эти бородатые болваны никогда не научат ничему хорошему.

— Ты имеешь в виду муллу Фатхуллу-хана?

Баба повел рукой, в которой сжимал стакан. Лед звякнул.

— Я имею в виду всех этих самодовольных обезьян, достойных лишь плевать в бороду.

Я представил себе, как Баба плюет в бороду обезьяне (хоть бы и самодовольной), и захихикал.

— Они способны только теревить четки и цитировать книгу, языка которой они даже не понимают. — Баба отпил глоток. — Не приведи Аллах, если они когда-нибудь дорвутся до власти в Афганистане.

— Но мулла Фатхуллу-хан вполне приятный, — с трудом выдавил я, корчась от смеха.

— Чингисхан, говорят, тоже был приятным малым. Но довольно об этом. Отвечаю на твой вопрос о грехе. Ты слушаешь?

— Да, — сказал я и плотно сжал губы, стараясь сдержать смех. Но хихиканье прорывалось через нос.

Баба холодно посмотрел мне в глаза, и охота смеяться у меня сразу прошла.

— Хоть раз в жизни с тобой можно поговорить как мужчина с мужчиной?

— Да, Баба-джан. — Слова отца больно задели меня. Такая минута — Баба нечасто говорил со мной, да еще посадив на колени, — а я своей дуростью все испортил.

— Отлично. — Баба отвел глаза в сторону. — Что бы ни говорил мулла, существует только один грех. Воровство. Оно — основа всех прочих грехов. Ты это понимаешь?

— Нет, Баба-джан. — Как мне хотелось постигнуть смысл слов отца и не разочаровывать его снова.

Баба раздраженно вздохнул — хотя вообще-то был человеком терпеливым. У меня

заныло сердце. Сколько раз он являлся домой затемно, и я вынужден был обедать один и все спрашивал у Али, где отец и когда придет, хотя и так знал, что Баба пропадает на стройплощадке — ведь без хозяйского догляда никак нельзя. Вот где нужно терпение, и немалое. Я уже ненавидел сирот, для которых он строил приют, и желал, чтобы они померли вслед за своими родителями.

— Убийца крадет жизнь, — сказал Баба. — Похищает у жены право на мужа, отбирает у детей отца. Лгун отнимает у других право на правду. Жулик забирает право на справедливость. Понимаешь теперь?

Я понимал. Когда Бабе исполнилось шесть, в дом деда среди ночи забрался вор. Дед, уважаемый судья, встал на защиту имущества, но вор ударил его ножом в горло — и убил на месте, лишив Бабу отца. Горожане поймали вора в ту же ночь, им оказался приезжий из Кундуза. До утренней молитвы оставалось еще целых два часа, а преступника уже повесили на ветке дуба. Обо всем этом мне рассказал Рахим-хан, не Баба. Я всегда узнавал об отце что-то новое исключительно от посторонних людей.

— Ничего нет презреннее воровства, Амир, — сказал Баба. — Тот, кто берет чужое, даже под угрозой жизни или ради куска хлеба... Плюю на такого человека. И не приведи Господь, чтобы наши пути сошлись. Понимаешь меня?

Мысль о том, что сделал бы Баба с вором, попадись преступник ему в руки, восхитила и испугала меня.

— Да, Баба.

— Если где-то там есть Бог, у него наверняка найдутся дела поважнее, чем следить за мной: а вдруг я пью виски и закусываю свининой? А теперь слезай. Что-то у меня жажда разыгралась от всех этих разговоров про грех.

И он подошел в бару и налил себе еще стаканчик.

И когда теперь придет черед следующей задушевной беседы? Я всегда чувствовал нелюбовь со стороны Бабы. Это ведь из-за меня умерла его обожаемая жена. И если бы я хоть чуточку походил на него характером! Но я был совсем другой. И со временем эта разница только углублялась.

В школе мы частенько играли в «шержанд-жи», «битву стихов». Учитель фарси ввел свои правила, и все проходило примерно так: ты произносишь несколько строк, а твой противник должен был ответить тебе стихом, начинающимся с той же буквы, которой заканчивалась твоя цитата. Все хотели играть в одной команде со мной, ведь к одиннадцати годам я знал наизусть десятки стихов Омара Хайяма, Хафиза, Руми.^[9] Однажды я бросил вызов всему классу и выиграл. Когда я радостно рассказал о своей победе Бабе, тот только пожал плечами и буркнул: «Молодец».

Утешение я находил в книгах покойной матери и в играх с Хасаном. Я глотал все подряд: Руми, Хафиз, Саади,^[10] Виктор Гюго, Жюль Верн, Марк Твен, Ян Флеминг. Перечитав все тома из матушкиной библиотеки — кроме трудов по истории, они казались мне скучными, поэмы и романы другое дело, — я стал тратить свои карманные деньги на книги. Часть матушкиных книг лежала в картонных коробках — там нашлось место и для моих приобретений из книжной лавки у «Кино-парка».

Быть мужем любительницы поэзии — это одно, но быть отцом мальчишки, который только и сидит, уткнув нос в книгу... нет, не таким Баба представлял себе своего сына. Настоящие мужчины не увлекаются поэзией и уж тем более не сочиняют стихов, Боже

сохрани! Настоящие мужчины — когда они еще мальчишки — играют в футбол, вот как Баба в юности. Футбол и сейчас оставался его страстью. Когда в 1970 году проходил чемпионат мира, Баба приостановил строительные работы и на месяц укатил в Тегеран смотреть матчи по телевизору. Своего-то телевидения в Афганистане тогда еще не было. В надежде разбудить во мне вкус к игре Баба записывал меня в различные футбольные команды. Только в игре на меня было жалко смотреть. На своих ножках-спичках я бессмысленно метался по полю, путался под ногами, орал: «Я свободен», отчаянно махал рукой, но никогда не получал пас. И чем больше я старался, тем меньше на меня обращали внимание товарищи по команде.

Но Баба не сдавался. Когда стало окончательно ясно, что ни крупницы его силы и ловкости я не унаследовал, отец решил сделать из меня ярого болельщика. Уж на это-то я сгожусь, ничего сложного тут нет. И я притворялся как мог — радовался вместе с ним, когда кабульцы забили кандагарцам, и вопил «судью на мыло», когда в наши ворота назначили пенальти. Однако Баба чувствовал, что интерес мой — деланный, и в конце концов смирился с тем, что ни игрока, ни настоящего болельщика из его сына не получится.

Помню, однажды Баба взял меня на ежегодный турнир по *бозкаши* (козлодранию), который всегда проходит в первый день весны, первый день нового года. Бозкаши — национальная страсть афганцев. *Чапандаз* — мастер-наездник, которому покровительствуют богатые спонсоры, — выхватывает из гущи схватки тушу козла и пускается вскачь вокруг стадиона, чтобы вбросить козла в специальный круг, а все прочие участники всячески стараются ему помешать: толкают, цепляются за тушу, хлещут всадника кнутом, бьют кулаками. Их цель — добиться, чтобы он выронил козла. Толпа вопила, в толкотне и пылище воинственно визжали всадники, под копытами дрожала земля. Мы сидели на самом верху стадиона, а под нами летели по кругу состязающиеся, и пена обильно срывалась с лошадиных морд и шлепалась на землю.

Тут Баба указал мне на кого-то на трибуне:

— Амир, видишь вон того человека, со всех сторон окруженного людьми?

— Да.

— Это Генри Киссинджер.

— Ах, вот это кто.

Я понятия не имел, кто такой Генри Киссинджер, и собирался спросить. Но в этот момент, к моему несказанному ужасу, чапандаз свалился с седла прямо под лошадиные копыта. Под ударами тело его закувыркалось в воздухе словно тряпичная кукла, упало на землю (соперники проскакали дальше), дернулось и застыло. Руки-ноги несчастного были неестественно выгнуты, песок потемнел от крови.

Я зарыдал.

Всю дорогу домой я проплакал. Помню, как Баба вцепился в руль, и пальцы его то сжимались, то разжимались. Никогда не забуду отвращения на его лице, которое он не смог скрыть. Как ни старался.

Позже, ближе к вечеру, я проходил мимо кабинета отца и слышал голоса. Отец беседовал о чем-то с Рахим-ханом.

Я приложил ухо к закрытой двери.

— ...Слава богу, у него все в порядке со здоровьем, — сказал Рахим-хан.

— Конечно. Но он вечно сидит уткнувшись в книгу или с мечтательным видом слоняется по дому.

— И что же?

— Я был не такой. — Слова Бабы прозвучали мрачно и зло.

Рахим-хан рассмеялся:

— Дети — не книжки-раскраски. Их не выкрасишь в любимый цвет.

— Говорю же тебе, я был совсем другой. И дети, среди которых я рос, были не такие.

— Знаешь, ты такой эгоцентрик иногда, — произнес Рахим-хан. Из числа наших знакомых он был единственный, кто мог позволить себе сказать Бабе такое.

— Это здесь ни при чем.

— Да неужто?

— Да.

— В чем же тогда дело?

Диван под Бабой заскрипел. Я закрыл глаза и еще теснее прижал ухо к двери.

— Иногда я гляжу в окно, как он играет на улице с соседскими детьми. Они командуют им, отнимают игрушки, толкают, пинают. А он никогда не даст сдачи.

— Он просто мягкий человек.

— Я не об этом, Рахим, ты прекрасно знаешь, — рявкнул Баба. — В этом мальчике как будто чего-то нет.

— В нем нет низких побуждений.

— Самозащита — не низость. Знаешь, что всегда происходит, когда соседские мальчишки задрагивают его? Появляется Хасан и прогоняет их. Я это видел собственными глазами. А когда я его дома спрашиваю, почему у Хасана лицо поцарапано, Амир отвечает: «Упал». Рахим, в нем точно нет чего-то важного.

— Позволь уж ему определиться самому.

— И где он окажется? — спросил Баба. — Из мальчика, который не может постоять за себя, вырастет мужчина, на которого нельзя будет положиться ни в чем.

— Ты, как обычно, все упрощаешь.

— Не думаю.

— Ты боишься, что не сможешь ему передать свой бизнес, вот и злишься.

— Вот уж упрощение так упрощение! — захохотал Баба. — Я знаю, вы любите друг друга, и очень этому рад. Меня зависть берет, но я рад. Вот что я хочу сказать. Хорошо бы рядом с ним был человек, который бы его... понимал. Бог свидетель, я его не понимаю. И кое-что в Амуре меня ужасно тревожит. Мне трудно выразить, что именно... (Перед глазами у меня так и встал образ отца, подыскивающего нужные слова. Хоть он и понизил голос, я все отчетливо слышал.) Если бы жена не родила его у меня на глазах, я бы не поверил, что он мой сын.

На следующее утро, накрывая мне к завтраку, Хасан спросил, чем я расстроен.

— Отстань! — заорал я.

Насчет низости Рахим-хан ошибался.

В 1933 году, когда родился Баба, а на трон сел Захир-шах, правивший потом Афганистаном целых сорок лет, двое молодых людей — два брата из богатой и уважаемой кабульской семьи — накурились как-то гашиша, от души угостились французским вином и отправились покататься на отцовском «форде-родстере». На пагманском шоссе они задавили двух хазарейцев — мужа и жену. Виновники происшествия с раскаянием на лицах и пятилетний хазарейский мальчик, оставшийся сиротой, предстали перед судом. Судьей был мой дед — уважаемый человек с безупречной репутацией. Выслушав дело и ознакомившись с прошением о помиловании, поданным отцом молодых людей, дед вынес решение: год принудительной воинской службы в Кандагаре. У обоих имеется официальное освобождение от призыва? Аннулируется. Отец семейства, конечно, протестовал, но как-то вяло, и все в конце концов согласились, что лихачей постигло наказание хоть и суровое, но справедливое. Сироту же судья взял к себе в дом, наказав прочим слугам обучить мальчика, чему следует, но не обижать.

В детстве Али и Баба были товарищами по играм (пока полиомиелит не изуродовал Али ногу) — совсем как я и Хасан, следующее поколение. Баба любил рассказывать о проказах, которые они учиняли вместе, но Али всегда только головой качал.

— Ага-сагиб, вы им лучше скажите, кто был заводилой, а кто — простым исполнителем?

Баба в ответ лишь смеялся и обнимал Али за плечи.

Так-то оно так. Только ни разу он не назвал Али своим другом.

Странное дело, я ведь в глубине души тоже не считал Хасана другом в обычном смысле слова. Неважно, что мы сообща учились ездить на велосипеде «без рук» или на пару сооружали фотоаппарат из картонной коробки. Неважно, что зимой мы с Хасаном вместе запускали воздушных змеев чуть ли не каждый день. Да, тонкокостная фигурка бритоголового мальчика с низко посаженными ушами и вечной улыбкой на изуродованных губах в некотором роде олицетворяла для меня Афганистан, ну и что? Все это бледнело перед лицом исторических и религиозных предрассудков. В конце концов, я пуштун, а он хазарец, я суннит, а он шиит. И никуда тут не денешься. Никуда.

С другой стороны, национальность национальностью, религия религией, но мы с пеленок были неразлучны. Двенадцать лет бок о бок — немалый срок. Иногда все мое детство представляется мне долгим разомлевающим летним днем. И Хасан неизменно рядом со мной. Двор, тень от деревьев, мы играем в догонялки, в прятки, в полицейских и воров, в ковбоев и индейцев, ловим и изучаем насекомых — как-то раз даже умудрились выдернуть жало у осы и обвязать бедняжку ниткой, чтобы она не смогла от нас никуда улететь.

Иногда через Кабул караванами проходили *кучи* — кочевники, направляющиеся на север, в горы. Заслышав приближающееся блеяние овец, меканье коз, звяканье колокольчиков на шеях верблюдов, мы выбегали на улицу, глазели на обветренные лица пропыленных мужчин, на яркие платки, на серебряные браслеты на руках и ногах у женщин, кидали камешки в коз, брызгали водой в мулов. По моему наущению Хасан усаживался на «стену чахлой кукурузы» и стрелял из рогатки в шествовавших мимо верблюдов.

На первый в моей жизни вестерн я ходил вместе с Хасаном. В «Кино-парке» (напротив которого находилась моя любимая книжная лавка) мы посмотрели «Рио Браво» с Джоном

Уэйном. Помню, как я просил Бабу взять нас с собой в Иран, чтобы мы могли встретиться с Уэйном. Баба разразился громовым хохотом, а когда к нему вернулся дар речи, объяснил нам, что такое дубляж. Мы с Хасаном были поражены. Просто потрясены. Оказалось, Джон Уэйн не говорит на фарси. И он вовсе не иранец! Он американец, как вся эта волосатая добродушная публика, что шляется по Кабулу в драных разноцветных рубашках. «Рио Браво» мы смотрели трижды, а «Великолепную семерку», наш любимый вестерн, тринадцать раз, и на каждом сеансе плакали, когда мексиканские ребяташки хоронят Чарльза Бронсона — тоже не иранца, как выяснилось.

Мы гуляли по затхлым базарам в квартале Шаринау или в новом районе Вазир-Акбар-Хан и обсуждали фильмы, пробираясь сквозь толпу, ловко лавируя между торговцами и нищими, прошмыгивая мимо прилавков, доверху заваленных товарами. Баба выдавал нам по десять афгани в неделю на карманные расходы, и мы тратили деньги на теплую кока-колу и на розовое мороженое, посыпанное молотыми фисташками.

Когда начинались занятия в школе, распорядок дня был твердый. Утром, пока я раскачивался, Хасан успевал умыться, совершить намаз вместе с Али и накрыть мне к завтраку: на обеденном столе меня ждал горячий черный чай, три кусочка сахара и поджаренный хлеб с кисловатым вишневым вареньем (моим любимым). Пока я ел и жаловался, какое трудное задали домашнее задание, Хасан заправлял мою постель, чистил мне ботинки, укладывал книги и карандаши, гладил одежду, напевая про себя старые хазарейские песни. Потом мы с Бабой садились в черный «форд-мустанг» и катили в школу, провожаемые завистливыми взглядами, — точно на такой же машине Стив Маккуин разъезжал в «Буллите», фильме, который в одном кинотеатре уже шесть месяцев не сходил с экрана. Хасан оставался дома и вместе с Али хлопотал по хозяйству: стирал и развешивал во дворе белье, подметал полы, ходил на базар за свежим хлебом, мариновал мясо на обед, поливал газон.

Владение моего отца находилось у южного подножия холма, напоминавшего по форме перевернутую чашу. Когда занятия в школе заканчивались, мы с Хасаном частенько брали с собой книжку и поднимались на вершину холма. За изъеденной снегами и дождями низкой каменной стеной тут раскинулось старое заброшенное кладбище, усеянное безымянными надгробиями и заросшее кустарником. Сразу за ржавыми железными воротами росло гранатовое дерево. Как-то я взял у Али с кухни нож и вырезал на стволе граната: «Амир и Хасан — повелители Кабула», как бы официально подтверждая, что дерево — наше. Мы срывали с него кроваво-красные плоды, насытившись, вытирали руки о траву, и я читал Хасану вслух.

Хасан сидел поджав ноги, свет и тень играли на его лице. Слушая меня, он машинально выдергивал из земли травинки и отбрасывал прочь. Хасан, как и Али, как и большинство хазарейцев, читать и писать не умел. Никто и не собирался учить его наукам — зачем слуге образование? Но вопреки своей неграмотности — а быть может, благодаря ей — Хасана захватывали книжные слова, он был очарован тайным миром, для него закрытым. Я читал ему стихи и прозу, одно время читал даже загадки, но скоро бросил, когда оказалось, что он разгадывает их куда быстрее меня. Зато в историях о злоключениях бедолаги Муллы Насреддина и его ишака материала для интеллектуального состязания не было.

Больше всего мне нравилось, когда попадалось слово, значения которого Хасан не знал. Пользуясь его невежеством, я не упускал случая посмеяться над ним. Как-то раз, когда я читал ему что-то про Муллу Насреддина, он прервал меня:

— Что значит это слово?
— Какое?
— «Кретин».
— Ты что, не знаешь? — ухмыльнулся я.
— Нет, Амир-ага.
— Да его ведь употребляют все кому не лень!
— А я его не знаю.

Если он и уловил издевку в моих словах, то виду не подал.

— Это слово известно всем в моей школе. «Кретин» — значит сообразительный, умный. Я так называю тебя. Если хотите знать мое мнение, говорю я людям, Хасан — настоящий кретин.

— Ага. Вот оно что.

Потом меня всегда мучила совесть, и я, стремясь искупить свой грех, дарил ему свою старую рубашку или поломанную игрушку. Себя я старался убедить, что это вполне достаточное вознаграждение за безобидную проделку, невольной жертвой которой стал Хасан.

Любимой книгой Хасана была эпическая поэма «Шахнаме» («Книга о царях»), сложенная в десятом веке и повествующая о древних персидских героях.^[11] Он был без ума от царей стародавних времен, от Феридуна, Золя и Рудабе. Но больше всего ему нравилась история о Рустеме и Сохрабе. Рустем, великий воин на быстроногом скакуне Рехше, смертельно ранит в битве доблестного Сохраба, и тут оказывается, что Сохраб — его пропавший сын. Сраженный горем, Рустем слышит предсмертные слова сына.

*Когда таким Рустема увидал
Сохраб — на миг сознание потерял.
Сказал потом: «Когда ты впрямь отец мой,
Что ж злобно так ускорил ты конец мой?
„Кто ты?“ — я речь с тобою заводил,
Но я любви в тебе не пробудил.
Теперь иди кольчугу расстегни мне.
Отец, на тело светлое взгляни мне.
Здесь, у плеча, — печать и талисман,
Что матерью моею был мне дан.
Когда войной пошел я на Иран
И загремел походный барабан,
Мать вслед за мной к воротам поспешила
И этот талисман твой мне вручила.
„Носи, сказала, втайне! Лишь потом
Открой его, как встретишься с отцом“».
Рустем свой знак на сыне увидал
И на себе кольчугу разодрал.
Сказал: «О сын, моей рукой убитый,
О храбрый лев мой, всюду знаменитый!»
Увы! Рустем, стена, говорил,
Рвал волосы и кровь, не слезы, лил.*

*Сказал Сохраб: «Крепись! Пускай ужасна
Моя судьба, что слезы лить напрасно?
Зачем ты убиваешь сам себя,
Что в этом для меня и для тебя?
Перевернулась бытия страница,
И, верно, было так должно случиться!..»*^[12]

— Прошу тебя, Амир-ага, прочти еще раз, — говорил обычно Хасан, и порой даже слезы блеснули в его глазах.

Мне всегда было интересно, кого он оплакивает: сыноубийцу Рустема, раздирающего на себе одежду и посыпающего голову пеплом, или умирающего Сохраба, который обрел отца перед самой смертью. Лично я не видел никакой трагедии в судьбе Рустема. В конце концов, наверное, каждый отец тайно желает смерти своему сыну.

1973 год. Июль месяц. Мы на старом кладбище. Я читаю Хасану какую-то книгу и ни с того ни с сего вдруг начинаю сочинять за автора. Страницы-то я перелистываю регулярно, но излагаю свое, а не напечатанное. Хасан этого не замечает. Ведь для него каждая страница — непостижимая тайнопись, ключ от которой в моих руках. Только я могу провести его по лабиринту. Закончив, я спрашиваю Хасана, как ему рассказ. Он аплодирует в ответ, и меня разбирает смех.

— Ты что? — с трудом выдавливаю я.

— Давно мне не было так интересно. — Он продолжает хлопать в ладоши.

Смех вырывается у меня наружу.

— Правда?

— Честное слово.

— Это очаровательно, — бормочу я. Вот уж сюрприз так сюрприз. — Ты серьезно?

— Замечательный рассказ, Амир-ага. Прочти мне завтра еще что-нибудь из этой книги.

— Очаровательно, — повторяю я, и у меня перехватывает дыхание, словно я нашел клад у себя во дворе.

Мы спускаемся по склону, и в голове у меня вспыхивает и грохочет настоящий фейерверк. «Давно мне не было так интересно», — сказал Хасан. А ведь я уже прочел ему целую кучу историй.

Хасан о чем-то меня спрашивает.

— Что? — не понимаю я.

— А что такое «очаровательно»?

Я смеюсь, сжимаю его в объятиях и целую в щеку.

— За что? — краснеет Хасан.

Дружески пихаю его в бок и улыбаюсь.

— Ты настоящий принц, Хасан. Ты принц, и я обожаю тебя.

В тот же вечер я написал свой первый рассказ. За тридцать минут. Получилась мрачная сказка про бедняка, который нашел волшебную чашку. Если в нее поплакать, каждая слезинка обращалась в жемчужину. Но, несмотря на свою бедность, мой герой был веселый человек и плакал очень редко. Чтобы разбогатеть, ему пришлось искать поводы для грусти. Чем выше росла куча жемчужин, тем большая жадность охватывала счастливчика. Рассказ кончался так: герой сидит на целой горе жемчуга и безутешно рыдает, слезы каплют в чашку. В руке у него кухонный нож, а у ног — труп зарезанной жены.

Зажав в руке две исписанные странички, я поднялся в кабинет к Бабе. У него в гостях был Рахим-хан, они курили трубки и прихлебывали бренди.

— Что это у тебя такое, Амир? — осведомился Баба, сладко потягиваясь.

Голубой дым окутывал его. От одного взгляда его блестящих глаз у меня в горле пересохло. Я откашлялся и возвестил, что написал рассказ.

Баба кивнул, вежливо улыбнулся и рек:

— Очень хорошо.

И больше ничего не сказал, только смотрел на меня сквозь клубы дыма.

Я застыл на месте. Простоял я так, наверное, меньше минуты, только минута эта до сих пор кажется мне вечностью. Секунды падали редко-редко, их разделяла пропасть. Сырой воздух сгустился вокруг меня, стало трудно дышать. Баба не сводил с меня глаз и не изъявлял ни малейшего желания ознакомиться с творчеством сына.

Как всегда, меня спас Рахим-хан. Он протянул руку и наградил меня улыбкой, в которой не было ничего деланно-вежливого.

— Будь любезен, Амир-джан, дай мне свой рассказ. Мне просто не терпится прочесть.

Баба почти никогда не добавлял ласкового «джан» к моему имени.

Отец пожал плечами и поднялся с места. Похоже, Рахим-хан и его вызволил из неловкого положения.

— Да, передай свою работу Рахиму-кэка. Пойду к себе, мне еще надо переодеться.

Где те времена, когда я готов был молиться на Бабу? Сейчас я готов был вскрыть себе вены и истечь кровью. Поганой кровью, унаследованной от него.

Через час, когда уже смеркалось, друзья отправились на машине отца на какой-то раут. На пути к выходу Рахим-хан присел передо мной на корточки, протянул мне мой рассказ и еще какой-то сложенный листок, улыбнулся и сказал:

— Это тебе. Потом прочтешь.

Помолчав, он сказал еще кое-что. Всего одно слово, но оно вдохновило меня на писательский труд больше, чем самые цветистые комплименты издателей.

Это было слово:

— *Браво.*

Потом, когда они ушли, я сидел на кровати и горько жалел, что Рахим-хан — не отец мне. Я представил Бабу с его неохватным торсом, его крепкие объятия, и запах одеколона по утрам, и колючую бороду. И вдруг ощутил такую вину перед ним, что мне стало плохо.

В туалете меня вырвало.

Ночью, свернувшись клубком в постели, я вновь и вновь перечитывал записку Рахим-хана.

Амир-джан,

Мне чрезвычайно понравился твой рассказ. Машалла, [131](#) Аллах наградил тебя особым талантом. Теперь твой долг развить его, ибо тот, кто растратит зря Божий дар, подобен ослу. Свой рассказ ты написал совершенно грамотно и стилистически своеобразно. Но больше всего меня удивило, что в нем присутствует ирония. Возможно, это слово тебе еще не знакомо. Однажды ты поймешь его смысл. Пока скажу только, что многие писатели всю свою жизнь стараются внести в свое творчество иронию, и не у всех выходит. У тебя получилось уже в первом рассказе.

Моя дверь всегда открыта для тебя, Амир-джан. Любой твой рассказ будет мне в

радость. Браво.

Твой друг

Рахим.

Вдохновленный словами Рахим-хана, я схватил листочки и помчался вниз, где в вестибюле на тюфяке спали Али и Хасан. Им полагалось ночевать в господском доме только в отсутствие Бабы, чтобы я оставался под присмотром Али. Я принялся трясти Хасана за плечо и, когда он проснулся, сообщил, что хочу прочитывать ему рассказ.

Он протер заспанные глаза и потянулся.

— Прямо сейчас? А сколько времени?

— Неважно сколько. Это особенный рассказ. Я сам его написал.

Лицо Хасана осветила радость.

— Тогда я *должен* послушать. — Он уже сбрасывал с себя одеяло.

Мы прошли в гостиную к мраморному камину. Уж сейчас-то я читал слово в слово, ничего не добавляя от себя, ведь автор был я сам! Хасан — прекрасный слушатель — весь погрузился в фабулу, лицо его менялось в зависимости от тональности повествования. Когда я прочел последнюю фразу, он тихонько хлопнул в ладоши.

— Машалла, Амир-ага. Браво!

— Тебе правда понравилось? — Я смаковал уже второй положительный отзыв.

— Когда-нибудь, Иншалла, ^[14] ты будешь великим писателем, — сказал Хасан. — Твои рассказы будут читать люди во всем мире.

— Ты преувеличиваешь, Хасан. — Я глядел на него с обожанием.

— Нет. Ты будешь великим и знаменитым. — Он смущенно откашлялся. — Только можно мне задать тебе один вопрос?

— Да, конечно.

— Вот что... — Он остановился на полуслове.

— Давай же, Хасан, — ободряюще улыбнулся я, хотя на душе у меня почему-то кошки заскребли.

— Вот что. Этот человек — зачем он убил свою жену? Чтобы ему стало грустно и он заплакал? А не проще ли было просто понюхать лук?

Я был потрясен. Как я сам не догадался! Надо же было написать такую глупость! Губы мои беззвучно шевельнулись. В один день мне суждено было ознакомиться сразу с двумя характерными чертами писательского ремесла.

Ирония, раз. Сюжетная нестыковка, два.

И кто преподал мне урок? Хасан. Мальчишка, не умеющий читать и писать.

Холодный злой голос зашептал мне на ухо: «Да что он может знать, этот неграмотный хазарец? Из него выйдет в лучшем случае повар! Как он смеет критиковать тебя?»

— Вот что... — начал я. И не закончил.

Афганистан вдруг изменился. Раз и навсегда.

Послышались громовые удары. Земля вздрогнула. Раздались автоматные очереди.

— Папа! — вскричал Хасан.

Мы вскочили на ноги и бросились вон из гостиной. Али, отчаянно хромя, спешил к нам через вестибюль.

— Папа! Что это гремит? — взвизгнул Хасан, протягивая к Али руки.

Тот обнял нас обоих и прижал к себе. На улице полыхнуло, небо сверкнуло серебром. Еще вспышка. Беспорядочная стрельба.

— Охота на уток, — прохрипел Али. — Ночная охота на уток. Не бойтесь.

Вдали завывала сирена. Где-то со звоном разбилось стекло. Кто-то закричал. С улицы донеслись встревоженные голоса людей, вырванных из сна. Наверное, они выскочили из дома, как были, в пижамах, с растрепанными волосами и заспанными лицами. Хасан заплакал. Али нежно и крепко стиснул его в объятиях. Уже потом я убедил себя, что никакой зависти к Хасану я тогда не испытал. Ну ни капельки мне не было завидно.

Так мы и жались друг к другу до самого рассвета. И часа не прошло, как взрывы и выстрелы стихли, но мы успели перепугаться до смерти. Еще бы. Ведь уличная пальба была для нас в новинку. Поколение афганских детей, для которых бомбежки и обстрелы стали жестокой повседневностью, еще не родилось. Мы и не догадывались, что всей нашей прежней жизни настал конец. Хотя окончательная развязка придет позже: будут еще и коммунистический переворот в апреле 1978-го, и советские танки в декабре 1979-го. Танки проедут по тем самым улицам, где мы с Хасаном играли, и убьют тот Афганистан, который я знал, и положат начало кровопролитию, длящемуся по сей день.

На заре во двор въехала машина Бабы. Хлопнула дверца, на лестнице послышались быстрые шаги, и в гостиную ворвался отец. Лицо у него было чужое, испуганное. Никогда прежде я не видел отца в страхе.

— Амир! Хасан! — Баба раскинул руки. — Все дороги заблокированы, телефон отключен. Я так волновался!

Он обнял нас, и какое-то безумное мгновение я был даже рад всему, что случилось сегодня ночью.

Подробности выяснились позже.

На уток-то никто не охотился. 17 июля 1973 года никого не подстрелили. Просто утром, когда Кабул проснулся, оказалось, что монархии больше нет. Король Захир-шах находился с визитом в Италии. В отсутствие короля его двоюродный брат Дауд Хан организовал бескровный переворот. Сорокалетнее правление монарха закончилось.

На следующее утро мы с Хасаном притаились у дверей кабинета Бабы. Отец и Рахим-хан пили черный чай и слушали «Радио Кабул».

— Амир-ага, — прошептал Хасан.

— Что?

— Что такое «республика»?

Я пожал плечами:

— Понятия не имею.

Приемник в кабинете только и трещал: «Республика, республика».

— Амир-ага?

— Да?

— А вдруг «республика» значит, что мне с отцом придется убираться вон?

— Не думаю, — прошептал я в ответ.

Хасан задумался.

— Амир-ага?

— Ну что?

— Я не хочу, чтобы меня с отцом выгнали прочь.

Я улыбнулся:

— Да успокойся ты, осел. Никто вас не прогонит.

— Амир-ага?

— Что?

— Не хочешь забраться на наше дерево?

Моя улыбка стала шире. В этом был весь Хасан. Он всегда умел вовремя сказать нужные слова, сменить тему разговора — а то радио уже надоело. И вот он отправился к себе в лачугу захватить нужные вещи, а я помчался в свою спальню за книгой. На обратном пути я заглянул на кухню, набил карманы кедровыми орешками и выбежал во двор. Хасан уже поджидал меня. Мы вышли через главные ворота и направились к холму.

Камень угодил Хасану в спину, когда мы уже оставили позади жилые дома и шагали по пустырю. Мы резко обернулись — и сердце у меня упало. К нам направлялся Асеф с двумя своими приятелями — Вали и Кармалем.

Асеф был сыном Махмуда, одного из приятелей моего отца, пилота гражданских авиалиний. Его семья жила в нескольких кварталах от нас в модном жилом комплексе, спрятавшемся за высокой стеной, из-за которой торчали верхушки пальм. Про кастет из нержавеющей стали, который всегда был при Асефе, знал каждый мальчишка в Вазир-Акбар-Хане, и хорошо еще, если не на личном опыте. Рожденный от матери-немки, голубоглазый и светловолосый Асеф ростом был выше любого своего сверстника и славился невероятной жестокостью. В сопровождении верных дружков он обходил окрестности, словно хан свои владения, казнил и миловал. Как скажет, так и будет, а чуть что не по нему, в ход шел кастет. Я сам видел, как Асеф избил какого-то мальчишку до потери сознания, было это в районе Карте-Чар. Без кастета, само собой, не обошлось. Помню, как горели при этом глаза Асефа и как что-то безумное мелькало в них. В своем районе Асефа за спиной прозвали *Гушхор*, «пожиратель ушей», но никто не осмеливался назвать его так в лицо, все помнили, откуда взялось это прозвище. Один такой смельчак как-то победил Асефа в воздушном бою змеев — и потом выуживал из грязи собственное правое ухо. Многие годы спустя я нашел в английском языке определение для личности Асефа — «социопат». На фарси точного соответствия этому слову нет.

Из всех тех мальчишек, что дразнили Али, самым безжалостным был Асеф. Это он первый обозвал Али «Бабалу». «Эй, Бабалу, кого ты слопал сегодня? А? Ну-ка, Бабалу, улыбнись нам!» А когда Асеф был в настроении, то подбирал слова пообиднее: «Эй, плосконосый Бабалу, кого ты сожрал сегодня? Расскажи нам, косоглазый ишак!»

И вот он идет к нам, руки в карманах, кроссовки шаркают по земле, вздымая пыль.

— Доброе утро, *кунис*! — издалека приветствовал нас Асеф. «Козлы» то есть, его любимое ругательство.

Вся троица подошла поближе. Хасан попробовал спрятаться за меня. Парни остановились, здоровенные молодцы в футболках и джинсах. Асеф — самый высокий — скрестил руки на груди и свирепо ухмыльнулся. Мне в который уже раз показалось, что у него не все дома. В голове также мелькнуло, что мне повезло с отцом: Асеф пока не слишком мне досаждал исключительно потому, что боялся Бабу.

Блондин вздернул подбородок в сторону Хасана:

— Эй, плосконосый. Как поживает Бабалу?

Хасан ничего не ответил, только сделал еще шаг назад.

— Новости слышали, ребятки? — спросил Асеф, по-прежнему скаля зубы. — Короля больше нет. Скатертью дорога! Да здравствует президент! Кстати, Амир, ты в курсе, что мой отец знаком с Дауд Ханом?

— И мой тоже, — ответил я, понятия не имея, правда ли это.

— И мой тоже, — передразнил меня Асеф плачущим голосом.

Камаль и Вали загоготали в унисон.

Ах, жаль, Бабы со мной нет!

— В прошлом году Дауд Хан обедал у нас, — гнул свое Асеф. — Так-то вот, Амир!

А что, если закричать? Только до ближайшей постройки добрый километр, нас никто не услышит.

Лучше бы мы сидели дома!

— Знаешь, что я скажу Дауд Хану, когда он придет к нам на обед в следующий раз? — не отставал Асеф. — Я с ним поговорю как мужчина с женщиной. Скажу то, что говорил матушке. Речь пойдет о Гитлере. Вот это был правитель! Настоящий вождь! Провидец! Я напомню Дауд Хану, что если бы Гитлеру дали возможность закончить начатое, то мир сейчас был бы куда лучше.

— Баба говорит, Гитлер был безумец, погубивший массу невинных людей, — услышал я свой голос.

Вот ведь вырвалось! Замолкни, болван!

Асеф хихикнул:

— То же самое говорит матушка. Конечно, она немка, и ей вроде виднее. Только я с ней не согласен. Правду от нас скрывают.

Кто скрывает? Да и плевать мне было на его правду. И угораздило же меня рот раскрыть! А Баба далеко, никакой надежды, что он появится на пустыре.

— Ты почитай книжки, по которым в школе не учат, — вещал Асеф. — Я тут прочел кое-что, и у меня открылись глаза. Теперь у меня есть своя точка зрения, и я поделюсь ею с нашим новым президентом. Хочешь знать, что я ему скажу?

Я только головой покачал. Но Асеф всегда отвечал на вопросы, заданные самому себе. Его голубые глаза уставились на Хасана.

— Афганистан — земля пуштунов. С давних времен и навечно. Мы — подлинные беспримесные афганцы, не этот вот плосконосый. Его народ оскверняет нашу родину, наш *ватан*, нарушает чистоту расы. Афганистан для пуштунов, говорю я. Вот тебе мое мнение.

Асеф перевел взгляд на меня. Вид у него был мечтательный.

— Гитлер не успел, — произнес он. — А мы успеем.

Рука его нырнула в карман джинсов.

— Я попрошу президента совершить то, на что у короля не хватило смелости. Избавить Афганистан от грязных хазарейцев.

— Позволь нам пройти, Асеф, — сказал я противным, дрожащим голосом. — Мы тебя не трогаем.

— Как это не трогаете? — недоуменно спросил Асеф и вынул из кармана предмет, при виде которого душа у меня ушла в пятки. Кастет так и сверкал на солнце. — Очень даже трогаете. Ты вот злишь меня даже больше, чем этот *хазара* рядом с тобой. Как ты можешь с ним говорить, играть, как тебе не противно дотрагиваться до него? — Голос его задрожал от отвращения. Вали и Камаль согласно закивали. Глаза у Асефа сузились, и в голосе зазвучало еще большее недоумение: — Как ты можешь называть его своим другом?

— *Он мне не друг!* — выпалил я. — *Он мой слуга!*

Неужели я и вправду так думал? Нет. Трижды нет. Хасан был мне больше, чем друг, больше, чем брат. Только почему я не зову Хасана в нашу компанию, когда друзья Бабы приходят в гости с детьми? Почему я играю с ним, только когда рядом никого нет?

Асеф надвинул кастет на пальцы. Взгляд у него сделался ледяной.

— Если бы не такие, как ты, Амир, и дурачки вроде тебя и твоего отца, которые привечают хазарейцев, мы бы давно избавились от них. Пусть отправляются к себе в Хазараджат, где в могилах гниют их предки. Ты, Амир, позор Афганистана.

Я глянул в его безумные глаза и понял, что он говорит серьезно. Сейчас он мне задаст. Вот и кулак уже занес.

Хасан нагнулся и быстро поднял что-то с земли. Асеф изумленно раскрыл глаза. Лица у Вали и Камалья вытянулись. У меня за спиной происходило что-то важное.

Я обернулся. Рогатка Хасана нацелена прямо Асефу в лицо, резинка, облегающая камень размером с грецкий орех, натянута до предела, так что пальцы ее с трудом удерживают. Лоб у моего слуги весь мокрый от пота.

— Оставь нас, ага, — мягко сказал Хасан. Даже сейчас он обращался к Асефу уважительно. Меня поразило, как глубоко укоренился в сознании Хасана жизненный принцип «знай свое место».

Асеф стиснул зубы.

— Опусть рогатку, хазара безродный.

— Оставь нас, ага, — повторил Хасан.

Асеф осклабился:

— Ты что, не заметил? Нас трое против вас двоих.

Хасан только пожал плечами в ответ. Посторонний никогда бы не сказал, что он боится. Но я-то знал Хасана с младенчества и видел по его лицу, что он ужасно трусит. Только старается держаться.

— Ты прав, ага. Но это ты, наверное, кое-чего не заметил. У одного из нас рогатка. Только шевельнись, и у тебя появится другое прозвище. Вместо «Асефа — пожирателя ушей» ты будешь зваться «Одноглазый Асеф». Камень попадет тебе прямо в левый глаз. — Хасан говорил совершенно спокойно и бесстрастно, так что даже я не услышал страха в его голосе.

Рот у Асефа искривился. Вали и Камаль заворуженно наблюдали за сценой. На их глазах совершалось святотатство. Их божество унижали. И кто, подумать только, какой-то заморыш-хазарец!

Асеф смотрел теперь не на камень, а прямо в глаза Хасану. Очень внимательно смотрел. И что-то убедило его в серьезности намерений противника.

Асеф опустил кулак.

— Знай, хазара, я человек терпеливый. И знай, у сегодняшней истории обязательно будет продолжение. Уж ты мне поверь. — И, повернувшись ко мне: — И ты, Амир, помни, на этом не кончится. Однажды мы встретимся с тобой один на один. — Асеф отступил на шаг. — Твой хазарец совершил сегодня очень большую ошибку, Амир.

И вся компания отправилась восвояси.

Хасан трясущимися руками заталкивал рогатку за пояс. Губы у него плясали, складываясь в некое подобие улыбки. Резинку от штанов он завязал с пятой попытки. Домой мы возвращались в тревожном молчании, за каждым углом ожидая засады. Никто нас не подстерегал в укромном месте, но на душе все равно было беспокойно. И еще как.

На протяжении следующих нескольких лет самые разные люди в Кабуле то и дело произносили умные слова вроде «реформа» или «экономическое развитие». Конституционную монархию сменила республика во главе с президентом. На какое-то время на людей снизошел дух обновления. Заговорили о правах женщин и современных технологиях.

Но в общем и целом, хоть в Арке — королевском дворце в Кабуле — и проживал теперь президент, а не монарх, жизнь текла, как и прежде. Рабочая неделя с субботы до четверга, пикники по пятницам — в парках, на берегу озера Карга, в садах Пагмана. Разноцветные автобусы и грузовики, набитые людьми, катят по узким улицам Кабула, на бамперах сзади стоят проводники и кричат, где поворачивать. Когда проходит священный месяц Рамадан и наступает черед трехдневного праздника Эид, кабульцы в парадных нарядах отправляются провести родственников. Люди обнимаются и целуются и поздравляют друг друга словами «*Эид мубарак*» — счастливого Эида, а дети радуются подаркам и играют с крашеными крутыми яйцами...

В знаменательный день (начало зимы 1974 года), когда мы с Хасаном строили во дворе снежную крепость, к нам вышел Али и произнес:

— Хасан, ага-сагиб зовет, хочет поговорить с тобой.

Мы с Хасаном обменялись улыбками. С самого утра мы ждали этой минуты — ведь сегодня у Хасана день рождения.

— Отец, а ты знаешь, какой будет подарок? Скажи нам. — У Хасана заблестели глаза.

Али в ответ пожал плечами:

— Ага-сагиб не обсуждает со мной своих решений.

— Ну же, Али, скажи нам, — вмешался я. — Это альбом для рисования? А может быть, новый пистолет?

Как и Хасан, Али не умел лгать. Каждый год он притворялся, будто ведать не ведает, что подарит Баба на день рождения мне или Хасану, но глаза неизменно выдавали старого слугу, и Али в конце концов сдавался и открывал нам секрет. Но на этот раз он, похоже, говорил правду.

Баба обязательно отмечал каждый день рождения Хасана. Поначалу он спрашивал, что тот хочет получить в подарок, но Хасан был слишком скромен в своих желаниях, и Баба перестал задавать вопросы на эту тему. На один день рождения он подарил ему японский игрушечный грузовик, в другой раз — электрическую железную дорогу. В прошлом году Хасану, к полному его восторгу, вручили ковбойскую кожаную шляпу — в точности как у Клинта Иствуда в фильме «Хороший, плохой, злой» (именно этот вестерн побил в наших глазах «Великолепную семерку»). Целую зиму мы по очереди носили шляпу, прятались в

сугробах и напевали знаменитую мелодию, когда надо было показать противнику, что он застрелен.

Войдя в дом, мы сняли перчатки и облепленные снегом ботинки и направились в зал. Баба сидел у дровяной чугунной печи вместе с каким-то индусом в коричневом костюме и красном галстуке.

— Хасан, — Баба скупно улыбнулся, — вот твой подарок на день рождения.

Мы с Хасаном недоуменно переглянулись. Где подарок-то? Ни коробок, перевязанных ленточкой, ни игрушек. Али — вот он, стоит за нами. Да еще этот тощий индус, похожий на учителя математики.

Господин в коричневом костюме усмехнулся и пожал Хасану руку:

— Я — доктор Кумар. Рад познакомиться. — Доктор говорил на фарси с раскатистым индийским акцентом.

— Салам алейкум, — неуверенно ответил Хасан и вежливо поклонился.

Али подошел к сыну сзади и положил ему руку на плечо.

Баба поймал настороженный и озадаченный взгляд Хасана.

— Я вызвал доктора Кумара из Нью-Дели. Он — пластический хирург.

— Знаешь, что это такое? — спросил индус.

Хасан покачал головой и оглянулся на меня, но я только пожал плечами. Просто хирург, не «пластический», может вылечить аппендицит, это я знал. Мой одноклассник год назад умер от аппендицита, и учитель сказал, что они вовремя не обратились к хирургу. Мы оба поглядели на Али, но уж по его-то лицу, неподвижному и суровому, точно ничего нельзя было сказать. Только по глазам.

— Я исправляю людям недостатки телосложения, — произнес доктор. — Случается, делаю операции на лице.

— О, — выдавил Хасан, переводя взгляд с доктора Кумара на Бабу и с Бабы на Али и хватаясь за верхнюю губу. — О.

— Я понимаю, это необычный подарок, — сказал Баба. — Наверное, ты хотел получить что-то другое. Зато это подарок на всю жизнь.

— О. — Хасан облизал губы и откашлялся. — Ага-сагиб, а это будет не... не...

— Это совсем не больно, — успокоил доктор Кумар. — Я дам тебе лекарство, и ты ничего не почувствуешь.

— О. — Хасан с облегчением улыбнулся. Но легкий страх остался. — Ага-сагиб, я не боюсь, я просто...

Ну, меня-то не обманешь. Я четко знал: если доктора говорят, что будет не больно, жди беды. Взять хоть обрезание, которое мне сделали год назад. Врач тогда тоже уверял, будто я ничего не почувствую. Но ночью действие лекарства закончилось, и пах мне стало жечь, словно раскаленным углем. Почему Баба тянул с обрезанием, пока мне не исполнилось десять, не могу понять. Никогда ему не прощу.

Интересно, будь у меня шрам на лице, может, Баба относился бы ко мне лучше? Несправедливость какая, Хасан ничего не сделал, чтобы снискать расположение Бабы, и тут ему такая честь. А все дурацкая заячья губа...

Операция прошла удачно. Конечно, мы были неприятно поражены, когда сняли повязки, но доктор Кумар нам все объяснил. Ему пришлось постараться, ведь на месте верхней губы, какая бы она ни была, у Хасана после операции оказался настоящий пузырь. Я бы на его месте закричал от ужаса, когда медсестра подала зеркало. А Хасан смотрел и смотрел на

свое отражение, думал о чем-то своем и не говорил ни слова. Немало времени прошло, прежде чем он что-то пробормотал.

Я не понял и переспросил.

— Ташакор, — прошептал Хасан. — Спасибо.

И скривил губы. Я-то знал, что он улыбается. Как улыбался, появляясь на свет из материнской утробы.

Пузырь скоро опал, рана постепенно зажила, на губе осталась только тонкая зубчатая линия. К следующей зиме шрам уже был еле заметен.

Какая жестокая ирония!

Именно в ту зиму улыбка исчезла у Хасана с губ.

Зима.

В утро первого снега я всегда просыпался первым и прямо в пижаме выходил во двор, от холода обхватив себя руками за плечи. Двор, машина отца, деревья, крыши, холмы — все вокруг было укрыто толстым пушистым одеялом. Чистое голубое небо сияло над головой, белизна резала глаза. Я набирал целую пригоршню чистейшего снега и пихал в рот. Тишину нарушало только карканье ворон. Босиком я спускался по ступенькам и звал Хасана.

Дети в Кабуле обожали зиму, по крайней мере, те дети, у кого дома имелась приличная чугунная печка. Причина была проста: на период холодов школа закрывалась. Про деление в столбик и название столицы Болгарии можно было на время забыть. Целых три месяца мы с Хасаном играли в карты у печки, смотрели по вторникам в «Кино-парке» на бесплатных утренних сеансах советские фильмы, лепили снеговиков и ели сладкую курму из репы с рисом на обед.

И еще мы запускали воздушных змеев. А когда змеи падали с небес, бежали за ними и ловили. Кто прибежал первым, тому и доставался змей.

Для некоторых несчастных занятия зимой не заканчивались. Были еще так называемые «факультативные зимние курсы для желающих углубить знания». Среди известных мне мальчишек желающих факультативно углубить знания не находилось. На курсы отпрысков записывали родители. К счастью для меня, Баба был не из их числа. Не то что доктор, живший напротив нас. Его эпилептик-сын Ахмад — излюбленная жертва Асефа — ходил в шерстяной безрукавке и носил очки в черной оправе. Каждое утро я злорадно наблюдал из окна спальни, как их слуга-хазарец разгребает снег, чтобы машина могла свободно выехать, и как немного погодя Ахмад с отцом садятся в черный «опель» и едут в школу. Когда автомобиль сворачивал за угол, я нырял обратно в постель, натягивал одеяло до самого подбородка и смотрел в окно на заснеженные холмы, пока у меня не слипались глаза и я снова не засыпал.

Я любил кабульские зимы, любил легкое шуршание ночного снегопада, тепло печки, завывание ветра за окном. Главное же, когда деревья покрывались инеем и дороги превращались в каток, наши отношения с Бабой, напротив, теплели. Нас сближал интерес к воздушным змеям. Вот ведь как: только бамбуковый каркас, обтянутый тонкой бумагой, как-то соединял жизни двух людей, живших в одном доме.

Каждую зиму по районам Кабула проходили состязания воздушных змеев. Для любого мальчишки воздушные бои были кульминацией зимних каникул. Я, например, никогда не мог заснуть в ночь перед соревнованиями, ворочался с боку на бок, изображал руками целый «театр теней» на стене, даже заворачивался в одеяло и выходил на балкон. Солдат перед генеральным сражением, наверное, испытывает примерно то же самое. Я не шучу. Между войной и битвой воздушных змеев в Кабуле есть немало общего.

Так, ко всякой схватке надо готовиться. Одно время мы с Хасаном сами делали змеев, с осени складывали свои карманные деньги в фарфоровую копилку-лошадку, которую Баба привез как-то из Герата.^[15] С первыми вьюгами мы вскрывали копилку (у фарфорового коня на животе был специальный замочек) и отправлялись на базар за бамбуком, клеем, шпагатом

и бумагой. Долгие часы мы возились с обтяжкой каркаса, ведь змей должен быть вертким и быстро набирать высоту. Шпагат — или леса, или *тар*, — вообще особая статья. Если сравнить змея с ружьем, то *тар* — это заряд в стволе, ведь с его помощью «срезаешь» змея противника. Пятьсот футов шпагата следует покрыть «жидким стеклом», силикатным клеем, а когда высохнет — намотать на деревянную шпулю. Пока снег не растаял и не пошли весенние дожди, у каждого кабульского мальчишки на ладонях и пальцах образуются предательские порезы от лесы, которые не заживают неделями, этикие знаки отличия, свидетельства пройденных сражений. Помню, как мы с одноклассниками в первый день занятий сравнивали, у кого пальцы изрезаны сильнее, пока не раздавался свисток старосты и все строем не отправлялись в класс. Так заканчивалась зима и начинался новый учебный год.

Очень скоро оказалось, что бойцы из нас с Хасаном куда лучше, чем «змееделы». Наши конструкции не отличались надежностью. И Баба отвел нас к Сайфо, полуслепому сапожнику, чьи воздушные змеи славились на весь город. Его крошечная мастерская помещалась на оживленной улице Джаде Майванд к югу от илистых берегов реки Кабул. Сначала покупатели пробирались в лавчонку, настоящий застеночек, затем надо было поднять крышку и спуститься по деревянным ступенькам в сырой подвал, где Сайфо хранил вожделенный товар. Баба всегда покупал мне и Хасану по три одинаковых змея и по три шпагата. Захоти я змея поярче и побольше, отец бы мне не отказал, но точно такого же он приобрел бы и моему слуге. А это приходилось мне не по сердцу, должен же был Баба хоть как-то меня выделять!

Зимние турниры воздушных змеев — старая афганская традиция. Они начинаются в объявленный день рано утром и продолжаются, пока в небе не останется единственный змей — он и выигрывает состязание. Помню, как-то бой не закончился и после захода солнца. Болельщики толпятся на тротуарах, забираются на крыши и криками подбадривают своих детей. Взад-вперед по улицам, задржав головы, носятся участники битвы, их змеи то высоко взмывают вверх, то резко снижаются. Главное — занять правильную позицию, вовремя дернуть за свой шпагат и перерезать лесу противника. У каждого из сражающихся имеется свой оруженосец, в руках у которого шпуля со шпагатом. Мой оруженосец — Хасан.

Однажды живущий по соседству мальчишка-индус, чья семья недавно перебралась в Кабул, гордо поведал нам, что у него на родине бои воздушных змеев проходят по строгим правилам: каждый участник с выделенной ему площадки, за пределы которой ему выходить нельзя, запускает своего змея под определенным углом к ветру. А лесы из металлической проволоки и вовсе запрещены!

Мы с Хасаном только расхохотались в ответ. Маленький индус еще не осознал того, что британцы поняли уже давненько, а Советы познали в конце восьмидесятых: афганский народ любит свободу! Афганцы превозносят обычаи и не выносят правил. Бои змеев — прекрасный пример: запускай змея и бейся как сможешь. Правил — никаких. Удачи тебе, боец.

Но ведь срезать змея — это полдела. Надо еще и первым успеть к месту его приземления. Кто знает, куда его занесет ветер — на поле, на крышу, на дерево, во двор к кому-нибудь. Толпы мальчишек очертя голову бегут за падающими змеями; туристы, удирающие в Испании от разъяренных быков, чем-то напомнили мне сцену из моего детства. Однажды соседский пацан полез за змеем на сосну, ветка под его тяжестью сломалась, он свалился вниз с десятиметровой высоты, сломал себе позвоночник, и у него отнялись ноги. Но змея из

рук он не выпустил. Если ты первый коснулся змея, он — твой. И это — не правило. Это — обычай.

Последний змей, сбитый в зимнем состязании, — самая желанная награда, самый почетный трофей для любого мальчишки. Когда в небе остаются только два змея, все собираются с силами, разминают мускулы, стараются занять местечко получше, чтобы моментально рвануть на поиски. Головы задраны. Глаза прищурены. Все внимание — в небо. И когда последний змей срезан — начинается столпотворение.

За змеями гонялись ватагами. Но с Хасаном не мог сравниться никто. Просто чудо, как он умудрялся точно угадать точку приземления и прибежать туда *раньше* змея. Такой у него был дар.

Помню хмурый зимний день. Мы с Хасаном бежим за змеем. Я еле поспеваю за своим товарищем по играм. Лабиринт узких улочек Хасану не помеха, он четко знает, где надо свернуть, ловко перепрыгивает через сточные канавы. Я уже совсем обессилел — хоть и старше его на год.

— Хасан! погоди! — задыхаюсь я.

Он на бегу оборачивается, кричит: «Вот сюда!» — и исчезает за углом.

Гляжу на небо. Ветер несет змея совсем в другую сторону.

— Мы упустим его! Он летит не туда! — ору я изо всех сил.

— Поверь мне! — доносится до меня издалика.

С грехом пополам добираюсь до перекрестка. Хасан далеко впереди и мчится во весь дух, опустив голову. На небо и не взглянет! Спотыкаюсь о камень и падаю — Хасан не только бежит быстрее меня, он еще и более ловкий, поганец. Поднимаюсь — его силуэт мелькает в переулке и пропадает. Превозмогая боль в колене, ковыляю в том же направлении.

По грязной, изрезанной глубокими колеями грунтовке выхожу к саду у средней школы «Истикляль». Под вишней спокойно сидит Хасан и ест сушеные тутовые ягоды.

— Что это ты расселся? — произношу я сдавленно. Меня подташнивает.

Хасан улыбается:

— Присаживайся рядом со мной, Амир-ага.

Плюхаюсь на землю рядом с ним.

— Зачем мы сюда приперлись? Змей полетел совсем в другую сторону, не видел разве?

Хасан забрасывает ягодку себе в рот.

— Змей сейчас прилетит сюда.

Никак не могу отдышаться. А он свеж как огурчик.

— С чего ты взял?

— Знаю.

— Откуда?

Хасан оборачивается ко мне. Капельки пота поблескивают на его бритой голове.

— Я когда-нибудь обманывал тебя, Амир-ага?

А не подразнить ли мне его?

— Не знаю. А ты обманывал?

— Я скорее наемся грязи, — обиженно произносит он.

— Серьезно? Вот прямо так и наешься?

Хасан озадаченно смотрит на меня:

— Ты о чем?

— О грязи. Если я велю, ты будешь есть грязь?

Знаю, это жестоко. Как и то, что я неправильно толковал ему слова. Но дразнить Хасана — в этом есть своя нечестивая прелесть. Похожее чувство испытываешь, когда мучаешь насекомых. Сейчас он — муравей, а у меня в руках лупа.

Мой слуга испытующе смотрит на меня. Два мальчика сидят под вишней, уставившись друг на друга. И тут Хасан меняется в лице. Нет, не совсем точно. Просто мне начинает казаться, что у него сразу два лица: одно, которое я знаю с пеленок, и второе, незнакомое, что выплывает сейчас откуда-то из глубины. Оно пугает меня, хотя вроде бы я уже видел его прежде. Вот оно, это второе лицо, теперь я ясно разбираю его черты...

Хасан моргает и снова становится самим собой.

— Если ты попросишь, съем, — говорит он, глядя мне прямо в глаза.

Не в силах выдержать его взгляд, я отворачиваюсь. До сих пор мне неловко общаться с людьми вроде Хасана, у которых что на уме, то и на языке.

— Только вот что, — добавляет Хасан, помолчав. — Ты взаправду можешь попросить меня о чем-то таком, Амир-ага?

Ага. Значит, он тоже устраивает мне проверку. Я ему — на преданность, он мне — на честность.

Зря я все это затеял.

Вымучиваю улыбку.

— Не будь дураком, Хасан. Ты же знаешь, я на такое не способен.

Хасан улыбается мне в ответ. Искренне улыбается.

— Знаю, — говорит он.

Просто беда с ними, с откровенными, открытыми людьми. Они думают, что и все остальные — такие же.

— Вот он, — показывает на небо Хасан, встает и делает пару шагов влево.

Поднимаю глаза. Воздушный змей пикирует прямо на нас.

Слышится топот ног, крики и брань. Гурьбой выбегают охотники на змеев. Опоздали, голубчики. Хасан уже широко расставил руки, и змей спланирует ему прямо в объятия. Да поразит меня Господь слепотой, если я ошибаюсь.

Зимой 1975 года Хасан преследовал змея последний раз в жизни.

Обычно в каждом квартале города проходили свои соревнования. Но в тот год сразу несколько районов присоединилось к нашему Вазир-Акбар-Хану — и Карте-Чар, и Карте-Парван, и Микрорайон, и Коте-Санги. Всюду только и разговоров было что о предстоящей битве. Говорили, что такое грандиозное сражение произойдет впервые за последние двадцать пять лет.

Дня за четыре до состязания мы с Бабой сидели вечером у камина в его кабинете, попивали чай и разговаривали. Мы уже отужинали — картошка с цветной капустой под соусом карри. Али с Хасаном удалились в свою хижину. Баба попыхивал трубочкой, и я хотел было попросить его рассказать историю, как в одну зиму стая волков спустилась с гор в Герате и жители целую неделю просидели взаперти дома, не решаясь высунуть нос за порог.

Но стоило мне открыть рот, как Баба меня перебил:

— По-моему, ты сможешь выиграть соревнование в этом году. Что скажешь?

Он серьезно? Или это какой-то подвох? Что мне ответить? В воздушном бою я был неплох. И даже весьма неплох. Пару раз я был близок к победе — как-то попал даже в

первую тройку. Но одно дело — чуть было не выиграть, и совсем другое — когда поле боя и вправду остается за тобой. Для Бабы не существовало никаких «чуть было». Он выигрывал, потому что был рожден победителем, не то, что все прочие. Баба привык быть первым во всем и даже не ставил себе других целей. Наверное, он вправе ожидать того же и от сына. Значит, если я выиграю...

Баба говорит еще что-то, но я его не слушаю. Во мне растет решимость. Надо побеждать в зимнем турнире — другого выбора у меня нет. Сбить последнего оставшегося змея и отыскать его, принести домой и показать Бабе. Пусть знает, что его сын тоже не лыком шит. И я не буду больше чужаком в собственном доме. За столом зазвучат веселые разговоры и смех, привычное натянутое молчание, прерываемое только стуком вилок и ножей, канет в прошлое. И вот мы едем с Бабой на машине в Пагман и ненадолго останавливаемся у озера Карга, чтобы закусить жареной форелью с картофелем. Вот мы отправляемся в зоопарк посмотреть на льва Марджана, и Баба не зевает и не глядит поминутно на часы. Вот он вслед за Рахим-ханом называет меня *Амир-джан*. И вот душа его смягчается и он прощает меня. Да, я убил свою мать, но Баба меня прощает.

Баба рассказывает мне, как однажды он срезал целых четырнадцать змеев в один день. Я улыбаюсь, киваю, смеюсь в нужных местах, но мысли мои далеко. Теперь у меня есть цель. И на этот раз я не подведу Бабу.

Вечером накануне состязания снег так и валит. Мы с Хасаном сидим на подушках на полу за *курси*, низким столиком, накрытым толстым стеганым одеялом, и играем в панджпар. Ветер за окном раскачивает деревья. Если засунуть под столик ноги — а Али поставил туда электронагреватель, — тепло всему телу. Порой, когда метет метель, мы с Хасаном просиживаем так целые дни за шахматами и картами — чаще всего за панджпаром.

Перебиваю бубновую десятку, выкладываю двух валетов и шестерку. В кабинете у Бабы он сам, Рахим-хан и еще несколько человек (в том числе отец Асефа). У них деловая встреча. Через стену слышно бормотание радиоприемника — Дауд Хан^[16] выступает по «Радио Кабул». Что-то важное насчет иностранных инвестиций.

Хасан перебивает шестерку и берет двух валетов.

— Президент говорит, у нас в Кабуле будет телевидение, — сообщаю я.

— Кто говорит?

— Дауд Хан, болван. Глава государства.

— Говорят, в Иране уже есть телевизоры, — хихикает Хасан.

Я вздыхаю:

— Ох уж эти иранцы...

Для многих хазарейцев Иран — прямо святая святых, наверное, потому, что большинство иранцев — шииты. Но я хорошо запомнил, что говорил про иранцев учитель. «Краснобаи, одной рукой они хлопают тебя по спине, а другой залезают тебе в карман». Я передал слова учителя отцу, и Баба сказал, что он, как и многие афганцы, просто завидует иранцам. Их государство становится великой азиатской державой, тогда как наш Афганистан не каждый сможет даже найти на карте.

— Мне больно об этом говорить, — сказал Баба. — Но лучше смотреть правде в глаза, чем убаюкивать себя ложью.

— Обязательно куплю тебе телевизор, — говорю я.

На лице у Хасана радость.

— Телевизор? Взаправдашний?

— Конечно. И только цветной, не черно-белый. Хотя к тому времени мы, наверное, уже будем взрослыми. Целых два куплю. Один — тебе, второй — мне.

— Я поставлю его на стол, за которым рисую, — мечтательно произносит Хасан.

Мне становится грустно. Какой Хасан бедный, в какой хибаре он живет! Станет взрослым, но по-прежнему будет жить в глинобитной хижине, как и его отец. А ему и горя мало.

Беру из колоды последнюю карту и выкладываю двух дам и десятку.

Хасан берет дам.

— Знаешь, наверное, завтра ага-сагиб будет гордиться тобой.

— Ты думаешь?

— Иншалла.

— Иншалла, — эхом отзываюсь я, хотя выражение «Бог даст» в моих устах звучит не слишком искренне. С Хасаном всегда так. Он такой бесхитростный, что рядом с ним сам себе всегда кажешься лицемером.

Перебиваю короля и выкладываю на стол свою последнюю карту, туза пик. Хасан принимает. Я выиграл.

Тасую карты. В душу мне закрадывается подозрение, что Хасан поддался. Позволил мне выиграть.

— Амир-ага?

— Что?

— Знаешь... я люблю то место, где живу. — Он прямо мысли читает. — Это мой дом.

— Ну что же, — отвечаю. — Готовься, сейчас я опять тебя разгромлю.

На следующее утро, пока заваривается черный чай, Хасан рассказывает мне свой сон:

— Мы все были на озере Карга — ты, я, отец, ага-сагиб, Рахим-хан и еще масса народу. День был солнечный, жаркий, и озеро лучилось словно зеркало. Но никто не купался. Люди говорили, на дне озера притаилось чудовище.

Он наливает мне чай, добавляет сахар, размешивает и ставит чашку передо мной.

— Все боялись входить в воду. И тут ты сбросил обувь, Амир-ага, и снял рубаху. Никакого чудовища здесь нет, сказал ты, сами посмотрите. Никто не успел тебя остановить, ты бросился в воду и поплыл прочь от берега. А за тобой — я.

— Ты же не умеешь плавать.

Хасан усмехается:

— Это ведь сон, Амир-ага, а во сне ты все умеешь. Все нам кричали: выходите из воды, вернитесь на берег! Но мы заплыли на самую середину озера, повернулись и помахали людям руками. Издали они казались маленькими, словно муравьи, но было слышно, как они нам хлопают. Ведь все убедились, что никакого чудовища тут нет. А потом это место решили переименовать в «Озеро Амира и Хасана — повелителей Кабула». Кто хотел в нем искупаться, платил нам деньги.

— И что все это значит? — спрашиваю я.

Хасан мажет мне хлеб вареньем и кладет на тарелку.

— Не знаю. Я думал, ты мне растолкуешь.

— Глупый сон. В нем ничего не происходит.

— Отец говорит, ничего не снится просто так.

Прихлебываю чай.

— Так пусть бы он тебе и объяснил, к чему такой сон. Если уж он такой умный.

Грубо получилось. Это из-за бессонной ночи. Спина и шея ноют, в глаза точно песку насыпали. Все равно, Хасан не заслужил такого обращения. Надо бы извиниться. Хотя нет, не стоит. Хасан и без этого прекрасно понимает, что я просто волнуюсь. Хасан всегда все понимает.

Сверху, из ванной Бабы, доносится плеск воды.

Заснеженные улицы сверкают под чистым голубым небом. Снег покрывает все: и крыши домов, и ветви тутовых деревьев, и каждый камешек, и каждую канавку. Мы выходим из ворот, Али закрывает их за нами, бормоча молитву. Он всегда молится, когда сын покидает дом.

Никогда не видал столько народу на нашей улице. Мальчишки играют в снежки, спорят, гоняются друг за другом, смеются. Участники состязания шепчутся со своими оруженосцами, приводят экипировку в боевую готовность. С соседних улиц доносятся громкие голоса и смех. Кое-где зрители уже удобно расположились на крышах: шезлонги, термосы с горячим чаем, голос Ахмада Захира из кассетников. Этот музыкант произвел настоящую революцию, совместив электрогитары, барабаны и трубы с традиционными инструментами; прежние певцы рядом с ним казались унылыми и скучными. Во время выступлений Ахмад Захир даже улыбался со сцены женщинам — и всем этим снискал себе

немало друзей. И врагов.^[17]

Я смотрю на нашу крышу — Баба и Рахим-хан в шерстяных свитерах, с дымящимися кружками чая в руках, заняли свои места на скамейке. Баба машет мне.

— Пора начинать. — Хасан, в своих черных резиновых сапогах, ярко-зеленом *чапане* поверх толстого свитера и мятых вельветовых штанах, решителен и сосредоточен. Лицо его освещает солнце, розовый шрам на губе по прошествии года стал почти незаметен.

У меня вдруг пропадает желание участвовать. Вот соберу сейчас вещи и уйду домой. Куда я лезу, зачем пыжусь, ведь я заранее знаю, чем все кончится. Баба болеет за меня, я чувствую на себе тепло его взгляда. Вот позорище-то будет, для меня и для него.

— Что-то мне расхотелось, — бормочу я.

— Что ты, такой прекрасный день, — возражает Хасан.

Переминаясь с ноги на ногу, стараюсь не смотреть в сторону отца.

— Не знаю, не знаю. Может, лучше пойдем домой?

Хасан подходит ко мне поближе и говорит тихонько:

— Помни, Амир-ага, никакого чудовища нет. И день такой чудесный.

Его слова поражают меня.

Значит, я для него — как открытая книга? А он для меня? Да я по большей части могу только угадывать, что у него в голове! Это я хожу в школу, это я умею читать и писать, это я из нас двоих считаюсь умный! А вот Хасан не держал букваря в руках, но, оказывается, свободно читает. У меня в душе.

Непорядок. Хотя так удобно, когда слуга всегда заранее знает, что тебе нужно.

— Никакого чудовища нет, — повторяю я за ним, и мне почему-то становится легче.

— Нету, — улыбается Хасан.

— Точно?

Он закрывает глаза и кивает.

Смотрю на детей, играющих в снежки.

— Какой хороший день, правда.

— Запускаем змея, — отвечает Хасан.

Неужели Хасан истолковал свой сон? Вряд ли. Умишка бы не хватило. Даже я — и то бы не смог. Только стоит вспомнить об этом дурацком сне, как во мне пробуждается азарт. Как здорово — снять рубаху и кинуться в воду! А что?

— За дело, — решаюсь я.

На лице Хасана радость.

— Слушаюсь.

Подхватив нашего красавца-змея, красного с желтой каймой, с фирменным знаком Сайфо чуть пониже перекрестья каркаса, Хасан слюнит палец, поднимает руку, проверяя, откуда дует ветер, затем отбегает в этом направлении. Летом он бы просто топнул ногой и посмотрел, куда полетит пыль. Шпуля с лесой так и вертится у меня в руке. Метрах в пятнадцати Хасан останавливается и поднимает змея над головой, словно чемпион Олимпийских игр золотую медаль. Дважды дергаю за лесу — наш условный знак, — и Хасан подбрасывает змея в воздух.

Есть ли Бог, я для себя не решил: с одной стороны — муллы в школе, с другой — точка зрения Бабы. Но сейчас я бормочу про себя пришедший на ум аят,^[18] зазубренный на уроке религии. Делаю глубокий вдох и тяну за лесу.

Змей взмывает в небо и с тихим шелестом (словно бумажная птица машет крыльями)

набирает высоту. Хасан хлопает в ладоши, свистит и бежит обратно ко мне. Не отпуская лесу, передаю ему шпулю, и он быстренько выбирает слабинку.

Дюжины две змеев уже рыщут в небе словно акулы. В течение часа число их удваивается. Красные, синие, желтые прямоугольники заполняют пространство. Ветерок (в самый раз для состязаний: подъемная сила достаточна, и маневрировать легко) шевелит мне волосы. Хасан рядом со мной вцепился в шпулю, руки у него уже в крови.

Начинается бой. Первый сбитый змей, печально взмахнув хвостом, скользит вниз, за ним второй. Мальчишки гурьбой кидаются к месту приземления. Слышу их крики. За два квартала от нас моментально возникает драка — и пацаны наперебой комментируют ее.

Украдкой поглядываю на Бабу и Рахим-хана. Интересно, что сейчас занимает отца? Радует ли он за меня? А вдруг он мой тайный противник? Вот ведь что приходит в голову, когда запускаешь змея, мысли тоже улетают высоко и далеко.

Разноцветные прямоугольники валяются вниз один за другим, а я по-прежнему в воздухе и все чаще смотрю на Бабу. Полубуйся, отец, как долго я держусь. *Если не глядишь на небо, тебя быстро собьют.* Поднимаю глаза — ко мне приближается красный змей. Еще немного — и было бы поздно. Поединок наш длится не очень долго, у моего противника не хватает терпения, и он пытается срезать меня снизу. Тут ему и конец приходит.

Там и тут по улицам носятся счастливцы, высоко подняв захваченных змеев над головой. Но все знают, что самое важное — впереди, самый главный приз — еще в небе. Сбиваю ярко-желтого змея с хвостом спиралькой. Еще один порез, на этот раз на указательном пальце. Передаю лесу Хасану, высасываю из ранки кровь и вытираю руку о джинсы.

Через час из примерно пятидесяти змеев в небе остается не больше двенадцати, в их числе — я. Турнир вступает в самую долгую свою фазу: те, кого до сих пор не сбили, бойцы опытные, их на мякине не проведешь, они не купятся на старые штучки вроде «подпрыгни и нырни». Иными словами, набери высоту и резко рвани вниз. Любимый финт Хасана, между прочим.

К трем часам дня солнце скрывается за облаками. Сразу делается мрачнее и холоднее. Болельщики на крышах поплотнее закутываются в свои шарфы и свитера. В воздухе семеро. Я — в семерке. Ноги у меня болят, шея одеревенела, но с каждым сбитым противником надежда в сердце растет, крупница за крупницей, снежинка за снежинкой.

Гляжу на синего змея. Так и сеет опустошение вокруг себя.

— Скольких он срезал? — спрашиваю.

— Я насчитал одиннадцать, — отвечает Хасан.

— Чей он?

Хасан щелкает языком и стучит себя пальцем по подбородку, что означает полное неведение с его стороны. Синий змей срезает большого лилового и делает две петли. Еще десять минут — и он сбивает еще двоих. Мальчишки бросаются за ними.

Следующие полчаса в небе парят только четыре участника. Ошибаться мне теперь нельзя, каждый порыв ветра да будет мне в помощь. Какая ответственность и какое счастье! Просто голова кружится! Я уже не смотрю на крышу нашего дома, мне нельзя отвлекаться.

Пятнадцать минут — и то, что утром казалось пустой мечтой, воплощается в реальность. В воздухе двое. Я — и синий.

Напряжение натянутой лесой повисает в воздухе. Люди вокруг меня притопывают ногами, хлопают в ладоши, свистят, выкрикивают: «Бобореш! Бобореш! Срежь его!»

А Баба кричит вместе с ними?

Грохочет музыка. С крыш и из распахнутых дверей разносится запах *манту* и жареной *пакоры* .^[19]

В ушах у меня звенит, перед глазами маячит синий змей, я весь — предвкушение победы. Освобождения. Возрождения. Если Баба ошибается и Бог есть, да будет он ко мне милостив и ниспошлет удачу. Не знаю, ради чего сражаются другие, может, просто хотят лишний раз себя показать. Но для меня успех — единственная возможность доказать, что и я что-то значу. Если Бог есть, да направит он воздушные потоки, куда мне надо, чтобы одним рывком леса я покончил со своей прежней жизнью, с этим жалким прозябанием. Отступать мне уже некуда.

Вдруг надежда во мне перерастает в уверенность. Победа будет за мной, это точно. Дайте только срок.

Порыв ветра подхватывает моего змея. Чуть отпустить лесу, надвинуться на синего сверху, зависнуть над ним. Он видит опасность и пытается ускользнуть. Напрасный труд.

— Срежь его, срежь его! — вопит толпа, словно древние римляне гладиаторам. — Убей его! Убей!

— Еще чуть-чуть, Амир-ага! — вскрикивает Хасан.

Зажмуриваюсь. Леса скользит у меня по пальцам, кромсая кожу. Рывок!

Есть!

Я выиграл, это точно. Мне не надо смотреть в небо, чтобы убедиться. И крики толпы мне ни к чему.

Хасан кидается мне на шею.

— Браво! Браво, Амир-ага!

Открываю глаза. Синий змей беспомощно трепыхается в воздухе, точно колесо, оторвавшееся на полном ходу от машины. Моргаю. Хочу что-нибудь сказать. Не получается. Что-то возносит меня над землей, и я вдруг вижу себя самого сверху. Черная кожаная куртка, красный шарф, выцветшие джинсы. Маленький для своих двенадцати лет, кожа бледная, под глазами темные круги. Ветер треплет каштановые волосы. Я и я смотрим друг на друга и улыбаемся.

У меня вырывается вопль восторга. Мир сверкает всеми красками, и шумит, и радуется вместе со мной. Свободной рукой обнимаю Хасана. Мы смеемся, и плачем, и прыгаем как ненормальные.

— Ты победил, Амир-ага! Ты победил!

— «Мы победили! Мы!» — вот что я должен сказать. Но я молчу. Стоит мне моргнуть, как все вокруг исчезает. Я опять дома. Утро. Я просыпаюсь, умываюсь, завтракаю в одиночестве (со мной только Хасан), одеваюсь и жду, когда выйдет Баба. Мой успех мне только привиделся, все идет по-старому.

И тут я вижу Бабу на крыше. Он стоит на самом краю, высоко подняв руки, потрясает кулаками в воздухе, кричит и восторженно аплодирует. Это кульминация всей моей двенадцатилетней жизни — наконец-то отец может мною гордиться!

Только, кажется, отец еще и хочет мне что-то сказать — уж очень красноречивы его жесты. Я забыл о чем-то срочном?

Ну конечно!

— Хасан, мы...

— Я помню, — отвечает он, высвобождаясь из моих объятий. — Иншалла, радоваться будем позже. Мне еще надо принести тебе синего змея. Уже бегу.

Он бросает на землю шпую и срывается с места, только нижний край зеленого чапана волочится за ним по снегу.

— Хасан! — кричу я. — Возвращайся со змеем!

Он уже сворачивает за угол, но на бегу оборачивается, прикладывает ладони рупором ко рту и кричит в ответ:

— Для тебя хоть тысячу раз подряд! Неподражаемая улыбка — и Хасан исчезает.

Целых двадцать шесть лет пройдет, прежде чем я увижу эту улыбку вновь. Мой друг детства усмехнется мне с выцветшей моментальной фотографии.

Подтягиваю своего змея. Все меня поздравляют. Жму руки, благодарю. Детишки помоложе смотрят на меня с восхищением, в их глазах я герой. Меня хлопают по спине и треплют волосы. Сматываю лесу и раздаю улыбки, хотя думаю только о синем змее.

Наконец мой красный змей у меня в руках.

Бреду домой, чуть живой от усталости.

За воротами меня поджидает Али, протягивает руку сквозь кованые прутья и говорит:

— Поздравляю.

Отвечаю на рукопожатие, вхожу во двор, вручаю ему змея и шпую.

— Ташакор, Али-джан.

— Я все время молился за тебя.

— Молись, молись. Мы ведь еще не закончили.

Выбегаю обратно на улицу, даже не спросив Али, как там Баба. С отцом увидимся позже. В голове у меня уже все распланировано: торжественная встреча, герой появляется со змеем в окровавленных руках, все уважительно кланяются ему, Рустем и Сохраб в молчании глядят друг на друга. И вот старый воин подходит к юному богатырю и заключает в объятия, тем самым признавая его заслуги. Освобождение от груза прошлого. Возрождение.

А что потом? Ну, потом... все будет хорошо.

Улицы Вазир-Акбар-Хана пересекаются под прямым углом, у каждой свой номер. Если посмотреть с птичьего полета, настоящая сетка. Район новый, и то и дело рядом с огороженным трехметровой стеной жилым комплексом оказывается стройплощадка или пустой участок. В поисках Хасана бегаю по улицам туда-сюда. Зрители воздушного боя расходятся: собирают шезлонги, укладывают посуду и остатки еды. С крыш ко мне летят поздравления.

На четвертой улице к югу меня окликает Омар, сын инженера. Раньше мы учились с ним в одном классе. Он добрый и хороший человек и как-то даже подарил мне перьевую авторучку со сменным картриджем. Его отец — приятель Бабы. На лужайке перед своим домом Омар с братом играют в футбол — отрабатывают приемы владения мячом.

— Говорят, ты выиграл, Амир. Поздравляю.

— Спасибо. Ты Хасана не видел?

— Твоего хазарейца?

Киваю в ответ.

Омар пасует брату.

— Я слышал, он хорош в погоне за змеями.

Брат отпасовывает мяч обратно. Омар принимает мяч на голову.

— Никогда не мог понять, как у него получается. Как он еще что-то видит своими узенькими глазками?

Брат, хохотнув, просит мяч. Омар не дает.

— Так ты его видел?

Омар показывает большим пальцем через плечо в направлении на юго-запад.

— Недавно видел, как он несся к базару.

— Спасибо. — Я срываюсь с места.

К базару я прибегаю уже в сумерках. С минарета мечети Хаджи Якуба муэдзин выкликает «азан», призывая правоверных развернуть коврики, повернуться на запад и склонить в молитве головы. Хасан никогда не пропускает ни одной из пяти молитв, которые полагается произносить в течение дня. Даже когда мы заняты игрой, он всегда извиняется, умывается из колодца во дворе, исчезает в своей хижине и через несколько минут появляется вновь с улыбкой на губах. А я его жду в том месте, где мы расстались, порой на дереве. Похоже, сегодня он пропустит вечернюю молитву. Все из-за меня.

Базар быстро пустеет, на сегодня торговля закончена. Прохожу по рядам, где за одним прилавком продают битых фазанов, а за соседним — калькуляторы. Пробираюсь сквозь редющую толпу: нищие калеки в лохмотьях, рыночные торговцы, тоже укутанные в тряпье, чтобы не так холодно было, продавцы одежды и мясники. Лавки закрываются. Хасана нигде нет.

Пожилой торговец сушеными фруктами в зеленовато-голубой чалме грузит на мула корзины с кедровыми орешками и изюмом. Спрашиваю его про Хасана.

Прежде чем заговорить, старик долго смотрит на меня.

— Кажется, я его видел.

— Куда он направился?

Торговец меряет меня взглядом с головы до ног.

— А на что мальчику вроде тебя какой-то хазарец? Да еще на ночь глядя!

Он не сводит восхищенных глаз с моей кожаной куртки и джинсов — *ковбойских штанов*, как мы их тогда называли. Если афганец носит что-то американское (и вещи новые), это верный признак достатка.

— Я должен разыскать его, ага.

— А он тебе кто?

Запасаюсь терпением, хоть и не понимаю, куда он клонит.

— Он сын нашего слуги.

Старик приподнимает седую бровь:

— Да неужто? Заботливый же у хазарейца хозяин! Его отец должен стоять перед тобой на коленях и ресницами смахивать пыль с обуви!

— Так вы мне скажете, наконец?

Он хлопает мула по крупу, направляя животное в нужную сторону.

— Вроде бы похожий мальчишка пробежал вон там. В руках у него был синий воздушный змей.

— Правда?

Меня распирает радость. «Для тебя хоть тысячу раз подряд!» — вспоминается мне. Да, на Хасана всегда можно положиться. Вот ведь молодец!

— Только те, другие мальчишки, его, наверное, уже догнали, — продолжает торговец, взгромождая на мула еще одну корзину.

— Какие мальчишки?

— Которые за ним гнались. Одеты хорошо, вроде тебя. — Старик смотрит на небо и вздыхает. — Беги, а то я пропущу свой намаз.

Ракетой срываюсь с места.

Рыскаю по базару. Хасана ни следа. Может быть, старика подвели глаза? Хотя змей-то и вправду синий.

Подумать только, змей у Хасана, он мой!

Заглядываю в каждую лавчонку, под каждый прилавок. Никого.

Скоро совсем стемнеет. А что, если я так и не найду Хасана?

И тут до меня доносятся приглушенные голоса.

Впереди узкий грязный проулок, ведущий в сторону от базара. Ноги мои вязнут в грязи, изо рта вылетают клубы белого пара. Вдоль дороги тянется канава, полная снега, весной тут понесется настоящий поток. С другой стороны выстроилась вереница заснеженных кипарисов, за ними прячутся простенькие глинобитные дома, разделенные неширокими проходами.

Голоса слышатся снова, на этот раз громче. Это в проходе между домами. Подбираюсь поближе и, затаив дыхание, выглядываю из-за угла.

Хасан стоит у глухой стены тупика в угрожающей позе: кулаки сжаты, ноги расставлены. За спиной у него к куче камней и металлолома прислонен синий змей. Вот он, ключ к сердцу Бабы.

Дорогу Хасану загораживают трое парней, тех самых, с пустыря у подножия холма, которые не стали с нами связываться, стоило Хасану показать свою рогатку. С одной стороны — Вали, с другой — Камаль, а посередине — Асеф.

По телу у меня пробегает ледяная дрожь.

Спокойный и довольный, Асеф вертит в руках кастет. Двое других нервно переминаются с ноги на ногу, будто перед ними загнанный дикий зверь, с которым один Асеф в состоянии совладать.

— Где же твоя рогатка, хазара? — ехидно осведомляется Асеф, поигрывая кастетом. — Что ты там тогда сказал? Что меня наградят прозвищем «Одноглазый Асеф», так? Все верно. И очень умно. Легко быть умным с оружием наготове.

Осторожно выдыхаю, не в силах двинуться. Не свожу глаз с мальчика, с которым вырос, чье лицо с заячьей губой было моим первым воспоминанием.

— Но тебе повезло, хазара, — продолжает Асеф. Он стоит ко мне спиной, но я будто вижу его ухмылку. — Пожалуй, я тебя прощу. Такое у меня сегодня настроение. Что скажете, парни?

— Какое великодушие, — подхватывает Камаль. — Если учесть, как дурно он с нами обошелся. — Камаль старается подражать интонациям Асефа, но голос у него дрожит. И не Хасана он боится, нет. Он понятия не имеет, что у Асефа на уме, вот что страшно.

Асеф с достоинством поводит рукой:

— *Бахишда*. Прощен. Да будет так. — Тон его меняется, становится мрачным. — Разумеется, все в этом мире имеет свою стоимость. За милосердие надо платить, пусть цена и небольшая.

— Справедливо, — откликается Камаль.

— За все надо платить, — присоединяется Вали.

— Счастливчик ты, хазара. — Асеф делает шаг к Хасану. — Отдай мне синего змея, и мы квиты. Недорого беру. Честная сделка, правда, парни?

— Больше чем честная, — подтверждает Камаль.

Даже мне виден страх в глазах Хасана. Но мой слуга молча качает головой.

— Верный хазарец. Верный, как пес, — говорит Асеф.

Камаль издает гадкий смешок.

— Но прежде чем ты пожертвуешь собой ради него, подумай, разве он собой пожертвует ради тебя? Ты задумывался, почему он не приглашает тебя поиграть, когда у него гости? Почему он играет с тобой, только когда один? Я тебе скажу. Ты для него вроде домашнего зверька. Со зверьком можно поиграть, когда скучно, ему можно надавать тумаков, когда плохое настроение. Человеком он тебя не считает, не будь дурнем, не обманывай себя.

— Амир-ага и я — друзья, — весь красный, выдавливая из себя Хасан.

— Друзья? — хохочет Асеф. — Презренный осел! В один прекрасный день ты поймешь, какой он тебе друг. Но довольно об этом. Давай сюда змея!

Хасан нагибается и поднимает с земли камень.

Асеф отшатывается.

— Это твоя последняя возможность, хазара.

В ответ Хасан замахивается.

— Как хочешь. — Асеф снимает с себя зимнюю куртку, аккуратно сворачивает и кладет у стены.

Я кричу. Только про себя. Вся моя жизнь сложилась бы иначе, если бы я тогда взаправду закричал. Но я не проронил ни звука. Скорчился у стены и смотрел. И больше ничего.

Асеф делает рукой знак, два его приятеля расходятся в стороны и окружают Хасана.

— Я передумал, — зло произносит Асеф. — Подавись своим змеем, хазара. Пусть он останется тебе на память о том, что сейчас случится.

Камень попадает Асефу прямо в лоб. С визгом Асеф сбивает Хасана с ног. Вали и Камаль кидаются на моего слугу.

Впиваюсь зубами в сжатый кулак. Закрываю глаза.

ПОМНЮ:

А ведь вы с Хасаном вскормлены одной грудью. Как ты мог забыть об этом, Амир-ага? Вашу кормилицу звали Сакина, она была дородная, красивая, голубоглазая хазареянка из Бамиана и пела вам старинные свадебные песни. Говорят, между молочными братьями существует тесная связь. Ты и об этом забыл?

ПОМНЮ:

— Рупия с каждого, мальчуганы. Всего лишь рупия, и я приоткрою завесу тайны.

У глиняной стены скорчился старик-предсказатель. Его затянутые бельмами глубоко посаженные глаза отливают серебром, одной заскорузлой рукой он опирается на палку, другой поглаживает впалые щеки.

— Недорого за правдивое предсказание. Всего рупия с каждого.

Рука протянута к нам. Хасан роняет монетку в высохшую ладошку, я вслед за ним.

— Во имя Аллаха, всеблагого и всемилостивейшего.

Предсказатель берет Хасана за руку, водит костяным пальцем по ладони, туда-сюда, туда-сюда. Потом старик щупает Хасану лицо, уши, касается подбородка, век. Шуришит сухая кожа. Слепой замирает и, не говоря ни слова, возвращает Хасану монету. Поворачивается ко мне:

— А ты, мой юный друг?

За стеной кричит петух. Я отдергиваю руку.

СОН:

Метель. Я заблудился. Ветер, завывая, пригоршнями швыряет снег прямо мне в лицо. Ноги вязнут в сугробах. Зову на помощь, но голос мой уносит вьюга. Ветер сбивает меня с ног и заметает мои следы. «Я призрак, — думается мне, — только призраки не оставляют следов». Кричу опять, уже ни на что не надеюсь. И слышу: кто-то отвечает мне. За качающимися снежными полотнищами мелькает чей-то яркий силуэт. Из хаоса выныривает знакомая фигура. На протянутой мне руке глубокие порезы, из них сочится кровь и пятнает снег. Я хватаюсь за изрезанную руку — и снега уже нет. Мы стоим на зеленом лугу, над нами проплывают облака. В небе полно воздушных змеев, зеленых, желтых, красных, оранжевых, и полуденное солнце ярко освещает их.

В тупике настоящая помойка. Рваные велосипедные камеры, пустые бутылки, старые газеты и журналы — все присыпано битым кирпичом и строительным мусором. У стены валяется ржавая чугунная печь с дырой. Но я не замечаю всего этого. Мои глаза смотрят на синего змея рядом с ржавой печкой и на коричневые вельветовые штаны на куче кирпича. Это штаны Хасана.

— Ну, не знаю, — гундосит Вали. — Мой отец говорит, это грех. — Голос у него неуверенный, возбужденный и напуганный, все вместе.

Руки у Хасана выкручены за спину, он лежит на земле лицом вниз. Камаль и Вали усадились ему на плечи. Над ними возвышается Асеф, упершись ногой Хасану в шею.

— Твой отец ничего не узнает, — каркает Асеф. — Надо же преподать урок неучтивому ослу.

— Не знаю, — бормочет Вали.

— Решайся. — Асеф поворачивается к Камалю: — Ты что скажешь?

— Я?... А что я?

— Это всего-навсего хазарец, — убеждает Асеф, но Камаль отводит глаза. — Чудненько, — бросает Асеф. — Тогда держите его, слабаки. Больше от вас ничего не требуется.

Вали и Камаль с облегчением кивают.

Асеф становится на колени и хватается Хасана за ляжки, заставляя того принять недостойную позу, затем, придерживая его одной рукой, другой расстегивает на себе джинсы и спускает трусы. Хасан не сопротивляется. Не пикнет даже. Только вертит головой.

На какое-то мгновение я вижу его лицо. На нем выражение покорности. Как у барана перед закланием.

ЗАВТРА — ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ благословенного Зуль-хиджа, последнего месяца мусульманского календаря, и первый из трех дней великого праздника Ид-аль-адха (Курбан-байрама) в честь пророка Ибрагима, который чуть было не принес своего сына в жертву Аллаху. Баба лично выбрал праздничного барана, кипенно-белого, с раскосыми черными глазами.

Мы все собрались во дворе, Хасан, Али, Баба и я. Мулла, поглаживая бороду, читал молитву.

«Ну, давай же быстрее», — прошипел Баба еле слышно. Его утомили бесконечные молитвы, неизменная часть ритуала приготовления чистого мяса — халяля. Баба

подсмеивался над религиозной подоплекой праздника — как и над религией вообще, — но уважал традиции. Обычай велел делить мясо на три части: своей семье, друзьям и бедным. Каждый год Баба неизменно отдавал все мясо бедным. Богатые и так толстые, говаривал он.

Мулла закончил молитву — Аминь — и взял длинный кухонный нож. По обычаю баран не должен видеть ножа. Али дал барану кусочек сахара — еще один обычай, чтобы смерть была сладка. Животное пыталось брыкаться, но не сильно. Мулла схватил барана за морду, приставил к шее нож и одним ловким заученным движением перерезал горло. Взгляд барана будет долго преследовать меня в ночных кошмарах. Но я смотрел и смотрел, замороженный покорностью, светившейся в кротких глазах жертвы. Мне казалось, животное все понимало, знало, что его смерть — во благо людям. Вот так-то...

Отворачиваюсь. Что-то теплое ползет у меня по руке. Оказывается, я прокусил себе кулак до крови. Из глаз у меня текут слезы. Слышно, как постанывает Асеф.

Надо решаться. Еще можно изменить свою судьбу. Подняться, вступить за Хасана — как он частенько заступался за меня, — и будь что будет.

А можно и убежать.

И я убегаю.

Я смываюсь, потому что трус. Я боюсь Асефа. Какое унижение он придумает для меня? А вдруг мне будет больно? Трусу легко оправдать себя. Сказал же Вали: за все надо платить. Может быть, Хасан и есть моя плата за удачу, мой жертвенный баран? Любовь Бабы дорогого стоит.

Велика плата? Это хазарец-то?

Потихонечку отступаю по проезду, по которому пришел, постепенно ускоряю шаги. Уже бегом выскакиваю на почти опустевший базар и, задыхаясь, оседаю на землю возле первой попавшейся запертой двери.

Ну почему все случилось именно так?

Минут через пятнадцать слышу голоса и топот бегущих ног. Падаю ниц, чтобы меня не заметили. По базару вихрем проносится Асеф с двумя друзьями, хохоча на бегу.

Заставляю себя выждать еще минут десять и возвращаюсь в начало проезда. Вот она, забитая снегом канава. У березы с облетевшими листьями навстречу мне выходит Хасан.

В руках у него синий змей — первое, что бросается мне в глаза. Сразу замечаю, что его чапан спереди весь перемазан грязью, а рубаха у воротника разорвана. Хасана шатает из стороны в сторону — вот-вот упадет. Нет, справляется.

Хасан протягивает мне змея.

— Где ты был? Я искал тебя. — Голос у меня строгий.

Как мне трудно говорить!

Он рукавом вытирает с лица сопли и слезы. Что он мне скажет?

Но он не говорит ничего. В молчании стоим в потемках. Наши лица еле видны, и это хорошо. Я не смог бы выдержать его взгляд.

А он знает, что я все видел? И что у него в глазах? Осуждение? Негодование? Или, самое страшное, беззаветная преданность? Это было бы ужаснее всего.

Хасан пытается что-то сказать и не может. У него пропал голос, и рот открывается и закрывается беззвучно.

Он отступает на шаг и опять вытирает лицо. Сейчас расплачется и расскажет мне все.

Нет, обошлось. Только слюну сглатывает. И молчит.

Больше вопросов я не задаю. Предпочитаю притвориться, что ничего не заметил. Ну не вижу я темного пятна у него на штанах. И капелек крови на снегу не вижу.

— Ага-сагиб будет волноваться, — с усилием произносит Хасан.

И мы трогаемся в путь.

Все происходит, как мне мечталось. Открываю дверь прокуренного отцовского кабинета и вхожу. Баба и Рахим-хан пьют чай и слушают новости по радио. При виде меня отец широко улыбается и раскрывает свои объятия. Прячу лицо у него на груди и плачу. Баба прижимает меня к себе и укачивает, как маленького.

У него на руках я забываю обо всем, что случилось. Это такое счастье.

Целую неделю Хасан не попадался мне на глаза. Когда я спускался вниз по утрам, завтрак уже ждал меня на столе: поджаренный хлеб, свежезаваренный чай и теплое отварное яйцо. Выглаженная одежда была аккуратно сложена на плетеном стуле. Раньше Хасан ждал, пока я не начну трапезу, и только потом начинал гладить. За завтраком мы разговаривали, под шипение утюга пели старинные хазарейские песни про тюльпанные поля. Теперь никто не приветствовал меня по утрам — разве что выглаженная одежда. Еда в рот не лезла.

Однажды хмурым утром, когда я катал яйцо по тарелке, вошел Али с охапкой дров. Я спросил его, где Хасан.

— Он опять лег спать, — ответил Али, скрючившись перед печкой и открывая дверцу.

— А он сможет поиграть со мной сегодня?

Али замер с поленом в руке.

— Последнее время он только и делает, что спит. Сделает свою работу — уж я слежу — и в постель. Можно вопрос?

— Спрашивай.

— После состязания воздушных змеев он пришел домой весь в крови. И рубашка разорвана. Я у него спросил, что случилось, а он: ничего, просто подрался за змея с другими мальчишками.

Я в молчании катал яйцо.

— С ним ничего такого не произошло, Амир-ага? Он мне все сказал?

Я пожал плечами:

— Откуда мне знать?

— Ты ведь не скрыл бы от меня, правда? Если бы произошло что-то дурное?

— Я же сказал, откуда мне знать, что с ним такое? — повысил голос я. — Может, он заболел. Все болеют время от времени, Али. Ты хочешь заморозить меня до смерти или все-таки затопишь?

— Как насчет поездки в Джелалабад в пятницу? — спросил я у Бабы тем же вечером.

Отец, откинувшись на спинку кожаного кресла-качалки, листал за письменным столом газету. Сложив ее, он снял свои очки для чтения — я всей душой ненавидел их, ведь отцу еще далеко до старости, он в самом расцвете сил, на что ему эта дурацкая побрякушка? — и посмотрел на меня.

— А почему бы и нет?

Последнее время Баба соглашался на все, о чем бы я ни попросил. Мало того. Позавчера он сам предложил сходить в кино «Ариана» на «Эль Сида» с Чарльтоном Хестоном и Софи Лорен.

— Хасана ты с собой в Джелалабад берешь?

Ну зачем Бабе надо все испортить?

— Он болен, — пробурчал я.

— Правда? — Баба перестал раскачиваться. — Что с ним такое?

Я пододвинулся поближе к камину.

— Простудился, наверное. Али говорит, он все время спит. Сон его вылечит.

— Что-то не видно Хасана, не видно. — В голосе Бабы слышалась тревога. — Простудился, значит?

Ну зачем ты с такой заботой приподнимаешь бровь? Ненавижу.

— Обычная простуда. Так мы едем в пятницу, Баба?

— Да, да. — Отец оперся руками о стол. — Жалко, Хасан с нами не поедет. Тебе с ним было бы веселее.

— Нам и вдвоем с тобой хорошо, — возразил я.

— Только оденься потеплее, — весело подмигнул мне Баба.

Вдвоем-то оно было бы здорово. Только уже к вечеру среды Баба умудрился наприглашать еще человек двадцать пять народу. Позвонил своему троюродному брату Хамаюну, выучившемуся на инженера во Франции, и сказал, что в пятницу собирается в Джелалабад. Хамаюн, у которого в Джелалабаде был дом, очень обрадовался и заявил, что пригласит всю компанию — двух своих жен, детей, кузена Шафика из Герата, который с семейством как раз гостит у него, кузена Надера (с ним у Хамаюна враждебные отношения, но живут они в одном доме), да и братца Фарука надо взять с собой, а то еще обидится и не позовет на свадьбу дочери в следующем месяце, и еще не забыть...

Получилось три микроавтобуса битком. Со мной ехали: Баба, Рахим-хан, Кэка Хамаюн (Баба с раннего детства приучил меня обращаться ко взрослым мужчинам «Кэка» — дядя, а к женщинам «Хала» — тетя), две жены Кэки Хамаюна, одна постарше, узколиция, с руками в бородавках, вторая помоложе (она все пританцовывала, закрыв глаза), и две хамаюновские дочки-близняшки (тоже пританцовывали, непоседы). Я сидел сзади, зажатый с двух сторон между семилетними девчонками, которые то и дело шлепали друг друга, а заодно доставалось и мне. Меня сильно укачивало, тем более что дорога до Джелалабада — это два часа горного серпантина. Все в машине орали во всю глотку — у афганцев такая манера разговаривать. Я попросил одну из девчонок, Фазилю или Кариму, я их не различал, пустить меня к окну, пока мне не стало совсем плохо. Та только язык в ответ показала. Тогда я предупредил, что если ее новое платье пострадает, то я ни при чем. Минуту спустя голова моя высывалась из окна, перед глазами качалась ухабистая дорога, мимо проносились, колыхаясь, грузовики, набитые людьми. Я зажмурился, старался дышать поглубже, ветерок дул мне в лицо. Только легче не становилось.

Меня ткнули пальцем в бок. Фазиля/Карима, кто же еще.

— Что? — спросил я.

— Я как раз рассказываю всем про турнир воздушных змеев, — прогудел Баба из-за баранки.

Со среднего ряда сидений мне улыбался Кэка Хамаюн с женами.

— В небе в тот день, наверное, было не меньше ста змеев, — продолжал Баба. — Правда, Амир?

— Наверное, — промычал я.

— Сто змеев, Хамаюн-джан. Кроме шуток. И под конец дня в небе остался только один, змей Амира. Сбитого синего змея он принес домой. Хасан и Амир вместе определили, где он упал, и успели первыми.

— Поздравляю, — расплылся Кэка Хамаюн. Его первая жена сдвинула вместе бородавчатые ладони.

— Вах, вах, Амир-джан, мы так гордимся тобой.

Вторая жена пошла по стопам первой. Некоторое время все хлопали, выкрикивали поздравления, восхищались мной. Молчал только Рахим-хан, сидевший на переднем сиденье рядом с Бабой, он как-то странно посматривал на меня.

— Остановись, — промычал я отцу.

— Что случилось?

— Мне плохо. — Меня отбросило от окна, и я навис прямо над хамаюновскими дочками.

— Сверни на обочину, Кэка, — заверещали девчонки. — Он такой желтый, как бы он нам платье не испортил!

Баба затормозил, но было уже поздно.

Пока машину проветривали, я сидел на придорожном камне. Баба и Кэка Хамаюн курили. Между затяжками дядюшка убеждал Фазилю/Кариму перестать плакать, в Джелалабаде он купит ей другое платье, еще лучше прежнего. Я зажмурился и подставил лицо солнечным лучам. За закрытыми веками возник целый театр теней, образы плясали и растекались, пока не слились в один: вельветовые штаны Хасана на куче кирпичей.

Веранда белого двухэтажного дома Кэки Хамаюна выходила в сад, обнесенный высоким забором; в саду росли яблони, хурма и декоративный кустарник. Летом садовник подстригал кусты и придавал им формы разных зверей. Имелся и бассейн, отделанный изумрудно-зеленым кафелем. Свесив ноги, я сидел на краю бассейна, дно его покрывал слежавшийся снег. В дальнем конце сада дети Кэки Хамаюна играли в прятки, женщины на кухне готовили еду. Аромат жареного лука щекотал мне ноздри, слышалось шипение скороварки, музыка и смех. Баба, Рахим-хан, Кэка Хамаюн и Кэка Надер курили, сидя на веранде. Кэка Хамаюн говорил, что привез с собой проектор и покажет всем слайды, которые снял во Франции. Он уж десять лет как вернулся из Парижа, но все носился со своими дурацкими слайдами.

В общем, все шло хуже некуда. А ведь у нас с Бабой все складывалось хорошо. Пару дней назад мы с ним ходили в зоопарк, смотрели на льва Марджана, и я бросил камешек в медведя, когда никто не видел. После зоопарка мы наведались в кебабную Дадходы напротив «Кино-парк» и ели кебабы из ягнятины и горячий, из тандыра, хлеб. Баба рассказывал мне о своих поездках в Индию и Советский Союз и о людях, с которыми его сталкивала жизнь, говорил о безногих супругах из Бомбея — они прожили вместе сорок семь лет и произвели на свет одиннадцать детей. Это был замечательный день — именно о таком я мечтал все эти годы. Если бы еще не эта пустота внутри — вот словно в спущенном бассейне передо мной.

Незадолго перед закатом жены и дочери накрыли к ужину — рис, кофта и курма из цыплят. Все, как велит традиция: на полу была расстелена скатерть, мы сидели вокруг на подушках и ели руками из общей посуды — по блюду на четыре-пять человек. Хотя я и не был голоден, пришлось участвовать в общей трапезе вместе с Бабой, Кэкой Фаруком и двумя сыновьями Кэки Хамаюна. Баба, приложившись перед ужином к бутылочке, гнул свое про состязание воздушных змеев, как я всех разгромил и принес домой сбитого змея. Голос его заполнял всю комнату. Все опять приносили мне свои поздравления, дядюшка Фарук хлопал меня по спине чистой рукой. Я сидел как на иголках.

Уже за полночь, наигравшись в покер, мужчины легли спать на тюфяках, постеленных в ряд в той же комнате, где ужинали. Женщины отправились наверх.

Прошел час, а заснуть я не смог. Родственники мои давно дрыхли без задних ног, сопели

и храпели, а я все ворочался с боку на бок. В окно светила луна.

— Я видел, как насиловали Хасана, — вдруг произнес я вслух.

Баба пошевелился во сне. Кэка Хамаюн что-то пробормотал. Хоть бы кто-нибудь меня услышал, ну как мне жить дальше со своей страшной тайной наедине? Нет ответа, только глухое молчание. Я проклят, мне некому поведать свою печаль.

Вот что предвещал сон Хасана про озеро! Никакого чудовища нет, сказал он. Есть, и еще какое. Чудовище — это я сам. Я схватил Хасана за ноги и утащил на илистое дно.

С этой ночи бессонница стала моей постоянной спутницей.

Я не проронил с Хасаном ни слова до середины будущей недели. Он мыл посуду, а я, не доев обед, поднимался к себе. Хасан окликнул меня, спросил, не хочу ли я подняться с ним на вершину холма. Я устал, сказал я. У Хасана тоже был усталый вид: похудел, подзатекшими глазами серые круги. Он обратился ко мне еще раз. Я согласился.

Хлюпая по грязному снегу, мы в молчании поднялись по склону и сели под гранатовым деревом. Ой, не стоило мне сюда приходить. Ведь на стволе была вырезанная мною надпись: «Амир и Хасан — повелители Кабула». Оказалось, я видеть ее не могу.

Хасан попросил меня прочесть что-нибудь из «Шахнаме». Мне расхотелось, сказал я ему. Лучше вернуться домой. Не глядя на меня, Хасан пожал плечами. Спускались мы с холма, как и поднимались, — не говоря ни слова.

Впервые в жизни я не мог дождаться, когда же придет весна.

О том, что еще случилось зимой 1975 года, воспоминания у меня самые смутные. Когда Баба бывал дома, в душе у меня поселялась радость. Мы вместе обедали и ужинали, ходили в кино, отправлялись в гости к Кэке Хамаюну или Кэке Фаруку. Иногда заходил на огонек Рахим-хан, и Баба разрешал мне посидеть с ними за чаем в кабинете. Я даже читал отцу свои рассказы. Все шло отлично, и, казалось, лед в наших отношениях растаял. Только зря мы с Бабой обольщались на этот счет. Ну разве может безделушка из клееной бумаги и бамбука закрыть собой пропасть между людьми?

Когда Бабы дома не было — а это случалось частенько, — я отсиживался у себя в комнате, читал, писал рассказы, рисовал лошадок. По утрам, пока Хасан возился в кухне под звяканье тарелок и свист чайника, я старался дождаться, когда все стихнет, хлопнет дверь, и только тогда спускался вниз. День начала занятий в школе я обвел в своем календаре кружком и считал, сколько дней еще осталось.

К моему ужасу, Хасан изо всех сил старался, чтобы все между нами шло как раньше.

Сижу я в своей комнате и читаю «Айвенго» в сокращенном переводе на фарси, а он стучится в дверь.

— Что такое?

— Я иду к булочнику за хлебом, — говорит Хасан из-за двери. — Не хочешь пройтись за компанию?

— Я занят, — отвечаю, потирая виски. С недавних пор, стоит Хасану оказаться поблизости, как у меня начинает трещать голова.

— На дворе солнышко.

— Вижу.

— Только и гулять в такую погоду.

— Вот и ступай.

— А ты разве не собираешься?

Молчу. Что-то ударяется о дверь с той стороны. Хасан, что ли, бьется лбом?

— Что я такого сделал, Амир-ага? Скажи мне. Почему мы больше не играем вместе?

— Ты не сделал ничего плохого. Иди себе.

— Скажи мне. Я исправлюсь.

Сгибаюсь пополам и зажимаю себе коленями голову, словно тисками.

— Сейчас скажу, в чем тебе следует исправиться. — Глаза у меня закрыты.

— Слушаю.

— Прекрати приставать ко мне. Иди куда шел.

Хоть бы он ответил мне грубостью — распахнул сейчас настежь дверь и наговорил резких слов, — мне было бы легче. Ничего подобного. Выхожу из комнаты — а Хасана и след простыл.

Падаю на кровать, накрываюсь подушкой и рыдаю.

Теперь Хасан существовал где-то на задворках моей жизни. Я старался, чтобы наши пути никак не пересекались. Если Хасан был рядом, воздух в комнате становился разреженным и я начинал задыхаться, словно мне не хватало кислорода. Но даже если Хасан находился далеко, я все равно чувствовал его присутствие — в кипе выстиранной и выглаженной им одежды на плетеном стуле, в нагретых тапочках у двери, в затопленной перед завтраком печке. Куда бы я ни повернулся, перед глазами у меня маячили знаки его непоколебимой преданности, будь она трижды проклята.

Ранней весной, за несколько дней до начала занятий в школе, Баба и я сажали в саду тюльпаны. Почти весь снег растаял, на склонах холмов уже пробивалась свежая травка. Утро выдалось серое и холодное. Баба, сидя на корточках, клал в лунки луковицы, которые подавал я, и засыпал землей. Большинство людей считает, что тюльпаны лучше сажать осенью, говорил он, но это неправда.

И тут я его огорошил:

— Баба, а тебе никогда не хотелось нанять новых слуг?

Луковица упала на землю, садовый совок плюхнулся прямо в грязь. Баба резким движением содрал с рук перчатки.

— Что ты сказал?

— Я рассуждаю, вот и все.

— И чего ради я должен прогнать старых слуг? — Слова отца прозвучали резко.

— Ничего ты не должен. Я просто спросил, — пробормотал я.

Зачем только было затевать этот разговор?

— Это все из-за тебя и Хасана? Между вами словно черная кошка пробежала, но ты уж сам разбирайся. Я тут ни при чем.

— Извини, Баба.

Отец вновь натянул перчатки.

— Я рос вместе с Али, — процедил он сквозь зубы. — Мой отец взял его в семью и любил, как собственного сына. Али с нами уже целых сорок лет, черт побери. И ты думаешь, я хочу его вышвырнуть? — Лицо у Бабы было красное как тюльпан. — Я тебя пальцем никогда не тронул, Амир, но если ты только заикнешься еще раз... — Отец оглянулся и потряс головой. — Ты позоришь меня. Хасан останется здесь, ты понял?

Потупившись, я набрал полную горсть холодной земли, и сейчас она сыпалась у меня

между пальцами.

— Ты понял, что я сказал? — проревел Баба.

— Да, Баба.

— Хасан останется с нами. — Баба с яростью вонзил совок в землю. — Он здесь родился, здесь его дом, его семья. Выброси всю эту чушь из головы.

— Я понял, Баба. Извини.

Последние тюльпаны мы сажали в тяжелом молчании.

Начались занятия, и мне стало немного легче. Новые тетради, остро заточенные карандаши, общий сбор во дворе школы, сейчас староста дунет в свисток... Размешивая грязь, Баба подвез меня к самому входу в старое двухэтажное здание из натурального камня с облупившейся внутри штукатуркой. Большинство моих товарищей прибыло в школу на своих двоих, и «форд-мустанг» Бабы всегда провожали завистливыми взглядами. Выходя из машины, я должен был надуться от гордости — но помню лишь свое смущение. И пустоту внутри.

Отъезжая, Баба со мной даже не попрощался.

Мы еле успели похвастаться боевыми шрамами на ладонях — памятками о воздушных сражениях, — как раздался звонок. Все парами отправились в классы. Я занял последнюю парту. На уроке фарси мне хотелось одного: чтобы задали побольше.

Теперь у меня был предлог безвылазно торчать у себя в комнате. К тому же занятия на какое-то время отвлекли меня от мыслей о том, что произошло этой зимой при моем молчаливом попустительстве. Несколько недель я старательно забивал себе голову силой тяготения и инерцией, атомами, клетками и англо-афганскими войнами. Но перед глазами так и стоял проход между домами. Хасановы коричневые вельветовые штаны, брошенные на кучу кирпича. И еще капельки крови, почти черные на снегу.

Знойным тягучим июньским днем я зову Хасана на вершину нашего холма — говорю, что прочту ему свой новый рассказ. Хасан развешивает во дворе выстиранное белье — и ужасно торопится, услышав мое приглашение.

Мы обмениваемся парой слов, пока карабкаемся по склону. Он спрашивает меня про школу, про новые предметы, я рассказываю ему об учителях, особенно о противном новом учителе математики, бившем болтунов металлической линейкой по пальцам. Хасан вздрагивает и предполагает, что уж мне-то, наверное, удастся избежать наказания. Да, пока мне везло, отвечаю я, про себя прекрасно зная, что везение здесь ни при чем, тем более что разговаривал на уроках я не меньше других. Просто отец у меня богат и знаменит.

Садимся у кладбищенской стены в тени граната. Через месяц на склонах холма вымахают сорняки, пожелтеют и сохнут. Но весенние дожди в этом году были длинные и обильные — и потому трава пока зеленая, сквозь нее там и сям пробиваются полевые цветы. У подножия холма сверкает на солнце плоскими крышами Вазир-Акбар-Хан, и легкий ветерок колышет развешанное для просушки белье.

Срываем с дерева с десятков гранатов, я достаю странички со своим рассказом — и вдруг откладываю их в сторону, вскакиваю на ноги и поднимаю с земли перезрелый гранат.

— Что ты сделаешь, если я запущу им в тебя? — спрашиваю я Хасана, подбрасывая фрукт на ладони.

Улыбка исчезает с его лица. Как он постарел! Не возмужал, а именно *постарел* — эти складки у рта, морщины возле глаз... Это я тому причиной, это мой резец оставил их.

— Так что ты сделаешь? — повторяю я вопрос.

У Хасана в лице ни кровинки. Ветер треплет мою рукопись — хорошо, что листки склоты вместе. Швыряю гранат в слугу, плод попадает ему в грудь, разбрызгивая во все стороны красную мякоть.

В крике Хасана удивление и боль.

— А теперь ты брось в меня! — ору я.

Хасан вскидывает на меня глаза.

— Поднимайся! Бросай в меня гранатом!

Хасан поднимается. И стоит недвижимо. Лицо у него такое, будто его внезапно смыла с пляжа волна и унесла далеко в море.

Удар следующего граната приходится в плечо, сок окропляет моему товарищу лицо.

— Ну же! Швырай! — хриплю я. — Давай же, чтоб тебя!

Почему ты меня не слушаешься? Поступи со мной так же, накажи меня, избавь от бессонницы! Может, тогда все будет как раньше.

Плод за плодом летит в Хасана. Он не шевелится.

— Трус! — срываюсь на визг я. — Ты просто жалкий трус!

Не знаю, сколько раз я попал в него. Когда меня наконец оставляют силы, он весь перемазан красным.

В отчаянии падаю на колени.

И тут Хасан поднимает с земли гранат, подходит поближе ко мне, ломает пурпурный шар пополам и расплющивает о собственный лоб.

— Получай. — Сок течет у него по лицу, словно кровь. — Доволен? Легче теперь стало?

И он поворачивается ко мне спиной и сбегает по склону вниз.

Стоя на коленях, я раскачиваюсь взад-вперед. Из глаз у меня хлещут слезы.

— Что же мне делать с тобой, Хасан? Что же мне с тобой делать?

Когда слезы высыхают, я направляюсь к дому, уже зная ответ на свой вопрос.

Мне исполнилось тринадцать в то лето, предпоследнее для Афганистана лето мира и согласия. К тому времени наши с Бабой отношения опять сковал лед. Зря я заикнулся насчет новых слуг, когда мы с отцом сажали тюльпаны, — с этого, наверное, все и началось. Хотя разрыв все равно был неизбежен, рано или поздно он бы произошел. К концу лета только стук ложек и вилок нарушал тишину за обедом — а после еды Баба, как и раньше, удалялся в кабинет и закрывал за собой дверь. В сотый раз я перечитывал Хафиза и Омара Хайяма, обгрызал до мяса ногти, сочиняя свои рассказы. Исписанные странички я складывал стопкой под кроватью, хоть и не надеялся уже, что мне доведется когда-нибудь прочесть их Бабе.

Гостей на празднике должно быть много, считал отец, иначе какой же это праздник? За неделю до своего дня рождения я заглянул в список приглашенных. Из четырехсот человек — плюс дядюшки и тетушки, — которые должны были вручить мне подарки и поздравить с тем, что я дожил до тринадцати лет, имена как минимум трех сотен ничего мне не говорили. Удивляться нечему, они ведь явятся не ко мне. Прием дается в мою честь, но настоящей звездой представления будет совсем другой человек.

Али и Хасану было бы просто не справиться — и помощников нашлось немало. Мясник Салахуддин привел на веревочке ягненка и двух овечек, категорически отказался брать деньги и лично зарезал животных под тополем во дворе. Помню его слова: кровь полезна для деревьев. Незнакомые люди развесили по дубам провода и лампочки. Другие люди расставили во дворе дюжину столов и накрыли скатертями. Вечером накануне праздника

явился Бабин друг, ресторатор из Шаринау Дел-Мухаммад, — отец называл его Делло — с целыми корзинами специй, замариновал мясо и тоже денег не взял, сказав, что и так в неоплатном долгу перед Бабой. Чтобы открыть свой ресторан, Делло занял у Бабы средства, шепнул мне Рахим-хан, а когда хотел вернуть долг, то Баба неизменно отказывался, пока Делло не прикатил к нам на собственном «мерседесе» и буквально не умолил отца принять деньги.

Наверное, прием удался, — по крайней мере, с точки зрения гостей. Дом был набит битком, куда ни ткнешься, везде пили, курили и оживленно разговаривали. Сидели на кухонных столах, на ступеньках лестницы, даже на полу в вестибюле. Во дворе пылали факелы, на деревьях мигали синие, красные и зеленые огни, бросая причудливые отсветы на лица гостей. В саду была устроена сцена, установлены динамики, и сам Ахмад Захир играл на аккордеоне и услаждал слух танцующих.

Как и полагается хозяину, я лично приветствовал каждого, а Баба тщательно следил, чтобы никто не был обделен вниманием, — не то пойдут потом разговоры, что сын у него дурно воспитан. Я целовался с посторонними, обнимал незнакомцев, принимал подарки от чужих и улыбался, улыбался, улыбался... Даже мышцы лица заболели.

Я стоял с отцом в саду у бара, когда в очередной раз услышал: «С днем рождения, Амир».

Это явился Асеф с родителями — тощим узколицым Махмудом и крошечной суетливой Таней, раздающей улыбки направо-налево. Дылда Асеф обнимает отца с матерью за плечи — и это как бы он подвел их к нам, словно главный в семье.

Перед глазами у меня все поплыло.

— Спасибо, что пришли, — любезно произносит Баба.

— Твой подарок у меня, — говорит Асеф.

Таня смотрит на меня, неловко улыбается, и лицо ее передергивает тик.

Интересно, заметил Баба или нет?

— По-прежнему увлекаешься футболом, Асеф-джан? — спрашивает Баба. Он всегда хотел, чтобы мы с Асефом дружили.

Асеф улыбается. Вид у него светский до омерзения.

— Да, конечно, Кэка-джан.

— Играешь на правом крыле, как помнится?

— В этом году я на позиции центрфорварда. Больше пользы для команды. На следующей неделе играем с Микрорайоном. Предстоит интересный матч. У них есть хорошие игроки.

Баба кивает:

— Я тоже в юности был центрфорвардом.

— Вы бы и сейчас замечательно сыграли, я уверен, — добродушно подмигивает ему Асеф.

Баба подмигивает Асефу в ответ:

— Да, твой отец научил тебя говорить комплименты.

Смех Махмуда оказывается таким же неестественным, как и улыбка его жены. Собственного сына они, что ли, боятся?

А вот у меня даже фальшивой улыбки не получается. Чуть приподнимаются уголки рта, и все. При виде Асефа запанибрата с Бабой просто кишки сводит.

Асеф устремляет свой взор на меня:

— Вали и Камаль тоже здесь. Ни за что на свете они не пропустили бы такое торжество. — Сквозь лоск просвечивает насмешка.

Молча кланяюсь.

— Мы тут задумали завтра поиграть в волейбол во дворе моего дома. Приходи, — приглашает Асеф. — И Хасана с собой возьми.

— Заманчиво, — улыбается Баба. — Что скажешь, Амир?

— Я не очень люблю волейбол, — бурчу я.

Радость в глазах отца гаснет.

— Извини, Асеф-джан.

Он просит прощения за меня. Как больно!

— Ничего страшного, — проявляет великодушие Асеф. — Приглашение остается в силе, Амир-джан. Слышал, ты любишь читать. Я дарю тебе книгу. Одна из самых моих любимых. — Он протягивает мне сверток. — С днем рождения.

На нем хлопчатобумажная рубашка, синие слаксы, красный шелковый галстук и начищенные черные мокасины; светлые волосы тщательно зачесаны назад. От Асефа так и разит одеколоном. С виду — настоящая мечта всех родителей, высокий, сильный, хорошо одетый, с прекрасными манерами, не робеет перед взрослыми. Глаза только выдают. В них проскальзывает безумие. По-моему.

— Бери же, Амир. — В голосе Бабы упрек.

— А?

— Возьми подарок. Асеф-джан хочет вручить тебе подарок.

— Ах да.

Принимаю сверток и опускаю глаза. Мне бы сейчас к себе в комнату, к книгам, подальше от этих людей...

— Ну же, — напоминает мне Баба, понизив голос, как всегда на людях, когда я ставлю его в неловкое положение своим поведением.

— Что?

— Ты не собираешься поблагодарить Асеф-джана? Все это очень любезно с его стороны. Ну что он его так величает? Ко мне бы почаще обращался «Амир-джан»!

— Спасибо, — выдавливаю я.

Мать Асефа смотрит на меня, будто хочет что-то сказать, и не произносит ни слова. Вообще его родители слова не вымолвили.

Чтобы больше не заставлять отца краснеть, отхожу в сторонку — подальше, подальше от Асефа и его ухмылки.

— Спасибо, что почтили нас своим посещением.

Пробираюсь сквозь толпу и выскальзываю за ворота. За два дома от нас большой грязный пустырь. Баба как-то говорил Рахим-хану, что этот участок купил судья и уже заказал у архитектора проект. Но пока тут пусто, только сорняки и камни.

Разворачиваю книгу, подаренную Асефом, и при свете луны читаю название. Это биография Гитлера.

Зашвыриваю книгу подальше в сорняки. Прислоняюсь к забору соседа и без сил оседаю на землю.

Сажу в темноте, поджав колени к подбородку, и смотрю на звезды. Скорее бы все закончилось!

— Тебе ведь вроде полагается развлекать гостей? — Вдоль забора ко мне направляется Рахим-хан.

— Я им не нужен. Баба с ними, что им еще?

Рахим-хан садится рядом со мной. Лед у него в стакане звякает.

— Я и не знал, что ты пьешь.

— Тайное вышло наружу, — шутливо отвечает Рахим-хан, жестом показывает, что пьет за мое здоровье, и делает глоток. — Вообще-то я пью редко. Но сегодня выпал настоящий повод.

— Спасибо, — улыбаюсь я.

Рахим-хан закуривает пакистанскую сигарету без фильтра. Они с Бабой всегда курят такие.

— Я тебе когда-нибудь рассказывал, как чуть было не женился?

— Правда?

Мне трудно вообразить Рахим-хана женатым. В моем представлении он давно стал «вторым я» Бабы. Рахим-хан благословил меня на труд литератора, он — мой старый друг, из каждой поездки он привозит мне что-нибудь на память. Как-то не подходит ему роль мужа и отца.

Рахим-хан печально кивает:

— Конечно, правда. Мне было восемнадцать лет. Ее звали Хомайра. Она была хазареянка, дочь слуг нашего соседа, прекрасная, как пери... Каштановые волосы, карие глаза... И смех. Я до сих пор слышу его. — Рахим-хан вертит в руках стакан. — Мы тайно встречались в яблоневом саду моего отца, поздно ночью, когда все уже спали. Мы гуляли под деревьями, и я держал ее за руку... Ты смущен, Амир-джан?

— Немного.

— Не страшно. — Рахим-хан затягивается сигаретой. — И мы дали волю фантазии. Мы представили себе многолюдную пышную свадьбу, на которую съедутся друзья и родственники от Кабула до Кандагара, большой дом, внутренний дворик, отделанный плиткой, огромные окна, цветущий сад и лужайку, где играют наши дети. Мы представили, как по пятницам после намаза в мечети у нас собираются друзья и мы обедаем под вишнями, пьем родниковую воду, а наши дети играют со своими двоюродными братьями и сестрами...

Рахим-хан отхлебывает из стакана и кашляет.

— Ты бы видел моего отца, когда я сказал ему о своем намерении. А моя мать лишилась чувств, и сестры брызгали ей в лицо водой, и обмахивали веером, и смотрели на меня так, будто я перерезал матери глотку. Брат Джалал бросился за охотничьим ружьем, но отец его остановил. — В смехе Рахим-хана слышится горечь. — Все оказались против нас. И победили. Запомни, Амир-джан, одиночка никогда не устоит. Так уж устроен мир.

— И что произошло?

— Отец поговорил с соседом, и Хомайру со всей семьей в тот же день на грузовике отправили в Хазараджат. Я никогда ее больше не видел.

— Извини.

— Оно, может, и к лучшему, — бесстрастно произносит Рахим-хан. — Хомайру ждала бы незавидная участь. Моя семья никогда не признала бы ее. Вчера — служанка, а сегодня — сестра? Такого не бывает.

Рахим-хан смотрит на меня.

— Ты всегда можешь поделиться со мной наболевшим, Амир-джан. Не стесняйся.

— Я знаю. — Уверенности в моем голосе нет.

Рахим-хан изучающее глядит на меня, будто ожидая, что я скажу ему нечто важное, его бездонные черные глаза вызывают на откровенность. Меня так и подмывает рассказать ему

все.

Но что он тогда подумает обо мне? В каком свете я себя выставлю? Ведь я воистину достоин презрения.

И я молчу.

— Держи, — Рахим-хан протягивает мне какой-то предмет, — чуть было не забыл. С днем рождения.

В руках у меня блокнот, оправленный в коричневую кожу. Провожу пальцем по золотому обреза, вдыхаю тонкий аромат. Хочу поблагодарить своего друга — и тут с неба доносится хлопок и огненный дождь изливается на все стороны.

— Фейерверк!

Мчимся домой. Все гости стоят во дворе, задрав головы. Визг детей и радостные аплодисменты сопровождают каждый разрыв, каждый новый фонтан огня. Двор то и дело заливают потоки красного, желтого и зеленого света.

Во время одной из таких вспышек вижу сцену, которую никогда не забуду: Хасан подает Асефу и Вали напитки на серебряном блюде. Следующий сполох высвечивает Асефа: усмехаясь, он постукивает Хасана по груди своим кастетом.

Все скрывает милосердная темнота.

На следующее утро я сидел посреди собственной спальни у груды подарков и вскрывал коробку за коробкой. И что это на меня нашло? Ведь содержимое меня совсем не интересовало. Один безрадостный взгляд — и подарок летел в угол. Куча росла: фотокамера «Поляроид», транзисторный приемник, электрическая железная дорога, несколько запечатанных конвертов с деньгами. Никогда я не потрачу этих денег и не буду слушать приемник, и крошечный поезд не побежит в моей комнате по рельсам. Мне не нужны оскверненные вещи и грязные деньги — ведь Баба устроил такой прием в мою честь только потому, что я выиграл состязание.

От Бабы я получил два подарка. Самый замечательный — соседские мальчишки умрут от зависти — был новенький «Швинн Стингрей», король велосипедов, со знаменитым седлом в виде банана и высоким рулем с резиновыми рукоятками, с золотыми спицами и стальной рамой. Красной, как яблоко. Или кровь. Во всем Кабуле владельцев таких велосипедов можно было по пальцам пересчитать. А теперь и я сопричислился. Любой другой пацан моментально бы запрыгнул в седло и бросился нарезать круги почета по всему кварталу. Окажись у меня такой велосипед пару месяцев назад, я сделал бы то же самое.

— Нравится? — В дверях стоял Баба и наблюдал за мной.

— Спасибо. — Вот и все, что смог пролепетать я.

— Покатаемся? — предложил Баба, по-моему, просто из вежливости.

— Может, попозже. Я еще не совсем отошел после вчерашнего приема.

— Конечно.

— Баба?

— Да?

— Спасибо за фейерверк, — поблагодарил я. Просто из вежливости.

— Отдыхай, — бросил Баба на ходу, направляясь к себе.

Вторым подарком, который вручил мне Баба, — и даже не стал ждать, когда я его распакую, — оказались наручные часы с синим циферблатом и золотыми стрелками в форме молний. Я швырнул часы в кучу, не примерив.

Только блокнот Рахим-хана в коричневой кожаной обложке не постигла общая судьба. Мне почему-то казалось, что этот дар ничем не осквернен.

Вертя блокнот в руках, я присел на краешек кровати и задумался о Рахим-хане и Хомайре. Его отец добился, чтобы ее уволили, и это в конечном счете оказалось к лучшему. Иначе *ее ждала бы незавидная участь*. У меня перед глазами, словно заклинивший слайд на показе у Кэки Хамаюна, замигал один и тот же образ: Хасан подает напитки Асефу и Вали. А может, это и к лучшему? Сколько можно страдать ему и мне? Участь-то незавидная! Теперь стало ясно как день: один из нас должен уйти.

Днем я в первый и последний раз покатался на своем «Стингрее», проехался туда-сюда по кварталу и вернулся домой. Хасан и Али убирали следы вчерашнего пиршества: одноразовые чашки, салфетки, пустые бутылки из-под содовой; пирамидами составляли стулья у забора.

Завидев меня, Али помахал мне.

— Салям, Али, — буркнул я в ответ.

Он поднял палец, прося меня подождать, скрылся в своей хижине и через несколько секунд опять появился на пороге, держа в руках какой-то сверток.

— Вчера нам с Хасаном так и не представился случай вручить тебе подарок. — Старый слуга протянул сверток мне. — Наш дар очень скромный и недостойн тебя, Амир-ага. Тем не менее, надеюсь, он тебе понравится. С днем рождения.

Горло у меня перехватило.

— Спасибо, Али.

Это «Шахнаме» в твердом переплете, страницы переложены яркими глянцевыми иллюстрациями. Вот Ференгис смотрит на своего новорожденного сына Кей-Хосрова, вот Афрасиаб на коне с саблей наголо ведет вперед свое войско... А вот Рустем смертельно ранит своего сына, воина Сохраба.

— Очень красиво, — произнес я.

— Хасан говорит, твоя книга уже старая, потертая и в ней недостает нескольких страниц, — смущенно сказал Али. — А тут все картинки нарисованы пером и тушью, — добавил он, с гордостью глядя на книгу, которую ни он, ни его сын не в состоянии были прочесть.

— Просто замечательно. — Я говорил совершенно искренне, и мне вдруг захотелось сказать Али, что это я недостойн такого подарка.

Я запрыгнул обратно в седло велосипеда.

— Поблагодари Хасана от моего имени.

Куча даров в углу моей комнаты пополнилась. Только книга очень уж бросалась мне в глаза, и я закопал ее в самый низ.

Уже перед сном я забежал к Бабе и спросил, не попадались ли ему мои часы.

Путру, сидя в своей комнате, жду, когда Али приберется в кухне после завтрака, сметет крошки, помое посуду, вытрет стол. Глядя в окно, жду, когда же Али и Хасан отправятся за продуктами на базар. И вот они выходят со двора, толкая перед собой тачку.

Выхватываю из кучи в углу пару конвертов с деньгами и часы и на цыпочках выхожу. У кабинета Бабы останавливаюсь и прислушиваюсь. Отец у себя, договаривается с кем-то по телефону насчет поставки партии ковров на следующей неделе. Спускаюсь вниз по лестнице, прокрадываюсь в домик слуг под локвой и пихаю Хасану под тюфяк свои новые часы и деньги.

Жду еще полчаса, стучусь в отцовский кабинет и говорю заранее обдуманное слово, надеясь, что больше мне уже никогда не придется лгать.

В окно спальни я видел, как вернулись Али и Хасан с тачкой, нагруженной мясом, хлебом, свежими фруктами и овощами. Появился Баба, подошел к Али, они что-то сказали друг другу. Слов я не расслышал. Баба указал на дом, Али кивнул. Баба направился к особняку, Али — к своей хижине.

Какое-то время спустя Баба постучал ко мне в комнату.

— Зайди ко мне в кабинет. Нам надо спокойно сесть и обсудить все это.

Я прошел за отцом в курительную и сел на кожаный диван. Где-то через полчаса перед нами рука об руку предстали Али и Хасан.

Они явно только что плакали, глаза у обоих были красные, опухшие. Неужели это я

причинил им страдания? Оказывается, я и на такое способен!

Баба поднялся во весь рост и спросил:

— Значит, это ты украл деньги? Ты украл часы Амира?

— Да, — чуть слышно ответил Хасан. Голос у него был хриплый.

Я покачнулся, как от пощечины. Сердце у меня сжалось, и я чуть было не проговорился. Но тут меня озарило: ведь Хасан жертвует собой ради меня! Если бы он сказал «нет», отец бы ему поверил, все мы прекрасно знали, что Хасан никогда не врет. Объясняться пришлось бы мне, и стало бы ясно, кто подлинный виновник. Баба никогда бы не простил такое. И вот еще что: Хасану все известно. Он знает: я был тогда в том захламленном закоулке, все видел и не вмешался. Он знает, что я предал его, и все-таки старается спасти меня. Я любил его сейчас, любил больше всех на свете. Я твой затаившийся враг, Хасан, я чудовище из озера, я недостойн твоей жертвы, я — лгун, мошенник и вор! Сию минуту я расскажу тебе все... Но где-то на задворках моей души гнездится подленькая радость: скоро все кончится. Еще немножко — и Баба уволит слуг, и жизнь начнется сызнова. Забыть, стереть из памяти, вдохнуть полной грудью, начать все с чистого листа...

И тут Баба произнес:

— Я прощаю тебя.

Я поражен и повержен.

Прощаю? Как же так! Ведь воровство — основа всех прочих грехов. *Убийца крадет жизнь, похищает у жены право на мужа, отбирает у детей отца. Лгун отнимает у других право на правду. Жулик забирает право на справедливость. Нет ничего презреннее воровства.* Не отцовские ли это слова? Если Баба так легко прощает Хасана, почему он никак не может простить меня за то, что я другой, не такой, как он хотел?

— Мы уходим, ага-сагиб, — медленно проговорил Али.

— Что? — переспросил Баба, побелев как полотно.

— Мы больше не можем жить здесь.

— Но я прощаю его, Али, ты что, не слышал?

— Теперь нам нельзя тут оставаться, ага-сагиб. — Али обнял Хасана за плечи, прижал к себе, как бы пытаясь защитить.

Уж я-то знал, от кого он его защищает. Взгляд старого слуги холоден и неприступен. Значит, Хасан все ему рассказал. Про Асефа с друзьями, про воздушного змея и про меня. Странное дело, я даже рад этому, очень уж надоело притворяться.

— Мне плевать на деньги и часы, — воздел руки Баба. — Не понимаю, что это тебе в голову взбрело... и почему «нельзя»?

— Извини, ага-сагиб, наши вещи уже упакованы. Мы все решили.

Отец вскочил с дивана. Лицо у него исказилось от горя.

— Али, разве тебе было у меня плохо? Разве я обидел когда тебя или Хасана? Ты для меня вместо брата и сам это знаешь. Как тебе не стыдно!

— Ага-сагиб, мне сейчас очень нелегко. А от твоих слов только еще тяжелее.

Губы у Али искривились, и только тут я осознал, какая черная беда свалилась на него и на нас всех, если даже на этом каменном, всегда неподвижном лице написана боль. И это я, я всему причиной! Я попытался заглянуть Али в глаза, но он стоял сгорбившись, с низко опущенной головой, и только пальцы теребили рубаху.

— Скажи мне причину! Я должен знать! — В голосе у Бабы появились умоляющие интонации.

В ответ Али не произнес ни слова, как промолчал, когда Хасан признался в краже. Что подвигло его на это, не знаю. Догадываюсь, что это Хасан упрямился не выдавать меня, когда они рыдали вдвоем у себя в домике. Какое чувство достоинства, какое самообладание!

— Ага-сагиб, отвезешь нас на автобусную станцию?

— Я тебе запрещаю! — взревел Баба. — Ты слышишь? Запрещаю!

— Прости, ага-сагиб, но ты не можешь мне ничего запретить. Я у тебя больше не работаю.

— Куда вы поедете? — Голос у отца пресекался.

— В Хазараджат.

— К двоюродному брату?

— Да. Так ты отвезешь нас на автовокзал?

И тут Баба заплакал. Никогда в жизни я не видел его слез. Я даже напугался: взрослый человек — и рыдает. Позор какой.

— Прошу тебя, — проронил еще Баба, но Али уже хромал к двери, и Хасан следовал за ним.

Никогда не забуду, какая боль и мольба звучали в словах отца.

Летом в Кабуле дождь идет редко. Небо чистое и высокое, и солнце горячим утюгом печет шею. Ручейки давно пересохли, рикши поднимают целые тучи пыли. Люди, отчитав в мечети положенные десять *ракатов*^[20] полуденной молитвы и выйдя на улицу, радуются любой тени и ждут не дождутся вечера, который принесет прохладу. Школьники в душном классе зубрят аяты из Корана, выворачивают язык на диковинных арабских словах и тайком ловят мух в кулак под нудное бормотание муллы. Горячий ветер, несущий запах нужника, крутит крошечные смерчи под одинокой баскетбольной корзиной на спортивной площадке.

А вот когда отец отвозил Али и Хасана на автостанцию, лило как из ведра. Грохотал гром, молнии сверкали на серо-стальном небе, плеск воды непривычным эхом отдавался в ушах.

— Я отвезу вас прямо в Бамиан, — предложил Баба, но Али отказался.

Целые потоки сбегали вниз по стеклу, когда я, прижавшись к раме, смотрел в окно на залитый водой двор, по которому ковылял Али, волоча за собой к машине у ворот единственный чемодан, заключавший в себе все их пожитки. Хасан тащил на спине перевязанные веревкой тюфяки. Ни одной игрушки он не взял с собой — они так и остались лежать на полу в их домике. У меня своя куча барахла в углу, у Хасана — своя.

Баба захлопнул крышку багажника, открыл дверь машины, нагнулся и сказал что-то Али, который уже сидел сзади. Наверное, это была последняя попытка уговорить старого слугу. Разговор длился и длился, а дождь лил и лил. Наконец Баба выпрямился, и по его сутулой спине я понял, что прежняя жизнь, единственная жизнь, которую я знал, безвозвратно ушла. Отец сел за руль, лучи фар пронзили водяную завесу. Если бы дело происходило в индийском фильме, именно сейчас я должен был бы выбежать во двор, поднимая босыми ногами тучу брызг, и задержать машину, и вытащить Хасана с заднего сиденья под дождь, и сказать ему: «Прости, прости, прости», и пролить слезы раскаяния, и крепко обнять друга. Но жизнь есть жизнь, это вам не кино, тем более индийское. Никуда я не побежал, и не зарыдал, и возле машины не появился. Автомобиль спокойно тронулся с места, свернул за угол и пропал из виду. С ним пропал и тот, для кого мое имя было первым сказанным словом. Мелькнул перед глазами его смутный размытый силуэт и исчез.

Сколько раз мы играли с Хасаном в шарики именно на этом перекрестке!

Стоило мне чуть отодвинуться от окна, и я уже ничего не видел, кроме заливающих стекло струй.

Март 1981

Напротив нас сидела молодая женщина в светло-зеленом платье. Голову ее обтягивал черный платок: ночь была зябкая. Всякий раз, когда грузовик подпрыгивал на ухабе или попадал колесом в яму, с уст ее невольно слетали слова молитвы, за каждым толчком неизменно следовало «*Бисмилла*». ^[21] Ее муж, плотный человек в мешковатых штанах и голубой чалме, укачивал на сгибе локтя младенца, свободной рукой перебирая четки и беззвучно шевеля губами. Всего на чемоданах в кузове грузовика с брезентовым верхом сидело человек десять-двенадцать. Среди них были и мы с Бабой.

Из Кабула мы отъехали в третьем часу ночи, и мне сразу же стало нехорошо. Баба молчал, но видно было, что ему ужасно неловко за меня, особенно когда я стонал, не в силах превозмочь дурноту. Когда мужчина с четками спросил меня: «Тебя тошнит?» — а я только утвердительно кивнул в ответ, Баба даже отвернулся. Мужчина с четками постучал в окошко кабины и попросил водителя остановиться. Но сидящий за рулем Карим, смуглый сухопарый человек с мелкими чертами лица и усиками в ниточку, только головой покачал:

— Мы еще слишком близко от Кабула. Пусть потерпит.

Баба пробурчал что-то себе под нос. Я хотел извиниться перед ним, но рот мой уже заливала слюна с желчью. Пришлось откинуть брезент позади себя и на ходу свеситься за борт. За спиной у меня Баба приносил извинения попутчикам — будто морская болезнь невесть какое преступление и юноше, которому едва исполнилось восемнадцать, не годится блевать всем напоказ. А я еще дважды свешивался за борт, пока Карим не согласился остановиться — испугался, что я заблую ему кузов. Ведь машиной он зарабатывал себе на жизнь, и неплохо, — тайно перевозил людей из занятого *шурави* ^[22] Кабула в Пакистан, где было относительно безопасно. Мы условились, что он подбросит нас до Джелалабада, это в ста семидесяти километрах к юго-востоку от Кабула, а там мы пересядем на машину его брата Тоора, у которого грузовик побольше, и он за компанию с другой партией беженцев перевезет нас через перевал Хайбер в Пешавар.

Не доезжая нескольких километров до водопада Махипар, Карим свернул на обочину. Махипар означает «Летучая рыба», и с верхней точки над ним открывался вид на гидроэлектростанцию, которую построили для Афганистана в 1967 году немецкие специалисты. Сколько раз мы с Бабой проезжали этой дорогой по пути в Джелалабад, город кипарисов и сахарного тростника, любимый зимний курорт всех афганцев!

Я спрыгнул с грузовика и заковылял по насыпи. Рот мой опять наполняла слюна — предвестник рвотных позывов. У самого края обрыва, за которым чернела пропасть, я наклонился, положил руки на колени и замер в ожидании. Где-то треснула ветка, заухал филин. Холодный ветер взъерошил кусты на склоне. Далеко внизу шумела вода.

Покидая дом, где я прожил всю свою жизнь, пришлось изобразить, что мы отлучаемся ненадолго: на кухне в раковине жирные тарелки, в зале — корзина с грязным бельем, постели в спальнях неприбраны, в шкафу висят парадные костюмы Бабы. Остались и ковры на стенах гостиной, и матушкины книги у отца в кабинете. Исчезли только свадебная

фотография родителей, зернистый снимок, где мой дед и король Надир-шах стоят над застреленным оленем, кое-какая одежда да оправленный в кожу блокнот, подаренный мне Рахим-ханом пять лет назад, — больше ничего не говорило о нашем поспешном бегстве.

Утром Джалалуддин — наш седьмой слуга за пять лет, — наверное, подумает, что мы пошли на прогулку или поехали кататься. Мы не поставили его в известность об отъезде. В Кабуле никому больше не было веры — за деньги или под угрозами люди доносили друг на друга, сосед на соседа, сын на родителей, слуга на хозяина, приятель на приятеля. Вот, например, певец Ахмад Захир, который играл на аккордеоне на праздновании моего тринадцатого дня рождения, — он поехал куда-то с друзьями на машине, и его тело нашли потом на обочине с пробитой головой. Товарищи-наушники были повсюду, все население Кабула разделилось: одни говорили, вторые подслушивали, а кто доносил — неизвестно. Сделаешь замечание портному при примерке — и окажешься в подземельях Поле-чархи.^[23] Пожалуешься на комендантский час булочнику — опомниться не успеешь, а на тебя уже наставлен калашников. Даже в собственном доме за обедом люди держали язык за зубами, и в каждом классе обязательно имелся свой стукач. Многие дети уже были обучены следить за своими родителями и знали, к каким разговорам надо прислушаться и кому донести.

И что я делаю на пустой дороге среди ночи? Почему я не в постели, под теплым одеялом, с раскрытой книгой у изголовья? Наверное, это сон. Вот проснусь утром, выгляну в окошко, а там все как раньше. Ни угрюмых советских солдат, патрулирующих улицы, ни грохочущих танков, ни бронетранспортеров с пулеметами, наставленными прямо на тебя, словно обвиняющий перст, ни разрушений, ни комендантского часа...

Перекуривая на обочине, Карим уверял Бабу, что в Джелалабаде все пойдет как по маслу: у его брата отличный большой грузовик, дорога в Пешавар знакома брату как свои пять пальцев, отношения с советскими и афганскими солдатами на пропускных пунктах налажены «на взаимовыгодной основе»... Нет, это не сон. Как бы в доказательство этого над нами на низкой высоте, сотрясая окрестности, промчался МиГ. Карим вытащил из-за пояса пистолет и прицелился в небо, выкрикивая проклятия вдогонку самолету.

Интересно, что с Хасаном?

И тут меня вырвало.

Через двадцать минут мы стояли у блокпоста в Махипаре. Не выключая двигатель, наш шофер спрыгнул на землю и зашагал навстречу приближающимся голосам. Хрустел гравий. Послышались негромкие слова, щелкнула зажигалка. Русское «спасибо».

Еще щелчок. Кто-то громко расхохотался, я даже подпрыгнул от неожиданности. Рука Бабы стиснула мне бедро. Смеющийся затянул старинную афганскую свадебную песню, пьяный голос произносил слова со страшным русским акцентом:

Аэста боро, Маэман, аэста боро.

Не торопись, красавица-луна, не торопись.

По асфальту зашаркали подкованные сапоги. Брезент в задней части кузова поехал в сторону, и в машину заглянули три человека — Карим и два солдата, афганец и брыластый русский с сигаретой в углу ухмыляющегося рта. За их спинами в небе желтела луна. Карим и афганский солдат обменялись короткими репликами на пушту. Общий смысл я уловил — что-то насчет того, как не повезло Тоору. Русский напевал свадебную песню, барабанил пальцами по борту грузовика, шарил взглядом по лицам людей. Даже в темноте было

заметно, какие остекленевшие у него глаза. Несмотря на холод, пот заструился у меня по спине.

Русский уставился на молодую женщину в черном платке и сказал что-то Кариму. Тот огрызнулся в ответ. В карканье русского прозвучала настойчивость. Вмешался афганский солдат, тон у него был увещающий. Но стоило русскому рывкнуть на них, как они оба замолчали.

Я почувствовал, как у отца, сидящего рядом со мной, напряглось все тело.

Карим откашлялся, потряс головой и сказал, что солдат хочет провести полчаса с дамой из грузовика.

Женщина надвинула на лицо платок. Из глаз ее полились слезы. Младенец на руках у мужа заплакал. Смертельно бледный муж попросил Карима перевести «мистеру-сагибу» солдату, чтобы он сжалился над ними, подумал о своей матери или сестре. А может, у «мистера-сагиба» есть жена?

Русский выслушал Карима и что-то прорычал.

— Считайте это платой за проезд, — перевел Карим, старательно отводя глаза в сторону.

— Мы уже раз заплатили, — упорствовал муж. — И недешево.

Русский и Карим переговорили.

— Он сказал, всякая стоимость облагается налогом.

Вот тут-то поднялся со своего места Баба. Пришла моя очередь хватать его за ногу, но Баба резким движением высвободился.

Могучая фигура отца заслоняла луну.

— Я хочу его кое о чем спросить, — сказал Баба Кариму, не сводя при этом глаз с русского. — Стыд у него есть?

Карим что-то пролепетал, русский ответил.

— Он говорит, сейчас война. Какой может быть стыд?

— Скажи ему, что он ошибается. На войне *обязательно* надо быть порядочным. Куда более порядочным, чем в мирное время.

И приспичило же ему геройствовать! Сердце у меня колотилось. *Мог уж и промолчать раз в жизни.* Только в душе я знал, что остаться в стороне отец не мог — такой уж он уродился. Поубивают нас всех сейчас, а все его врожденное благородство!

Русский осклабился и шепнул что-то Кариму.

— Ага-сагиб, — промямлил Карим, — эти *руси* — они не такие, как мы. Они не понимают, что такое честь и достоинство.

— Что он сказал?

— Он сказал, что всадит в тебя пулю с тем же удовольствием, что и... — Карим мотнул головой в сторону молодой женщины.

Русский отбросил недокуренную сигарету и достал из кобуры пистолет.

Вот как суждено умереть моему отцу. Здесь, на моих глазах.

Про себя я повторял заученную в школе молитву.

— Переведи ему, пусть хоть тысячу пуль в меня всадит, но я не позволю ему опозорить женщину.

Перед глазами у меня так и встал тот зимний день. Камаль и Вали крепко держат Хасана. Ягодицы Асефа в ритмичном движении напрягаются и расслабляются. Напрягаются и расслабляются.

Каким героем я себя тогда показал! Может, Баба мне и на самом деле не родной?

Рука с пистолетом стала медленно подниматься.

— Баба, да сядь же, — дернул я отца за рукав. — Он ведь и вправду убьет тебя.

Баба вырвал руку. Прорычал:

— Так я тебя ничему и не научил.

И ухмыляющемуся солдату:

— Скажи ему, пусть постарается убить меня с первого выстрела. Если я не рухну на месте, я его на куски порву, да падет проклятие на голову его отца!

Русский выслушал перевод, но улыбаться не перестал. Дуло пистолета теперь смотрело прямо отцу в грудь. Щелкнул предохранитель.

Я закрыл лицо руками.

Грянул выстрел.

Вот и все. Мне восемнадцать лет, и я сирота. Один на всем белом свете. Баба мертв, предстоит погребение. Как мне его похоронить? И куда податься потом?

Я открыл глаза, и хоровод гадких мыслей у меня в голове оборвался. Баба стоял, как стоял, зато внизу у машины появился еще один русский. Пистолет в его руке был направлен в небо, из дула поднимался дымок. Солдат, который намеревался стрелять в Бабу, прятал свое оружие в кобуру, неловко переминаясь с ноги на ногу.

Мне захотелось смеяться и плакать одновременно.

Второй русский (видимо, офицер, седой и в теле) заговорил с нами на ломаном фарси, извиняясь за поведение своего товарища:

— На войну присылают мальчишек. А тут полно наркотиков. Накачаются, вот на подвиги и тянет. Ну что мне с ним делать?

Седой махнул нам рукой, и мы тронулись с места. До нас донесся смех, а потом изломанные, пьяные слова старинной свадебной песни.

Минут пятнадцать мы ехали в молчании. Внезапно муж молодой женщины встал и припал губами к руке Бабы. Я не очень удивился. И до него многие целовали отцу руку.

А Тоору не повезло — Карим с афганским солдатом правду говорили.

За час до рассвета мы въехали в Джелалабад. Карим быстренько (чтобы не увидел кто) отвел нас в какую-то хижину на перекрестке двух незамощенных улиц, густо заросших акациями. Вокруг белели скромные одноэтажные домики, на дверях запертых лавок болтались замки. Было холодно и почему-то пахло редиской.

В совершенно пустой, скудно освещенной комнате Карим сразу же запер дверь, задернул занавески и только тогда сообщил дурные вести. Его брат Тоор не сможет отвезти нас в Пешавар. У его машины неделю назад сгорел мотор. А запчастей все не везут и не везут.

— Неделью назад? — простонал кто-то. — Зачем же ты нас сюда привез?

Краем глаза я успел заметить движение — кто-то из толпы метнулся прямо к Кариму. И вот уже наш шофер прижат к стене и ноги его болтаются в полуметре от пола. Баба своими ручищами стиснул Кариму глотку.

— Я вам скажу зачем, — прорычал Баба. — Он ведь получил деньги за свою часть маршрута. А на остальное ему плевать.

Карим давится и хрипит. На губах у него выступает пена.

— Оставь его, ага, ты ведь его убьешь, — слышится чей-то сердобольный голос.

— Что я и собираюсь сделать, — сухо отвечает Баба. И ведь он не шутит, только

присутствующие об этом не подозревают.

Карим синеет и брыкается.

Только когда молодая женщина, которую Баба спас от русского солдата, попросила его, отец сдался и отпустил мошенника.

Широко открывая рот и хватая воздух, Карим покатился по полу.

В комнате тишина. И двух часов не прошло, как Баба, рискуя получить пулю в грудь, вступился за женщину, с которой даже не был знаком. И вот теперь он задушил бы человека до смерти, если бы не просьба все той же женщины.

Послышался глухой удар в дверь. Постойте, не в дверь. В пол.

— Это еще что? — спросил кто-то.

— Это беженцы, — выдавил Карим между двумя судорожными вдохами. — Они в подвале.

— А они сколько ждут? — поинтересовался Баба с высоты своего роста.

— Две недели.

— Ты же сказал, грузовик сломался семь дней назад.

Карим потер шею.

— Ну может, неделей раньше.

— Когда придут запчасти? — взревел Баба.

Карим вздрогнул и ничего не ответил.

Все-таки хорошо, что потемки скрыли лицо Бабы, такая на нем была жажда убийства.

Стоило Кариму поднять крышку подпола, как в нос ударил затхлый запах плесени, сырости и нечистот. Один за другим мы спустились вниз, лестница под тяжестью Бабы застонала. В холодном подвале я почувствовал на себе взгляды многих людей. В тусклом свете двух керосиновых ламп мелькали тусклые силуэты, слышался сдавленный шепот, звук падающих капель и какой-то скрип.

Баба со вздохом поставил чемоданы на землю.

Карим убеждал нас, что через парочку дней грузовик починят и мы устремимся в Пешавар, навстречу свободе и безопасности.

Всю следующую неделю мы просидели в подвале. К концу второго дня я понял, откуда берется скрип.

Крыс-то было полно.

Когда мои глаза привыкли к темноте, я насчитал в подвале около тридцати товарищей по несчастью. Сидя плечом к плечу, мы ели галеты, хлеб с финиками, яблоки. В первую же ночь все мужчины молились вместе, и один из них спросил, почему Баба не участвует.

— Надо просить Аллаха о спасении. Помолись Господу.

Баба только фыркнул и вытянул ноги, устраиваясь поудобнее.

— Если нас что и спасет, так это восьмицилиндровый двигатель и приличный карбюратор.

Под конец первого дня выяснилось, что Камаль с отцом тоже сидят с нами в подвале. Я поразился, что до дружка Асефа оказалось рукой подать — в прямом смысле этого слова. Но когда отец и сын перебрались поближе к нам и я разглядел лицо Камала, разглядел *как следует*...

Лицо у Камала ссохлось — других слов у меня нет. В глазах была пустота — я даже не

понял, узнал ли он меня. Весь он как-то сгорбился, щеки обвисли, будто не в силах держаться на костях. Его отец, владелец кинотеатра в Кабуле, рассказал Бабе, как три месяца назад шальная пуля угодила его жене в висок и убила на месте. Про Камалю он тоже рассказал, но шепотом, до меня долетали только обрывки слов:

— *Не надо было отпускать его одного... он ведь такой красавчик... четверо их было... он пытался сопротивляться... Господи... они овладели им... все брюки были в крови... и теперь не говорит ни слова... только смотрит...*

Через неделю Карим сказал нам, что отремонтировать грузовик невозможно.

— Есть еще один вариант. — Голос Карима перекрыл стоны. — У моего двоюродного брата есть бензовоз, и он уже не раз возил на нем людей. Брат сейчас в Джелалабаде и, наверное, сможет забрать нас всех.

Все согласились, кроме одной пожилой пары.

В эту же ночь мы уехали — я с Бабой, Камаль с отцом, все остальные. Карим и его двоюродный брат Азиз — плешивый крепыш с квадратным лицом — помогли беженцам забраться по лесенке в цистерну. Помню, как Баба спрыгнул обратно на землю, достал табакерку, развеял ее содержимое по ветру, зачерпнул пригоршню дорожной грязи, поцеловал, положил в металлическую коробочку вместо табака и спрятал родную землю в нагрудный карман — у самого сердца.

Паника.

Открываю рот. Широко-широко, даже челюсть скрипит. Дыши, дыши глубже, наполняй воздухом легкие. Но дыхательные пути не слушаются. Они усыхают, сжимаются, схлопываются, и кажется, что я дышу через соломинку. Удушье хватает меня за горло. Руки трясутся, тело заливают ледяной пот. Закричать бы — но для этого надо вдохнуть побольше воздуха. Только не получается.

Паника.

В подвале было темно. В цистерне — абсолютный мрак. Смотрю направо-налево, машу перед глазами руками — ни зги не видно. Моргаю. Легче не становится. С воздухом что-то не так, почему он такой густой? По законам физики это невозможно. Разгребаю воздух руками, разрываю на мелкие кусочки, пытаюсь запихнуть себе в дышалку. Как воняет бензином! Глаза щиплет так, словно под веки мне выдавили лимон, ноздри обжигает огнем. В груди зарождается крик — и нарастает, нарастает...

Тут происходит маленькое чудо. Баба трогает меня за руку, и я вижу зеленые огоньки. Это часы у него на запястье. Глаз не могу оторвать от зеленоватых светящихся стрелок. А то я уже испугался, что ослеп.

Потихоньку мир вокруг меня оживает. Слышу стоны и сдавленные молитвы. Слышу плач младенца и «баю-баю» его матери. Кого-то рвет. Кто-то прокликает шурави. Грузовик раскачивается туда-сюда. Люди стучатся головами о металл.

— Думай о чем-нибудь приятном, — шепчет мне на ухо Баба. — Вспомни какой-нибудь счастливый момент.

О приятном и счастливом. Даю простор фантазии. И вот что приносит она.

Пагман. Пятница, разгар дня. Буйно заросший луг и шелковицы в цвету. Мы с Хасаном стоим по колено в траве. Я тяну за лесу, шпуля вертится в мозолистых руках Хасана, наши глаза прикованы к парящему в небе змею. Мы молчим — и не потому, что нам нечего

сказать. Просто мы понимаем друг друга без слов. Ведь мы молочные братья, мы вместе с первых дней жизни. Ветерок шевелит траву, и Хасан раскручивает шпулю. Потоки воздуха несут змея, он величаво снижается и взмывает вверх. Наши слившиеся тени пляшут на колышущейся траве. Из-за низкой кирпичной стены на другом конце луга доносится смех, журчание фонтана и музыка, знакомая до боли. По-моему, кто-то исполняет «Я Моула» на струнах *рубаба* .^[24] Нас зовут: пора пить чай с пирожными.

Не помню ни месяца, ни года. Но воспоминание живет во мне, будто заключенный в прочную оболочку кусочек счастья, будто яркий мазок на сером, безрадостном полотне, в которое превратилась наша жизнь.

Весь оставшийся путь вспоминается как обрывки и ошметки звуков и запахов, прошлого и настоящего: грохот МиГов, далекие автоматные очереди, крик осла, блеяние овец и звяканье колокольчиков, шорох гравия под колесами машины, надрывный крик ребенка, вонь бензина, блевотины и дерьма.

Следующее воспоминание — слепящий свет. Раннее утро, мы выбираемся из цистерны. Хватаю ртом свежий воздух и никак не могу надышаться. Валюсь на насыпь и смотрю в светлеющее небо. Воздух. Свет. Жизнь. Благодарю тебя, Господи.

— Мы в Пакистане, Амир, — говорит Баба, возвышаясь надо мной. — Карим сказал, приедет автобус и отвезет нас в Пешавар.

Перекатываюсь на живот. Перед глазами у меня ноги Бабы, и наши чемоданы, и бензовоз, стоящий у обочины, и беженцы, выбирающиеся из цистерны на свет божий. Под серым небом дорога устремляется через фиолетовые поля к далеким холмам и пропадает. На склоне раскинулась деревня.

И вот опять передо мной маячат чемоданы. Мне делается жалко Бабу. Все, чего он добивался, за что боролся, все его планы и мечты свелись к этим двум чемоданам. И к сыну, приносящему одни разочарования.

Слышится крик. Даже не крик, визг. Люди собираются в круг, возбужденно переговариваются. Слышен голос: «Ядовитые испарения».

Подбегаем к толпе. На земле, скрестив ноги, сидит отец Камалья, и раскачивается взад-вперед, и целует пепельно-серое лицо мертвого сына.

— Он задохнулся! Он не дышит! — причитает несчастный, прижимая к себе труп. Неживая рука трясется в такт рыданиям. — Мой мальчик! Он не дышит! Аллах, ниспошли ему глоток воздуха!

Баба встает рядом на колени и кладет руку ему на плечо. Но убитый горем отец сбрасывает ее, припадает к телу сына, отталкивается и одним стремительным движением вырывает пистолет у Карима из-за пояса.

Карим орет не своим голосом и отскакивает в сторону.

— Не стреляй! Не убивай меня!

Никто не успевает даже пошевелиться. Отец Камалья засовывает ствол себе в рот и нажимает на спуск.

Никогда мне не забыть приглушенный звук выстрела и брызнувшую красную струю.

Скрючиваюсь пополам и оседаю на землю.

Баба любил сложившийся у него *образ* Америки.

Но жизнь в Штатах разочаровывала его на каждом шагу.

Во Фримонте мы с ним частенько гуляли по парку у озера Элизабет. Баба смотрел на мальчишек, играющих в бейсбол, на маленьких девочек, весело раскачивающихся на качелях, и развивал передо мной свои политические взгляды.

— Среди государств только три настоящих мужика: Америка, Британия и Израиль. Все прочие, — тут Баба презрительно фыркал, — всего лишь старые сплетницы.

Его точка зрения насчет Израиля вызывала ярость и недоумение у фримонтских афганцев. Отца обвиняли в сионизме и антиисламских настроениях. За чаем, стоило заговорить о политике, Баба доводил соотечественников до белого каления.

— Как они не могут понять, — возмущался он потом, — что религия тут вообще ни при чем.

По мнению Бабы, Израиль был настоящим островком твердости духа, окруженным морем арабов, которые до того обалдели от бешеных нефтяных доходов, что не силах позаботиться даже о самих себе.

— Израиль то, Израиль се, — ворчал Баба с деланным арабским акцентом. — Так не сидите сложа руки, делайте что-нибудь! Вы же арабы, помогите, наконец, палестинцам!

Отец презирал Джимми Картера и называл его «зубастым кретином». Когда в 1980 году (мы еще были в Кабуле) США объявили бойкот Олимпийским играм в Москве, Баба просто вышел из себя.

— Брежнев устроил в Афганистане настоящую бойню, а этот слюнтяй чем ответил? Не буду плавать в твоём бассейне? И это все?

Баба считал, что Картер, сам того не желая, сделал больше для дела коммунизма, чем Леонид Брежнев.

— Джимми не годится на роль руководителя этой страны. Это все равно что мальчишку, который не умеет кататься на велосипеде, посадить за руль новенького «кадиллака».

По мнению отца, Америке и миру нужна была «твердая рука», надежный человек, который, случись что, стал бы действовать, а не языком молоть.

И сильная личность не замедлила явиться. Это был Рональд Рейган.

Когда Рейган в своем телеобращении назвал шурави «империей зла», Баба пошел и купил плакат, на котором был изображен улыбающийся президент с поднятыми вверх большими пальцами. Этот плакат отец оправил в рамку и повесил на стену прихожей рядом с черно-белой фотографией, где Баба пожимает руку королю Захир-шаху. Надо сказать, что по соседству с нами жили в основном водители автобусов, полицейские, работники автозаправок и матери-одиночки, получающие пособие, — в общем, сплошной пролетариат, который «рейганомика» прижала к ногтю. Так что в нашем корпусе Баба был единственным республиканцем.

Все бы хорошо. Только смог мегаполиса ел Бабе глаза, от шума автомобилей у него

болела голова, а от пыльцы цветущих калифорнийских растений он кашлял и чихал. Фрукты были не сладкие, вода не очень чистая, а садов и полей не имелось вообще. Битых два года я уговаривал Бабу записаться на курсы английского. Ответом мне были одни насмешки.

— Ну произнесу я правильно «кот», и что с того? Неужели учитель наградит меня блестящей серебряной звездочкой? Вот уж будет чем перед тобой похвастаться!

Как-то в воскресенье (это было весной 1983-го) во время прогулки я решил заглянуть в лавку букиниста, рядом с индийским кинотеатром на бульваре Фримонт. Баба, у которого в этот день был выходной — он работал на автозаправке, — только плечами пожал. Из окна книжной лавки я видел, как он переходит улицу в неположенном месте и скрывается в дверях «Фэст-энд-Изи», маленького продуктового магазина, принадлежащего пожилым вьетнамцам — мистеру и миссис Нгуен, седеньким и очень милым в общении. У нее была болезнь Паркинсона, у него вместо бедренной кости был вживлен имплантат.

— Ну прямо «Человек ценой в шесть миллионов долларов».^[25] — На лице у Бабы появлялась щербатая улыбка. — Помнишь этот фильм, Амир?

В ответ мистер Нгуен хмурился в точности как Ли Мэйджорс и нарочно начинал двигаться короткими ломаными движениями, словно робот.

Я листал изрядно потрепанный экземпляр очередного детектива про Майка Хаммера,^[26] когда с той стороны улицы послышались крики и звон разбитого стекла. Отбросив книгу, я помчался через дорогу. Супруги Нгуен, белые как полотно, прижимались за прилавком к стене. Мистер Нгуен обнимал жену. На полу, усыпанном апельсинами, валялась перевернутая стойка с журналами. У ног Бабы красовалась разбитая банка говяжьей тушенки.

Оказалось, у Бабы не было с собой наличных денег, чтобы заплатить за апельсины, и он выписал мистеру Нгуену чек, а тот захотел взглянуть на удостоверение личности.

— Он хотел, чтобы я предъявил ему свои права! — вопил Баба на фарси. — Я уже больше года покупаю у него фрукты и пополняю его мощну, а этот собачий сын требует, чтобы я ему показал права!

— Здесь нет ничего личного, Баба, — успокаивал его я, улыбаясь Нгуенам. — Таков порядок. Так здесь принято.

— Убирайтесь из моего магазина. — Мистер Нгуен прикрыл своим телом жену, выставил трость в сторону Бабы и обратился ко мне: — Вы очень милый молодой человек, но ваш отец, он ненормальный. Мы не хотим его больше здесь видеть.

— Он думает, я — вор? — возопил Баба. — Что за страна! Никто никому не верит! Начали сбегаться зеваки.

— Я вызову полицию, — высунулась из-за плеча мужа миссис Нгуен. — Уходите, или я вызову полицию.

— Прошу вас, уважаемая, не надо звонить в полицию. Я сейчас отведу его домой. Не надо зря беспокоить власти, ладно?

— Да, да, уведите его. Прекрасная мысль, — изрек мистер Нгуен, не сводя глаз с Бабы. Когда я выводил отца на улицу, он успел пнуть журнал.

Взяв с Бабы клятвенное обещание, что он за мной не пойдет, я вернулся в магазин и извинился перед вьетнамцами. Я постарался объяснить, что у отца сложный период в жизни, дал миссис Нгуен наш телефон, попросил оценить нанесенный ущерб.

— Только позвоните, и я сразу же все оплачу. Простите его. Он еще не приспособился к жизни в Америке.

Руки у старой вьетнамки дрожали сильнее обычного. Я разозлился на Бабу. Надо же, до чего довел даму.

Как мне было объяснить им, что в Кабуле мы ходили за покупками с оструганной палочкой вместо кредитной карты? Когда мы с Хасаном брали хлеб, пекарь просто делал на палочке отметку. Одна лепешка из гудящего огнем тандыра — одна зарубка. В конце месяца отец подсчитывал отметки и расплачивался. Вот и все. Никаких лишних вопросов. Никаких документов.

В очередной раз поблагодарив миссис Нгуен за то, что она не вызвала полицию, я отправился с Бабой домой.

Пока я возился в кухне с курицей и рисом, отец сердито курил на балконе. Уже полтора года минуло с того дня, как наш рейс из Пешавара прибыл на территорию США, а Баба все еще не привык.

Ужинали мы в молчании. Проглотив пару кусков, Баба отодвинул тарелку.

Как он изменился! Натруженные, загрубевшие руки, обломанные ногти черны от машинного масла, одежда провоняла пылью, потом и бензином — заправка есть заправка. Баба напоминал вдовца, который женился снова, но не в силах выбросить из головы покойную супругу. Он скучал по тростниковым полям Джелалабада и садам Пагмана, тосковал по дому, где почти всегда роились люди, мечтал пройтись по Шурбазару, поздороваться за руку со знакомыми, со стариками, которые хорошо знали его отца и деда, с дальними родственниками.

Для меня Америка была землей, где я мог похоронить свои воспоминания.

Для Бабы — местом скорби по прошлому.

— Может, нам вернуться в Пешавар? — спросил я, глядя на кусочки льда в своем стакане.

Мы прожили в Пешаваре полгода, ожидая, пока Служба иммиграции и натурализации выдаст нам визы. Наша захудалая квартира с одной ванной вся пропахла грязными носками и кошками, но вокруг были все свои, — во всяком случае, свои для Бабы. Он мог пригласить на ужин целый коридор соседей — большинство из них, как и мы, маялись в ожидании визы. Кто-нибудь обязательно приносил с собой музыкальные инструменты, у кого-то был сносный голос, и песни звучали до самого рассвета, пока не стихнет комариный зуд и ладони не вспухнут от постоянного прихлопывания в такт музыке.

— Тебе там было лучше, Баба, — добавил я. — Ты там был будто дома.

— Мне-то конечно в Пешаваре было хорошо. Тебе — нет.

— У тебя здесь такая тяжелая работа.

— Ну, теперь-то стало легче, — возразил он. (С недавних пор его назначили старшим смены. Но я-то видел, как в сырые дни он, морщась, потирает запястья. Видел, как пот выступает у него на лбу, когда он пьет после еды свое лекарство от несварения.) — Кроме того, я не ради себя самого прикатил сюда, правда?

Я погладил его по руке. Моя ладонь — чистая и нежная — и его мозолистая лапа трудяги. Сколько подарков он сделал мне в Кабуле — игрушечные грузовики, поезда, велосипеды! И вот Америка. Последний подарок Амиру.

Не прошло и месяца с момента нашего прибытия в США, как Баба нашел работу на бульваре Вашингтона. Владел автозаправкой какой-то афганец, — естественно, знакомый Бабы. Шесть дней в неделю, двенадцать часов в день Баба заливал бензин, пробивал чеки, менял масло и протирал ветровые стекла. Иногда я приносил ему еду и заставлял такую

картину: Баба разыскивает на полке какую-нибудь пачку сигарет, а клиент ждет с той стороны покрытого маслянистыми разводами прилавка. Когда я входил, звенел электронный колокольчик, и Баба оборачивался и с улыбкой смотрел на меня через плечо, а глаза его слезились от напряжения...

В тот же день, когда Бабу приняли на работу, мы отправились в Сан-Хосе на прием к миссис Доббинс — служащей органов социального обеспечения, которая занималась нашими пособиями, полной негритянке с весело поблескивающими глазами и ямочками на щеках. Как-то она мне сказала, что пела в церкви. Ничего удивительного — ее голос так и тек молоком и медом.

Баба вывалил ей на стол целую кучу продовольственных талонов и сказал, что они ему без надобности.

— Я всегда работаю, — пояснил Баба. — И в Афганистане, и здесь. Большое вам спасибо, миссис Доббинс, но я трачу только то, что заработал. Дармовых продуктов мне не надо.

Миссис Доббинс подозрительно прищурилась, не понимая, где тут подвох, но талоны взяла.

— За пятнадцать лет, что я здесь служу, такого случая не припомню. — В голосе ее слышалось крайнее удивление.

Бабе всегда было ужасно неловко рассчитывать в магазине талонами — он ведь не нищий. Еще какой афганец увидит, позору не оберешься.

Из конторы на улицу Баба вышел такой довольный, словно ему только что успешно вырезали опухоль.

Летом 1983 года я закончил среднюю школу. Мне было уже двадцать лет — самый старший среди вышедших на футбольное поле выпускников в академических шапках. Помню, Баба совсем затерялся в толпе родителей, среди вспышек фотокамер и голубых платьев. Потом его фигура обнаружилась рядом с двадцатиярдовой линией — руки в карманах, на груди фотоаппарат — и опять исчезла. Люди так и сновали туда-сюда, девушки обнимались, смеялись и плакали, все махали друг другу руками. Борода у Бабы поседела, волосы на висках поредели, и он вроде как стал меньше ростом — в Кабуле-то отец возвышался над любой толпой. На нем был красный галстук, который я подарил ему на пятидесятилетие, и парадный коричневый костюм — тот самый, который он на родине надевал только на свадьбы и похороны, — ныне единственный. Разглядев меня, Баба улыбнулся, подошел поближе, поправил у меня на голове академическую шапку и щелкнул меня на фоне школьной башни с часами. Конечно, сегодня был *его* день, даже в большей степени, чем мой. Обнимая меня и целуя, Баба сказал:

— Я горжусь тобой, Амир.

Глаза у него при этом заблестели, и я был тому причиной. Какое счастье.

Вечером он повел меня в афганскую шашлычную в Хэйворде и столько всего заказал, что в нас не влезло. Хозяину он объявил, что осенью сын отправится в колледж. Я готов был поспорить с ним на этот счет и сказал, что сейчас мне лучше пойти работать, поднакопить денег и поступить в колледж на следующий год. Но Баба на меня так глянул, что мне сразу расхотелось развивать дальше свою мысль.

После праздничного обеда мы с Бабой отправились в бар через дорогу от ресторана. Темное помещение было все пропитано ненавистным мне запахом пива. Мужчины в

бейсболках и жилетах играли в бильярд, клубы дыма колыхались в неоновом свете над покрытыми зеленым сукном столами. На этом фоне я в своем спортивном пиджаке и отглаженных брюках и Баба в коричневом костюме выглядели не совсем обычно. Мы сели у бара рядом с каким-то стариком, голубые отсветы рекламы пива «Микалоб»^[27] придавали его морщинистому лицу болезненный оттенок. Баба закурил и заказал нам два пива.

— Сегодня я очень-очень счастлив, — возгласил он, обращаясь ко всем вообще и ни к кому в частности. — Сегодня я пью вместе с моим сыном. И налейте пива моему другу, — обратился отец к бармену, шлепая старика по спине.

В знак благодарности дедок приподнял шляпу и улыбнулся. Верхних зубов у него не было совсем.

Свое пиво Баба прикончил в три глотка и заказал еще. Я и четверти бокала не выпил, а Баба успел расправиться с тремя, поставил старику виски, а бильярдистам — большой кувшин «Будвайзера». Мужики качали головами, дружески хлопали отца по плечу и пили за его здоровье. Кто-то поднес ему огня. Баба закурил, ослабил галстук, высыпал перед стариком целую пригоршню двадцатипятицентовых монет и указал на музыкальный автомат.

— Скажи ему, пусть выберет свои любимые песни, — попросил он меня.

Дед понимающе кивнул и отдал Бабе честь, словно генералу. Заиграла кантри-музыка. Пир горой начался.

В разгар веселья Баба поднялся с места и, проливая пиво на посыпанный опилками пол, гаркнул:

— Пошла Россия на хер!

Собутыльники, смеясь, громко повторили его слова. Растроганный Баба заказал по кувшину пива каждому.

Когда мы уходили, все настаивали, чтобы мы посидели еще немножко. Баба был все тот же и восхищал всех вокруг, неважно, Кабул это, Пешавар или Хэйворд.

Я сел за руль старенького отцовского «бьюика-сенчури», и мы поехали домой. По пути Баба задремал, слышался могучий храп, машину заполнил сладкий и резкий запах табака и спиртного. Однако стоило мне остановиться, как Баба очнулся и прохрипел:

— Езжай до конца квартала.

— Зачем, Баба?

— Езжай, и все.

Он велел мне припарковаться на стоянке в конце улицы, достал из кармана плаща связку ключей, вручил мне и указал на стоящий перед нами темный «форд» старой модели, длиннющий и широченный. Какого машина цвета, в темноте было не разобрать.

— Вот. Ее только подкрасить и новые амортизаторы поставить. Один мужик с моей заправки все сделает.

Глядя то на отца, то на машину, я взял ключи.

Вот это сюрприз!

— Тебе ведь надо на чем-то ездить в колледж, — пояснил Баба.

Я крепко сжал ему руку. Глаза мои наполнились слезами, и я был рад, что темнота скрывает наши лица.

— Спасибо тебе, Баба.

Мы вышли из машины и сели в «форд». «Гранд Торино» — вот как называлась эта модель. Цвет — темно-синий, сказал Баба. Я объехал вокруг квартала, проверил тормоза,

радиоприемник, поворотники. На стоянке у нашего дома я выключил зажигание и повторил:
— Ташакор, Баба-джан.

Я мог бы рассыпаться в благодарностях, мог бы расписать, как я ценю его доброту и как много он для меня сделал и делает. Но я не стал. Ведь Баба смутился бы и почувствовал себя неловко.

И я только повторил:

— Ташакор.

Он улыбнулся и откинулся на спинку сиденья, едва не касаясь лбом потолка. Мы молчали. Слышно было, как похрустывает остывающий двигатель. Где-то вдали завывала полицейская сирена.

Баба повернулся лицом ко мне:

— Как жалко, что Хасана нет сейчас с нами.

Стоило ему произнести это имя, «Хасан», как горло мне сдавило словно тисками.

Я опустил окно и принялся ждать, когда ослабнет стальная хватка.

— Осенью я поступлю в колледж низшей ступени, ^[28] — сказал я отцу наутро.

Баба пил холодный черный чай и жевал семена кардамона — проверенное средство от похмелья и головной боли.

— Буду специализироваться на английском языке, — добавил я, борясь с внутренней дрожью.

— На английском?

— На литературном мастерстве.

Баба в задумчивости отхлебнул чаю.

— Хочешь сказать, на сочинительстве. Рассказы будешь писать.

Я стоял, потупив глаза.

— А за сочинительство платят?

— Если прилично пишешь, да, — ответил я. — И если ты приобрел известность.

— А это легко — стать известным?

— У некоторых получается.

Баба кивнул.

— А откуда брать деньги, пока учишься писать и стараешься прославиться? А если ты женишься, на что будешь содержать свою ханум?

Я смотрел в пол.

— Я... найду работу.

— Вах, вах! Как я понял, сперва ты будешь несколько лет получать специальность, а потом поступишь на какую-нибудь *чатти* работу типа моей. Хотя устроиться на такую должность ты можешь хоть сейчас. А с дипломом тебе будет проще... прославиться. А может, и не проще.

И Баба занялся своим чаем, бормоча про себя что-то насчет медицинского и юридического образования и «настоящей работы».

Чувство вины заставило меня покраснеть. Язва желудка, чернота под ногтями, ноющие запястья — все это Баба заработал, чтобы я мог жить в свое удовольствие. Только я все равно поставлю на своем, пусть даже меня грызет совесть. Не стоит лезть из кожи вон, лишь бы отец был доволен. Ничего хорошего не выйдет. Достаточно вспомнить воздушного змея.

Баба тяжело вздохнул и закинул в рот целую пригоршню семян кардамона.

Бывали дни, когда я садился за руль своего «форда», опускал стекла и часами разъезжал по дорогам, от Восточного залива до Южного, исколесив полуостров Сан-Франциско вдоль и поперек. Я проезжал по осененным тополями улицам соседних с нами городков, мимо обветшавших одноэтажных домишек с решетками на окнах, где жили простые люди, никогда не пожимавшие рук королям, а во дворах за серой сеткой изгороди древние машины вроде моей роняли капельки масла на асфальт. Лужайки были усеяны старыми игрушками, лысыми покрышками, пивными бутылками, и никто не спешил их убрать. Я вдыхал аромат древесной трухи, исходящий из разросшихся парков, глазел на гигантские торговые павильоны, где можно было бы проводить пять турниров по бозкаши одновременно, и катил дальше. Дорога вилась по склонам холмов Лос-Альтос, где сохранились старинные поместья с витражами вместо окон и серебряными львами у кованых ворот, с фонтанами, украшенными фигурками херувимов, с аккуратно постриженными газонами, которые не осквернял никакой металлолом. По сравнению с этими домами особняк Бабы в Кабуле казался жалкой лачугой.

По субботам я выезжал очень рано и ехал на юг по Семнадцатому шоссе. Горные серпантины приводили меня в Санта-Круз. Я останавливался у старого маяка и, сидя в машине, ждал рассвета. Со стороны моря клубами наплывал туман. В Афганистане я видел океан только в кино и никак не мог поверить, что морской воздух пахнет солью. Хасану я частенько говорил, что настанет день, когда мы с ним вдвоем пройдемся по песчаному берегу, усеянному водорослями, и волны будут рассыпаться у наших ног и откатываться назад. Впервые увидев Тихий океан, я чуть не зарыдал, такой он был огромный и синий, совсем как на киноэкранах моего детства.

По вечерам я иногда выходил из машины, поднимался на пешеходный мостик, прижимался лбом к сетчатому ограждению и смотрел на мчащиеся красные огоньки, стараясь прикинуть, сколько же машин сейчас проносится между мной и горизонтом. БМВ, СААБы, «порше» — невиданные в Кабуле марки. В Афганистане были в основном советские «Волги», старые «опели» и иранские «пейканы».

Вот уже почти два года, как мы перебрались в США, а меня по-прежнему изумляют масштабы этой страны, ее размах. Шоссе перетекает в шоссе, большие города следуют один за другим, за холмами возвышаются горы, а с гор опять видны холмы, и еще города, и еще...

Задолго до того, как *руси* вторглись в Афганистан и сожгли деревни и разрушили школы, задолго до того, как поля превратились в минные и дети легли в каменистые могилы, Кабул стал для меня городом призраков. И у призраков была заячья губа.

Америка была совсем другая, здесь жизнь неслась вперед стремительной рекой и ничто не напоминало о прошлом. Пусть же течение подхватит меня, и смоет с меня вину, и унесет далеко-далеко. Туда, где нет призраков, нет воспоминаний и нет прегрешений.

Хотя бы только за это с радостью принимаю тебя, Америка!

Летом 1984 года — в это лето мне исполнился двадцать один год — Баба продал свой «бьюик» и купил за пятьсот пятьдесят долларов подержанный микроавтобус «фольксваген» семьдесят первого года выпуска. Данное транспортное средство ему продал земляк, который в Кабуле был учителем средней школы. Соседи так и уставились на ржавую железяку, когда мы с тархтением вкатились на стоянку у нашего дома. Баба выключил двигатель, и мы, не выходя из автобуса, принялись хохотать, пока слезы не полились у нас по щекам, точнее говоря, пока у соседей не прошло первое потрясение. Вид-то был тот еще. Краска облезла,

вместо части стекол — черные пластиковые пакеты для мусора, шины лысые, из сидений пружины торчат. Но старый учитель заверил Бабу, что двигатель и трансмиссия в порядке, и, как оказалось, не соврал.

По субботам Баба будил меня на рассвете. Пока он одевался, я выискивал в местных газетах объявления о гаражных распродажах и обводил кружком. Мы составляли маршрут: Фримонт, Юнион-Сити, Ньюарк и Хэйворд — в первую очередь; Сан-Хосе, Мильпитас, Саннивейл и Кэмпбелл — если останется время. Баба с термосом чая усаживался за руль, а я выступал в роли штурмана. В каком только барахле не приходилось ковыряться! Древние швейные машины, одноглазые Барби, деревянные теннисные ракетки, гитары без нескольких струн, старые пылесосы... Торговля так и кипела. К середине дня салон нашего «фольксвагена» заполнялся всяким хламом.

Со всем этим добром воскресным утром мы были уже на толкучке в Сан-Хосе на своем оплаченном месте. Перепродажа приносила некоторую прибыль: пластинка группы «Чикаго», купленная за двадцать пять центов, уходила за доллар (пять пластинок за четыре доллара), за дряхлую швейную машинку «Зингер», которую удалось сторговать за десятку, покупатели платили четвертной.

К лету афганские семьи уже занимали на блошином рынке несколько рядов. Где торговали подержанными товарами, там обязательно слышалась афганская музыка. Среди торговцев из Афганистана сложились неписанные правила поведения: с соседом-земляком надо поздороваться, угостить картофельным *болани* или кусочком *кабули*, принести свои соболезнования по поводу смерти родных, поздравить с рождением ребенка, скорбно склонить голову при упоминании о *руси* и текущих событиях (это была неременная тема). Но о субботе не упоминалось никогда. Кто знает, не этого ли милого человека ты вчера «подрезал» на шоссе, только бы успеть первым на перспективную распродажу? Коммерция есть коммерция.

Чаю земляки пили много. Сплетничали еще больше. За зеленым чаем с миндальным *колчасом* можно было узнать, чья дочка разорвала помолвку и сбежала с американцем, кто в Кабуле был *парчами* — коммунистом, а кто купил дом на скрытые доходы, продолжая как ни в чем не бывало получать пособие. Чай, политика и скандалы — неотъемлемая часть воскресного дня афганца на толкучке.

Я стоял за прилавком, пока Баба, прижав руки к груди, прохаживался по рядам и кланялся кабульским знакомым, всем тем, кто торговал поношенными свитерами и поцарапанными велосипедными шлемами. Среди них были механики и портные, но были и бывшие послы, хирурги и университетские профессора.

Как-то ранним воскресным утром (это был июль 1984 года), когда мы только прибыли на вещевой рынок, я отправился за кофе. Возвращаясь с двумя чашками в руках — а Баба степенно беседует с каким-то немолодым холеным господином. Пришлось пока поставить чашки на задний бампер нашего автобуса рядом с наклейкой «РЕЙГАН/БУШ 84».

— Амир, — сказал Баба, подводя меня к господину, — я хотел бы представить тебя генерал-сагибу, его высокопревосходительству Икбалу Тахери. В Кабуле он занимал высокий пост в Министерстве обороны.

Тахери. Откуда мне знакома эта фамилия?

Благоухающий одеколоном генерал улыбнулся мне привычной улыбкой, выработанной на официальных приемах, где приходилось смеяться несмешным шуткам вышестоящих

начальников. Воздушные серебристо-серые волосы зачесаны назад, лицо смуглое, густые темные брови начали седеть. На генерале костюм-тройка стального оттенка, несколько залоснившийся от частой утюжки, в жилетном кармане — часы с золотой цепочкой.

— Ну зачем же так пышно, — произнес генерал хорошо поставленным голосом. — Салям, *бачем*. Приветствую тебя, юноша.

— *Салям*, генерал-сагиб.

Рукопожатие было крепким, хоть и влажным. И руки у генерала оказались очень нежные.

— Амир собирается стать великим писателем, — сказал Баба. Я даже как-то не сразу понял его слова. — Он заканчивает первый курс колледжа. Отличник по всем предметам.

— Колледжа низшей ступени, — уточнил я.

— Машалла, — произнес Тахери. — Про что ты собираешься писать? Про свою страну, про ее историю? А может быть, тебя привлекает экономика?

— Нет, мои герои — вымышленные.

В кожаный блокнот, подаренный мне Рахим-ханом, поместилось рассказов двенадцать. Только почему мне так неловко рассуждать о своем призвании в присутствии этого человека?

— А, сочинитель, — снисходительно сказал генерал. — Что ж, в трудные времена, как сейчас, людям нужны выдуманные истории, чтобы отвлечься. — Тахери положил руку Бабе на плечо. — А вот тебе подлинная история. Как-то мы с твоим отцом охотились на фазанов. В Джелалабаде, в прекрасный солнечный день. Насколько помню, у твоего отца оказался верный глаз. И в охоте, и в бизнесе.

Баба пнул деревянную ракетку:

— Вот и весь бизнес.

Генерал Тахери изобразил грустную и вместе с тем вежливую улыбку, вздохнул и потрепал Бабу по плечу:

— *Зендаги мигозара*. Жизнь продолжается. — И, обращаясь ко мне: — Афганцы склонны преувеличивать, *бачем*, и наклеивать ярлык величия на кого попало. Но вот твой отец, вне всякого сомнения, принадлежит к тому немногочисленному кругу людей, кто полностью заслужил право именоваться великими.

Эта маленькая речь с ее затертыми словами и показным блеском напомнила мне генералов костюм.

— Вы мне льстите, — смутился Баба.

— Вовсе нет. — Тахери поклонился и прижал руки к груди, демонстрируя искренность. — Юноши и девушки должны сознавать достоинства своих отцов. Ценишь ли ты своего отца, *бачем*? Воздаешь ли ты ему по заслугам?

— Разумеется, генерал-сагиб.

И дался ему этот «*юноша*»!

— Прими мои поздравления, ты на верном пути. Из тебя может выйти настоящий мужчина.

И ведь ни тени юмора или иронии. Этаким милостивый комплимент из уст небожителя.

— Падар-джан, вы забыли про свой чай, — раздался у нас за спиной молодой женский голос.

В руках у стройной красавицы с шелковистыми иссиня-черными волосами был термос и пластиковая чашка. Густые брови срослись на переносице, словно два крыла у птицы, нос с легкой горбинкой — ну вылитая персидская принцесса, вроде Тахмине, жены Рустема и

матери Сохраба из «Книги о царях». Из-под густых ресниц она взглянула на меня своими карими глазами и опять потупила взор.

— Ты так добра, моя дорогая. — Генерал взял чашку у нее из рук.

Девушка повернулась (я успел заметить коричневую родинку в форме полумесяца у нее на щеке) и направилась к серому фургончику за два ряда от нас. На брезенте перед фургончиком были выложены старые пластинки и книги.

— Моя дочь, Сорая-джан, — сообщил генерал Тахери, глубоко вздохнул, будто желая сменить тему, и посмотрел на свои золотые карманные часы. — Мне пора. Дело не ждет.

Тахери и Баба расцеловались на прощанье, и генерал ухватил мою ладонь обеими руками сразу.

— Удачи на писательском поприще, — пожелал он мне. Ни единой мысли не отражалось в его голубых глазах.

Весь оставшийся день я то и дело посматривал в сторону серого фургончика.

Только когда пришло время отправляться домой, я вспомнил, где слышал фамилию Тахери.

— Какие там слухи ходили насчет дочери генерала? — спросил я у отца как можно непринужденнее.

— Ты же меня знаешь, — ответил Баба, осторожно выруливая к выезду с толкучки. — Как только разговор переходит на сплетни, я удаляюсь.

— Но ведь что-то было?

— Интересуешься? С чего бы это? — Вид у Бабы был хитрый.

— Так, просто из любопытства, — ухмыльнулся я.

— Да неужто? Что, понравилась девушка? — Баба не сводил с меня глаз.

Я сделал равнодушное лицо.

— Прошу тебя, Баба.

Он улыбнулся, и мы покатали к шоссе 680.

После нескольких минут молчания отец произнес:

— Знаю только, что у нее был мужчина и все сложилось... неблагоприятно.

Слова его прозвучали так мрачно, словно девушка была смертельно больна.

— Ага.

— Я слышал, она порядочная девушка, работающая и добрая. Только после того случая ни один жених не постучался в дверь к генералу. — Баба вздохнул. — Наверное, это несправедливо, но в один день иногда столько всего случится, что вся твоя жизнь меняется, Амир.

Ночью я не мог уснуть, все думал о Сорае Тахери, о том, какая у нее родинка, о горбинке на носу, о блестящих карих глазах. Сердце у меня стучало. Сорая Тахери. Моя принцесса с толкучки.

Первая ночь месяца *Джади*, первая ночь зимы, самая длинная в году, в Афганистане именовалась *ильда*. В эту ночь мы с Хасаном всегда засиживались допоздна. Али чистил нам яблоки, кидал кожуру в печку и, чтобы скоротать время, рассказывал старинные сказки о султанах и ворах. Именно от Али я услышал, какие поверья связаны с ильдой, о мотыльках, летящих на огонь навстречу собственной гибели, и о волках, в поисках солнца забирающихся на вершины гор. Али клялся, что если в эту ночь съесть арбуз, то будущим летом тебя не будет мучить жажда.

Сделавшись постарше, я узнал, что поэтическая традиция подразумевает под ильдой бессонную беззвездную ночь, когда истомленные разлученные любовники тоскуют и ждут не дождутся рассвета, с приходом которого они обретут друг друга. Вот такие ночи настали и в моей жизни после первой встречи с Сораей Тахери. Ее прекрасное лицо, ее карие глаза просто преследовали меня. Воскресным утром по пути на блошинный рынок время так тянулось... Вот она, босоногая, перебирает пожелтевшие энциклопедии в картонных коробках, и браслеты позвякивают на тонких запястьях, и тень пробегает по земле, когда она откидывает назад свои шелковистые волосы, и нет меня рядом... Сора, моя принцесса с толкучки, утреннее солнышко после темной ночи...

Я придумывал предлоги, чтобы пройтись по рядам, — Баба только игриво усмехался, — махал рукой генералу в знак приветствия, и облаченный в неизменный серый костюм военачальник величественно поднимал длань в ответ. Порой он даже восставал из своего руководящего кресла и мы с ним обменивались парой слов насчет моих успехов на литературном поприще, мельком упоминали войну, расспрашивали друг друга, как идет торговля... Я отводил глаза от Сораи, сидевшей тут же с книгой в руке, прощался с генералом и шел прочь, изо всех сил стараясь не горбиться.

Порой она была одна, генерал доблестно отсутствовал — наверное, беседовал где-нибудь с земляками, — и я проходил мимо, делая вид, что мы не знакомы, вот ведь жалость! Иногда вместе с ней была осанистая бледная дама с крашенными в рыжий цвет волосами. Я дал себе слово, что заговорю с Сораей до конца лета. Но школы вновь распахнули свои двери, красные и желтые листья сдул с деревьев ветер, зарядили зимние дожди, у Бабы заболели суставы, на ветках появились почки, а мне все не хватало смелости даже заглянуть ей в глаза.

В конце мая 1985 года я успешно сдал все экзамены и зачеты в колледже (что достойно удивления, ведь на занятиях у меня не шла из головы Сора).

Настало лето. Как-то в воскресенье мы с Бабой сидели за прилавком, усиленно обмахиваясь газетами. Несмотря на жару, народу было полно, и, хотя едва перевалило за двенадцать, мы уже успели наторговать долларов на сто шестьдесят.

Я встал и потянулся.

— Пойду схожу за кока-колой. Тебе принести?

— Да, пожалуйста. Только поосторожнее там.

— Ты о чем, Баба?

— Я тебе не какой-нибудь *ахмак*, так что не придуривайся.

— Не понимаю, о чем ты.

— Помни, — наставил на меня палец Баба, — этот человек — пуштун до мозга костей. Для него главное — *нанг* и *намус*.

Честь и гордость. Да, они в крови у каждого пуштуна. Особенно если речь идет о добром имени жены. Или дочери.

— Я только хотел принести нам попить.

— В общем, не заставляй меня краснеть, вот и все, что я хотел сказать.

— О господи, Баба. Я не дам тебе повода.

Отец молча закурил и опять стал обмахиваться.

Я прошел мимо киоска с закусками и напитками и свернул в ряд, где торговали футболками. За каких-то пять долларов тебе на майке оттиснут изображение Иисуса, Элвиса или Джима Моррисона. А захочешь, и всех троих сразу. Где-то неподалеку играли уличные музыканты, над толкучкой разносился запах маринованных овощей и жарящегося на углях мяса.

У лотка, где торговали маринованными фруктами, как всегда, стоял серый микроавтобус Тахери. Она была одна. Книга в руках. Белое летнее платье ниже колен. Босоножки. Волосы зачесаны в пучок. Я честно хотел пройти мимо. Не помню, как очутился у самого их прилавка. Только глаз с Сораи я уже не сводил.

Она оторвала взгляд от книги.

— Салям, — произнес я. — Извините за беспокойство.

— Салям.

— Простите, генерал-сагиб здесь сегодня?

Уши у меня пылали. В глаза девушке я не смотрел.

— Он отошел вон в том направлении, — показала она вправо. Браслет скользнул по руке — серебро на оливковом фоне.

— Передайте ему, пожалуйста, что я заходил засвидетельствовать свое почтение.

— Хорошо.

— Спасибо. Ах да, меня зовут Амир. Просто чтобы вы знали, кто заходил... оказать знаки уважения.

— Спасибо.

Я откашлялся.

— Мне пора. Извините за беспокойство.

— Вы меня ничуть не побеспокоили.

— Это хорошо. — Я поклонился и попытался улыбнуться. — Мне пора. (По-моему, я уже это говорил). *Хода хафез*.

— *Хода хафез*.

Я сделал шаг в сторону и опять повернулся к ней:

— Можно поинтересоваться, что за книгу вы читаете?

Само вырвалось. У меня и смелости бы не хватило.

Она заморгала.

У меня перехватило дыхание. Мне вдруг почудилось, что весь афганский рынок затих и, полон любопытства, с приоткрытыми ртами уставился сейчас на нас.

В чем причина?

А в том, что, пока я не заговорил про книгу, те несколько слов, которые мы сказали друг другу, были не более чем данью вежливости. Ну спрашивает один мужчина про другого, что здесь такого? Но я задал ей лишний вопрос, и, если она ответит, значит... мы разговариваем

друг с другом. Я — *моджарад*, холостой мужчина, и она — незамужняя женщина. Да еще с *прошлым*, вот ведь как. Еще чуть-чуть — и будет о чем посплетничать. И осуждать будут ее, а не меня — такие вот в Афганистане двойные стандарты. Сплетники никогда не скажут: «Видели? Он остановился, чтобы поговорить с ней». Вместо этого прозвучит: «Ва-а-а-й! Видели? Она в него так и вцепилась! Какой позор».

По афганским понятиям мой вопрос был дерзостью — я показал, что она мне небезразлична. Но чем я рисковал? Только уязвленным самолюбием, не репутацией. А язвы заживают.

Ну, что она скажет в ответ на мое нахальство?

Она показала мне обложку. «Грозовой перевал».

— Читали?

Я кивнул. Сердце у меня так и колотилось. Даже в ушах звенело.

— Это грустная история.

— Из грустных историй вырастают хорошие книги, — возразила она.

— Это так.

— Я слышала, вы пишете?

Откуда она узнала? Неужели отец разболтал? С чего бы? Наверное, она сама его спросила. Нет, чушь. Сыновья с отцами могут свободно говорить о женщинах. Но ни одна порядочная афганская девушка не станет расспрашивать отца ни о каком молодом человеке. Да и сам отец — особенно пуштун, для которого *нанг* и *намус* всегда на первом месте, — не будет обсуждать с дочерью достоинства *моджарада*, разве что парень попросил ее руки. И не сам попросил, а, как полагается, через отца.

— Не хотите ли прочитать какой-нибудь мой рассказ? — услышал я собственный голос.

— С удовольствием.

В ее словах я почувствовал неловкость и смущение. Она даже глаза отвела в сторону. Не дай бог, генерал где-то неподалеку. Что он скажет, если увидит, как долго я разговариваю с его дочкой?

— Обязательно занесу вам как-нибудь, — радостно выпалил я.

И тут рядом с Сораей появилась дама, которую я видел с ней раньше. В руках у дамы была пластиковая сумка с фруктами.

Оглядев нас обоих, женщина улыбнулась:

— Амир-джан, как я рада вас видеть. Я Джамиля, мама Сораи-джан.

Ее негустые рыжие волосы — на голове кое-где просвечивала кожа — сверкали на солнце, маленькие зеленые глаза прятались в складках круглого полного лица, коротенькие пальцы смахивали на сосиски, на груди покоился золотой Аллах, цепочка охватывала полную шею.

— Салям, Хала-джан, — смущенно произнес я. Надо же, она меня знает, а я ее — нет.

— Как поживает ваш батюшка?

— С ним все хорошо, спасибо.

— Ваш дедушка был Гази-сагиб, судья. Так вот, его дядя приходился двоюродным братом моему деду. Можно сказать, мы родственники.

Она улыбнулась, показав золотые зубы. Уголок рта у нее был опущен. Глаза смотрели то на меня, то на Сораю.

Я как-то спросил Бабу, почему дочка генерала Тахери до сих пор не замужем. Нет женихов, ответил отец. Подходящих женихов, добавил он. Но больше Баба ничего не

сказал — он прекрасно знал, что молодая женщина может не выйти замуж из-за одних только пустых сплетен. Афганские женихи, особенно из уважаемых семей, — порода нежная и переменчивая. Шепоток тут, намек там — и готово, жених расправляет крылышки и улетает прочь. Та к что свадьбы шли своим чередом, а Сорае все никто не пел «*азста боро*», никто не раскрашивал ей кулачки хной и не держал Коран над головой, и никто не танцевал с ней, кроме отца, лично генерала Тахери.

И вот передо мной ее мать — с нетерпеливой кривой улыбкой и плохо скрытой надеждой в глазах. Под тяжестью ответственности впору согнуться. А все потому, что в генетической лотерее мне суждено было родиться мужчиной.

Если в глазах генерала никогда ничего нельзя было прочесть, то по его жене сразу было видно: в *этом* отношении она мне не враг.

— Присаживайтесь, Амир-джан, — сказала Джамиля. — Сорае, подай ему стул, девочка. И помой персик. Они такие сладкие и свежие.

— Нет, благодарю вас, — ответил я. — Мне уже пора идти. Отец ждет.

— Да что вы? — Ханум Тахери явно понравилось, что я вежливо отказался от приглашения. — Тогда хоть возьмите с собой парочку. — Она кинула в бумажный пакет несколько киви и пару персиков и вручила мне. — Передайте отцу мой салам. И заходите к нам почаще.

— Непременно. Благодарю вас, Хала-джан.

Краем глаза я заметил, что Сорае отвернулась.

— Я-то думал, ты пошел за кока-колой, — протянул Баба, принимая от меня пакет с фруктами. Взгляд у него был серьезный и игривый вместе. Я забормотал что-то в свое оправдание, но Баба впился зубами в персик и остановил меня движением руки: — Не нужно никаких объяснений, Амир. Просто помни, что я тебе сказал.

Ночью мне грезилась солнечные зайчики, танцующие в глазах Сораи, и нежные впадинки возле ключицы. Снова и снова я прокручивал в голове наш разговор. Какие она произнесла слова? «*Я слышала, вы пишете*» или «*Я слышала, вы писатель*»? Ворочаясь с боку на бок с открытыми глазами, я с ужасом думал о предстоящих шести бесконечных днях ильды. Ведь я увижу ее вновь только в воскресенье.

Несколько недель все шло как по маслу. Я ждал, пока генерал не отойдет, затем появлялся у палатки Тахери. Если ханум Тахери была на месте, она угощала меня чаем и *колчей* и мы беседовали с ней о Кабуле прежних дней, о знакомых, о мучившем ее артрите. Она, несомненно, обратила внимание на то, что я показываюсь, только когда генерала нет, но не подала виду.

— Ваш Кэка только что отошел, — говорила она неизменно.

Присутствие ханум Тахери было мне даже на руку, и не только потому, что она меня так привечала; при ней Сорае казалась менее напряженной и была поразговорчивее. Мать была рядом, и это как бы узаконивало все, что происходило между мной и Сораей (хотя и в меньшей степени, чем если бы на месте жены был сам генерал), и если уж не совсем спасало от злых языков, то снижало градус сплетни.

Однажды мы с Сораей разговаривали у палатки одни. Она рассказывала мне о своей учебе в колледже Олоун.

— И какая будет ваша специальность?

— Я хочу стать учительницей.

— Правда? Почему?

— Эта профессия мне всегда нравилась. Когда мы жили в Вирджинии, я закончила курсы английского языка как второго, а сейчас раз в неделю веду свой урок в окружной библиотеке. Моя мама тоже была учительницей, преподавала фарси и историю в женской средней школе Заргуна в Кабуле.

Толстяк в войлочной охотничьей шляпе предложил три доллара за набор подсвечников стоимостью в пять, и Сорая уступила. Положив деньги в коробочку из-под конфет, стоявшую на земле, она застенчиво взглянула на меня:

— Хочу рассказать вам кое-что, только немного смущаюсь.

— С удовольствием послушаю, — воодушевился я.

— Только не смейтесь.

— Рассказывайте же.

— Когда я училась в четвертом классе в Кабуле, отец нанял служанку по имени Зиба. Ее сестра жила в Иране, в Мешхеде, и Зиба, которая была неграмотна, иногда просила меня написать письмо сестре. А когда приходил ответ, я читала его Зибе. Что, если я научу тебя читать и писать? — спросила я однажды. Зиба сощурилась, широко улыбнулась и сказала: я с удовольствием. Я садилась с ней в кухне, и мы принимались за *Алефбе*. Поднимешь, бывало, глаза от тетрадей, а Зиба потряхивает кастрюльку с мясом и вслух зубрит алфавит, а потом садится к столу и пишет буквы на бумажке.

Через год Зиба читала детские книжки. Мы устраивались во дворе, и она читала мне сказки про Дару и Сару — медленно, но верно. Меня она стала называть *моалем* — наставница. — Сорая засмеялась. — Знаю, это звучит по-детски, но, когда Зиба сама написала письмо, я преисполнилась такой гордости, будто добилась чего-то важного в жизни. Понимаете меня?

— Да.

Наглая ложь. Где уж мне понять такое. Сам-то я свою грамотность использовал для насмешек над Хасаном. Истолкую ему неправильно слово и хихикаю про себя.

— Отец хочет, чтобы я выбрала юриспруденцию, а мама — медицину. Но я буду стоять на своем. Учителям здесь платят не так много, но это мое призвание.

— Моя мама тоже была учительницей.

— Я знаю. Мне матушка сказала.

Краска залила лицо Сорай. Проболталась! Значит, они с матерью обсуждали мою персону.

Мне стоило огромных усилий сдержать самодовольную улыбку.

— Я тут вам кое-что принес, — сказал я, вынимая из кармана несколько сцепленных скрепкой страничек. — Как обещал.

И я передал Сорай один из своих рассказов.

— Значит, ты не забыл, — расцвела она. — Спасибо!

В голове у меня еще не уложилось, что она впервые обратилась ко мне на *ту* вместо положенного *шома*, как улыбка вдруг исчезла у нее с побледневшего лица. За спиной у меня кто-то стоял. Я обернулся — и оказался нос к носу с генералом Тахери.

— Амир-джан. Наш вдохновенный сочинитель. Какая радость. — На губах у генерала змеилась улыбка.

— Салям, генерал-сагиб, — выговорил я закоченевшим языком.

Генерал шагнул мимо меня прямоком к торговому месту и протянул Сорае руку.

— Какой чудесный день сегодня, а?

Она передала отцу скрепленные странички.

— Говорят, на этой неделе пойдут дожди. Не верится, правда? — Генерал выбросил листки бумаги в мусорный бак, положил руку мне на плечо и увлек за собой. — Знаешь, бачем, ты мне очень нравишься. Я убежден, ты славный юноша. Но... — он вздохнул и взмахнул рукой, — даже славных юношей иногда надо призвать к порядку. Мой долг напомнить тебе, что мы на рынке и на нас смотрят со всех сторон.

Генерал остановился и уставил на меня свои бесстрастные глаза.

— А здесь каждый *сочинитель*. — Тахери улыбнулся, демонстрируя идеально ровные зубы. — Передай поклон отцу.

Он отпустил мое плечо и вновь улыбнулся.

— Что случилось? — спросил Баба. Он принимал деньги за лошадку-качалку у пожилой дамы.

— Ничего, — сказал я, садясь на старый телевизор. И рассказал ему все.

— Ах, Амир, — вздохнул отец.

Только горевать по *этому* поводу нам довелось недолго.

Ведь уже на следующей неделе Баба простудился.

Все началось с сухого кашля и насморка. Хлюпать носом Баба скоро перестал. А вот от кашля было никак не избавиться. Отец откашливался и прятал платочек в карман, а когда я хотел поинтересоваться, что у него там, отгонял меня подальше. Он терпеть не мог госпиталей и докторов. Насколько помню, Баба за всю свою жизнь обратился к врачу единственный раз — когда в Индии заболел малярией.

Недели через две я застукал его, когда он выплевывал в унитаз сгусток мокроты, окрашенный кровью.

— У тебя это давно? — перепугался я.

— Что на обед? — спросил он.

— Все, веду тебя к врачу.

Хоть Баба и был у себя на заправке маленьким начальником, медицинской страховки хозяин ему не предоставил, а отец из гордости не настаивал. Пришлось отправиться в окружной госпиталь в Сан-Хосе. Доктор с землистым лицом и заплаканными глазами представился врачом-стажером на двухлетней преддипломной практике.

— Ну и вид у него, — пробурчал мне на ухо Баба. — Такой молодой, а болячек больше, чем у меня.

Врач-стажер направил нас на рентген. Когда медсестра опять пригласила нас в его кабинет, стажер заполнял какую-то медицинскую бумагу.

— Отнесете в регистратуру, — сказал он, не переставая писать.

— Что это? — спросил я.

— Направление. (*Черк, черк.*)

— Куда?

— В пульмонологическую клинику.

— Что за клиника?

Врач взглянул на меня, поправил очки и опять занялся писаниной.

— У него затемнение в правом легком. Пусть посмотрят специалисты.

Комната вдруг стала тесной.

— Затемнение? — переспросил я.

— Рак? — небрежно обронил Баба.

— Возможно. Есть такие подозрения, — пробормотал доктор.

— А если подробнее?

— На данном этапе сложно сказать. Ему сперва нужно пройти компьютерную томографию, а потом пусть его осмотрит специалист по болезням легких. — Стажер вручил мне направление. — Так, говорите, ваш отец курит?

— Да.

Врач кивнул, посмотрел на Бабу, потом опять на меня.

— Они вам позвонят в течение двух недель.

Мне захотелось спросить, а мне-то как прожить целых две недели с «такими подозрениями»? Как мне есть, учиться, работать? И как у него хватает совести отправлять меня домой с таким напутствием?

Я взял направление и отдал куда надо.

В эту ночь я подождал, пока Баба заснет, соорудил из одеяла молитвенный коврик и, кланяясь до земли, прочел полузабытые строки из Корана — как оказалось, намертво вколоченные в свое время в наши головы муллой, — прося милости у Господа, про которого сам не знал толком, есть он или нет. Сейчас я завидовал мулле, его крепкой вере в Бога.

Две недели прошло, и никто не позвонил. Пришлось мне опять обращаться в больницу. Оказалось, наше направление потеряли. Если я, конечно, оставил его в нужном месте. Ждите еще три недели, вам позвонят. Я поднял шум, и срок сократили. Неделя на томографию и две на посещение специалиста.

Прием у пульмонолога, доктора Шнейдера, проходил в рамках приличий, пока Баба не спросил, откуда тот родом. Оказалось, из России.

Баба рванулся вон из кабинета.

— Простите нас, доктор, — извинился я, хватая отца за руку.

Доктор Шнейдер улыбнулся и отошел в сторонку, не выпуская стетоскоп из рук.

— Баба, в приемной висит биография доктора, — зашептал я. — Он родился в штате Мичиган. Он куда больший американец, чем мы с тобой.

— Мне плевать, где он родился, все равно он *руси*. — При этом слове Баба скривился, словно оно означало какую-то пакость. — Его родители были *руси*, его дед и бабушка были *руси*. Клянусь ликом твоей покойной матери, если он ко мне только прикоснется, я ему руку сломаю.

— Родители доктора бежали от шурави, как ты не понимаешь! Они беженцы!

Но Баба слушать ничего не хотел. Иногда мне кажется, что Афганистан он обожал так же, как свою покойную жену. Мне хотелось кричать от отчаяния.

Повернувшись к доктору Шнейдеру, я сказал:

— Извините нас. Его никак не переубедишь.

Следующий пульмонолог, доктор Амани, был иранец, и Баба не сопротивлялся. Доктор, человек с мягким голосом, густыми усами и целой гривой седых волос, сказал нам, что ознакомился с результатами томографии и что нам надо пройти бронхоскопию — это когда из легких берут кусочек ткани для получения гистологической картины. Он записал нас на

следующую неделю. Я поблагодарил его и помог Бабе выйти из кабинета. Теперь мне предстоит прожить еще неделю с новым для меня словом «гистология», еще более зловещим, чем «такие подозрения».

Оказалось, что у рака, как у Сатаны, много имен. Болезнь Бабы называлась «овсяно-клеточная карцинома». Запущенная. Неоперабельная. Баба спросил у доктора Амани, какой прогноз. Тот пожевал губами и изрек: «Прогноз неблагоприятный».

— Конечно, существует химиотерапия. Но это паллиативное лечение.

— Что это значит? — спросил Баба.

Врач вздохнул:

— Оно продлит вам жизнь. Но не вылечит.

— Четко и ясно. Спасибо, — поблагодарил Баба. — Никакой химии не будет. —

Продовольственные талоны на стол миссис Доббинс он швырял с той же решимостью на лице.

— Но, Баба...

— Не позорь меня на людях, Амир. Много на себя берешь.

Дождь, предсказанный генералом Тахери, может, и опоздал на пару недель, но, когда мы выходили из клиники на улицу, проезжающие мимо машины поднимали целые фонтаны воды. Баба закурил и не вынимал сигарету изо рта всю дорогу домой. Даже когда вышел из машины.

У двери парадного я робко спросил:

— Может, все-таки попробуем химию, а, Баба?

Баба постучал меня по груди рукой, в которой дымилась сигарета.

— *Бас!* Я уже все решил.

— А как же я, отец? Мне-то что делать?

Мокрое лицо Бабы исказила гримаса отвращения. Точно так же он морщился, когда я в детстве падал, разбивал колено и принимался плакать. Как и теперь, причиной недовольствия были мои слезы.

— Тебе двадцать два года, Амир! Взрослый мужик! Ты... — Баба открыл рот и не сказал ни слова, еще раз пошевелил губами и опять промолчал. Дождь барабанил по навесу у парадного. — Что будет с тобой, говоришь? Все эти годы я только и делал, что старался научить тебя никогда не спрашивать об этом.

Отец отомкнул наконец дверь и опять обратился ко мне:

— И вот еще что. Никому ни слова. Ты понял меня? Никому. Мне не нужно ничье сочувствие.

Весь оставшийся день Баба просидел у телевизора, дымя как паровоз.

Кому он хотел бросить вызов? Мне? Доктору Амани? А может, Господу Богу, в которого не верил?

Рак раком, а Баба по-прежнему регулярно ездил на толкучку. По субботам мы объезжали гаражные распродажи — Баба за рулем, я определяю маршрут, — а по воскресеньям выкладывали товар на рынке. Медные лампы. Бейсбольные перчатки. Лыжные куртки с поломанными молниями. Баба приветствовал земляков, а я торговался с покупателями. Хотя все это уже ничего не значило. Ведь каждая такая поездка неумолимо приближала день, когда я стану сиротой.

Иногда захаживал генерал Тахери с женой. Он был все тот же — дипломатичная улыбка, крепкое рукопожатие. А вот она сделалась со мной как-то особенно молчалива. Зато стоило генералу отвлечься, как она незаметно улыбалась мне, а глаза молили о прощении.

Многое произошло «впервые» в это время. В первый раз в жизни мне довелось слышать, как Баба стонет. Впервые я увидел кровь у него на подушке. За три года труда на заправке не было случая, чтобы Баба не выходил на работу по болезни. Это тоже случилось в первый раз.

К Хэллоуину Бабу стала одолевать такая усталость, что на распродажах он перестал выходить из машины, и о цене договаривался один я. Ко Дню благодарения он полностью выматывался уже в полдень. Когда перед домами появились салазки и пихты осыпал искусственный снег, Баба вообще не ездил на распродажи, и я в одиночестве колесил на «фольксвагене» по Полуострову.

Порой соотечественники на рынке замечали в разговоре, что Баба здорово похудел. Его даже поздравляли и интересовались, что у него за диета. Только Баба все худел и худел, и вопросы прекратились сами собой. Ведь щеки-то запали. И глаза провалились. И кожа обвисла.

В холодный воскресный день вскоре после Нового года какой-то коренастый филиппинец торговался с Бабой за абажур, а я рылся в куче хлама в автобусе в поисках одеяла — отцу надо было закутать ноги.

— Эй, парень, продавцу плохо, — встревоженно позвал меня филиппинец.

Я обернулся.

Баба лежал на земле, дергая руками и ногами.

С криком «*Комак!* Помогите кто-нибудь!» я бросился к отцу. На губах у него пузырилась слюна, белизна закатившихся глаз наводила ужас.

К нам заторопились люди.

Кто-то сказал: «Эпилептический припадок».

Кто-то завопил: «Позвоните 911!»

Послышался топот бегущих ног.

Небо потемнело. Вокруг нас собралась порядочная толпа.

Пена, бьющая у отца изо рта, приобрела красноватый оттенок — Баба прокусил себе язык. Я опустился рядом с ним на колени и взял за руки.

— Я здесь, Баба, — повторял я. — Я рядом с тобой. Все будет хорошо.

Если бы я мог унять сотрясавшие его судороги! Если бы я мог прогнать прочь всех этих людей!

Под коленями у меня стало мокро. Это у Бабы опорожнился мочевой пузырь.

— Тсс, Баба-джан, — шептал я. — Это я, твой сын. Я с тобой.

Белобородый и совершенно лысый доктор пригласил меня в приемную.

— Давайте вместе посмотрим томограммы вашего отца.

Кончиком карандаша он, словно полицейский, демонстрирующий на фото приметы убийцы, указал на отдельные фрагменты общей картины. На экране виднелось что-то вроде грецкого ореха в разрезе, на фоне которого просматривались круглые серые включения.

— Это метастазы, — сказал доктор. — Ему следует принимать стероиды и противосудорожные препараты. Я бы еще рекомендовал паллиативное облучение. Понимаете, что это?

Я понимал. Уж о чем, о чем, а об онкологии я теперь мог разговаривать запросто.

— Мне пора, — вздохнул доктор. — Если возникнут вопросы, скиньте мне на пейджер.

— Спасибо.

Эту ночь я провел у постели Бабы.

На следующее утро в приемной госпиталя на первом этаже было полно афганцев. Один за другим они входили к Бабе в палату. Будь то мясник из Ньюарка или инженер, который работал с Бабой на строительстве приюта, все они говорили шепотом и желали Бабе скорейшего выздоровления.

Вид у Бабы был измученный, но он оставался в сознании.

Ближе к середине дня явился генерал Тахери с женой. С ними пришла и Сорая. Наши взгляды на мгновение встретились.

— Как ты себя чувствуешь, друг мой? — осведомился генерал, осторожно касаясь руки Бабы.

Баба указал на капельницу, слабо улыбнулся и прохрипел:

— Вам всем не стоило задавать себе столько труда.

— Какой же это труд? — изумилась ханум Тахери.

— Мы не перетрудились, — подтвердил генерал. — Самое важное: тебе что-нибудь нужно? Тебе стоит только попросить. Как ты просил бы своего брата.

Я вспомнил, что Баба говорил как-то о пуштунах.

Может быть, мы упрямые гордецы, но, если ты попал в беду, лучшего друга, чем пуштун, не найти.

Баба помотал головой по подушке.

— Уже одно то, что вы пришли, наполнило мне душу счастьем.

Генерал улыбнулся и сжал Бабе руку.

— А ты как, Амир-джан? Тебе ничего не нужно?

Как он на меня смотрит, какой добротой светятся его глаза...

— Благодарю вас, генерал-сагиб, мне... — Комок застрял в горле, и я выскочил в приемную, где не далее как вчера мне демонстрировали лицо убийцы.

Дверь палаты приоткрылась, в комнату проскользнула Сорая и остановилась рядом со мной. На ней был серый свитер и джинсы, волосы распущены.

Как мне хотелось забыться у нее в объятиях!

— Какая жалость, Амир, — произнесла она. — Мы догадывались, что твой отец болен, но чтобы такое...

Я вытер рукавом глаза.

— Он не велел никому говорить.

— Тебе что-нибудь нужно?

— Нет.

Я попытался улыбнуться. Она взяла меня за руку.

Первое прикосновение неземной сладостью отозвалось во всем моем теле. Я впитывал его, как губка.

— Ты лучше возвращайся. А то твой отец опять подкрадется ко мне сзади.

Она с улыбкой кивнула и выпустила мою руку.

— Да, мне надо идти.

— Сорая!

— Да!

— Я так счастлив, что ты пришла. Ты и представить себе не можешь.

Через два дня Бабу выписали. Его долго уговаривал специалист по лучевой терапии, но Баба отказался. Тогда врачи взялись за меня. Но лицо Бабы все равно выражало непоколебимую решимость. Мне оставалось только поблагодарить докторов, подписать все необходимые бумаги и отвезти Бабу домой на своем «форде».

Дома Баба сразу лег на диван, накрылся шерстяным одеялом и задремал. День клонился к вечеру, когда я принес ему горячего чаю и обжаренный миндаль. Помогая отцу сесть, я поразился, каким легким стало его тело. Тонкая землистого цвета кожа обтягивала ребра, лопатки торчали, словно крылышки ошипанной птицы.

— Что я еще могу для тебя сделать, отец?

— Ничего, бачем. Спасибо.

Я присел к нему на диван.

— А ты для меня можешь кое-что сделать? Если ты не очень утомлен.

— Что?

— Посватай меня. Попроси у генерала Тахери руки его дочери для сына.

Запекшиеся губы Бабы сложились в улыбку. Вот так — осталось еще зеленое пятнышко на сухом, пожухлом листе.

— А ты уверен?

— Как никогда в жизни.

— Ты все хорошо обдумал?

— Обдумал, Баба.

— Тогда дай мне телефон. И мой маленький блокнот.

Я изумленно заморгал.

— Прямо сейчас?

— А когда еще?

Я протянул ему телефон и черную записную книжечку, куда Баба записывал номера телефонов земляков.

Баба разыскал телефон Тахери. Набрал номер. Прижал трубку к уху.

Сердце у меня так и прыгало.

— Джамиля-джан? Салам алейкум. — Баба представился. — Значительно лучше, спасибо. Благодарю вас, что зашли меня проведать. — Баба немножко помолчал. Кивнул. — Я этого не забуду. Генерал-сагиб дома? (Пауза.) Спасибо.

Баба бросил на меня косой взгляд. Ни с того ни с сего меня стал разбирать смех. Я сунул себе в рот кулак, только бы не прыснуть.

— Генерал-сагиб, салам алейкум. Да, мне куда лучше. Вы так любезны. Я звоню, чтобы спросить, сможете ли вы и ханум Тахери принять меня у себя завтра? У меня почетное поручение... Да... Одиннадцать часов подойдет. До свидания. *Хода хафез.*

Он повесил трубку, и мы с ним уставились друг на друга. Сдерживаемый мною смех наконец прорвался наружу. Баба расхохотался вслед за мной.

Смоченные волосы Баба зачесал назад. Я помог ему надеть белую рубашку и повязал галстук, воротничок болтался на исхудавшей шее, вдруг сделавшись велик сразу дюйма на два. Сердце у меня сжалось — одной ногой отец уже стоял в могиле. Как пусто будет в мире без него... Нет, прочь эти мысли. Ведь Баба еще жив. И день сегодня такой радостный, не

надо его омрачать.

Парадный коричневый костюм висел на отце как на вешалке — мне пришлось закатать у пиджака рукава, чтобы это не так бросалось в глаза. Шнурки на ботинках тоже завязывал я.

Генерал с женой и дочерью жил в одном из «афганских» районов Фримонта. Дом их был невысокий, одноэтажный, с эркерами и двускатной крышей. Крыльцо украшали горшки с геранью. Во дворе стоял серый микроавтобус.

Я помог Бабе выбраться из «форда» и опять уселся за руль. Баба наклонился ко мне:

— Будь дома. Я позвоню через часик.

— Хорошо. Удачи тебе.

Баба улыбнулся.

В зеркало заднего вида я наблюдал, как он неуверенной походкой ковыляет к крыльцу. Он шел выполнять отцовский долг. Последний.

В ожидании звонка я мерил шагами квартиру. Пятнадцать шагов в длину, десять с половиной в ширину.

А что, если генерал откажет? Если я ему не нравлюсь?

Комната — кухня. Комната — кухня. Сколько там на часах микроволновки? Долго еще ждать?

Телефон зазвонил около двенадцати. У аппарата был Баба.

— Ну, что?

— Генерал согласен.

Я облегченно вздохнул. Руки у меня тряслись.

— Слава богу!

— Но Сорая-джан пока у себя в комнате. Она хочет сперва поговорить с тобой.

— Я готов.

Баба кому-то что-то сказал. Послышался легкий щелчок.

— Амир? — Голос Сорай.

— Салам.

— Отец согласен.

— Знаю. — Я улыбался и потирал руки. — Я так счастлив. У меня просто нет слов.

— Я тоже счастлива, Амир. Не верится, что все это... на самом деле.

— Мне тоже.

— Только знаешь... Мне надо тебе рассказать что-то очень важное. Прямо сейчас.

— Это все не имеет никакого значения.

— Ты должен знать. Не годится, чтобы мы начинали с тайн. Будет лучше, если ты узнаешь обо всем от меня.

— Если тебе так легче, говори. Но это ничего не изменит.

Сорая помолчала.

— Когда мы жили в Вирджинии, я сбежала из дома с одним афганцем. Мне было восемнадцать... глупый бунт... а он сидел на наркотиках... Почти месяц мы прожили вместе. Мы были на языках у всех афганцев в Вирджинии. Падар в конце концов разыскал меня... Явился к нам и забрал меня домой. Я устроила истерику. Визжала. Рыдала. Кричала, что ненавижу его... Но когда я вернулась в семью... — Сорая всхлипнула, отложила трубку и высморкалась. — Извини. — В ее голосе появилась хрипотца. — Оказалось, у мамы был удар, парализовало правую сторону лица... Меня так мучила совесть. Она-то чем была

виновата? Вскоре после этого наша семья переехала в Калифорнию.

Сорая смолкла.

— И какие у тебя теперь отношения с отцом? — спросил я.

— Мы с ним не во всем сходимся, впрочем, у нас всегда были некоторые разногласия...

Но я благодарна ему за то, что он не дал мне погибнуть, спас меня. — Сорая снова примолкла. — Ты расстроился?

— Немножко.

Лгать я ей не мог.

Конечно, моя мужская гордость, *ифтихар*, была уязвлена: в ее жизни уже был мужчина, а я еще не ложился с женщиной. Но ведь прежде, чем попросить Бабу идти свататься, я столько раз обдумывал все это... И ответ мой был неизменен: я не вправе никого осуждать за грехи прошлого.

— Ты не передумал жениться на мне?

— Нет, Сорая. У меня и в мыслях не было. Я хочу взять тебя в жены.

В ответ Сорая разрыдалась.

А ведь я завидовал ей. Она поведала мне свою тайну. Ей больше нечего было скрывать. Я уже открыл было рот, чтобы рассказать ей, как я предал Хасана, как по моей вине он, оклеветанный, вынужден был оставить дом, где его отец прожил сорок лет, где слуг и хозяев связывала близкая дружба... Но мне не достало смелости. Во многих отношениях Сорая Тахери была лучше меня. И уж точно храбрее.

Церемония обручения *лафи* была назначена на следующий вечер. Когда мы подъехали к дому Тахери, я вынужден был припарковать свой «форд» на другой стороне улицы, потому что весь двор и подъезды к нему были забиты машинами. На мне был темно-синий костюм — я купил его накануне, когда отвез Бабу домой после сватовства.

Я посмотрел в зеркало заднего вида — проверил, правильно ли у меня завязан галстук.

— Ты сегодня хорошо выглядишь, — сказал Баба.

— Спасибо, отец. А сам-то ты как? Выдержишь?

— Ты еще спрашиваешь? Да сегодня счастливейший день моей жизни! — утомленно улыбнулся Баба.

Из дома доносился гомон множества голосов, смех, негромкая афганская музыка — по моему, классический *газель*^[29] в исполнении Устада Сараханга. Я нажал кнопку звонка. В окне прихожей шевельнулась занавеска, мелькнуло чье-то лицо и скрылось. «Это они!» — произнес женский голос. Шум стих. Музыка смолкла.

Дверь открыла ханум Тахери в элегантном черном платье ниже колен. Волосы завиты, на лице радость.

— Салям алейкум, — пролепетала она и тут же всхлипнула. — Видишь, Амир-джан, ты впервые в моем доме, а я уже плачу.

Я поцеловал ей руку — накануне Баба подробно наставлял меня, как себя вести.

Через ярко освещенную прихожую ханум провела меня в гостиную — мимо висящих на стенах фотографий людей, которые отныне будут мне родственниками. Юная ханум Тахери с пышной прической и генерал на фоне Ниагарского водопада. Ханум Тахери в легком платье и генерал в пиджаке с узкими лацканами. Сорая на американских горках, она смеется и машет рукой, от серебряных скобок на зубах расходятся лучики. Генерал при полном параде пожимает руку королю Иордании Хусейну. Портрет Захир-шаха.

Гостиная была битком — человек тридцать сидело на стульях, расставленных вдоль стен. Когда вошел Баба, все встали. Отец медленно двинулся по кругу, пожимая руки и приветствуя каждого гостя в отдельности; я следовал за ним. Баба и генерал — все в том же сером костюме — обнялись и похлопали друг друга по спине. «Салям» прозвучало негромко и с особым уважением.

Генерал подпустил меня на расстояние вытянутой руки и тонко улыбнулся, как бы желая сказать мне: вот теперь, бачем, все как полагается у добрых людей. Мы троекратно расцеловались.

Я и Баба сели рядом. Напротив расположились генерал с женой. Дыхание у Бабы участилось, то и дело он доставал носовой платок и вытирал пот со лба. Заметив мой беспокойный взгляд, Баба вымученно улыбнулся и чуть слышно прошептал: «Со мной все хорошо».

В соответствии с традицией, Сорая отсутствовала.

Пара вежливых фраз — и вот уже генерал откашливается. Все затихают. Генерал кивает Бабе.

Отец начинает говорить. Дыхания ему не хватает, и приходится прерываться посреди

фразы, чтобы набрать в грудь воздуха.

— Генерал-сагиб, ханум Джамиля-джан... мы с сыном сегодня смиренно... прибыли под ваш кров. Вы... достойнейшие люди... выходцы из выдающихся и прославленных семейств... для которых честь всегда была превыше всего. Выражаю... свое глубочайшее почтение... *ихтирам*... лично вам, членам... ваших семей и... вашим предкам. — Отец перевел дыхание и вытер лоб. — Амир — мой единственный ребенок... и он был мне хорошим сыном. Надеюсь, он покажет себя достойным... вашей доброты. Окажите честь Амир-джану и мне... примите его в свою семью.

Генерал вежливо наклонил голову.

— Это большая честь для нас — выдать дочь за сына такого человека, как вы, со столь безупречной репутацией. В Кабуле я был вашим горячим поклонником и остаюсь им по сей день. Соединение наших семей — великая радость для нас.

Что касается тебя, Амир-джан, супруг моей дочери, светоча моих очей, ты будешь мне сыном. Твоя боль да будет нашей болью, твоя радость да будет нашей радостью. Да будем мы, Хала Джамиля и я, вторыми родителями в твоих глазах и да будет ваша с Сораей жизнь исполнена счастья. Благословляем вас.

Все захлопали в ладоши и как по команде повернулись к двери. Долгожданная минута настала.

В традиционном афганском темно-красном платье с золотой отделкой Сорая появилась в гостиной. Баба сжал мне руку. Ханум Тахери заплакала. Сорая медленно подошла к нам, сопровождаемая целой свитой родственниц, поцеловала руку моему отцу и села, потупив глаза.

Грянули аплодисменты.

Пир в связи с помолвкой — *Ширини-хори*, Сладкую трапезу, — как принято, должна была дать семья Сораи. Через несколько месяцев следовала свадьба. Тут уж все расходы ложились на Бабу.

От Ширини-хори мы с Сораей сразу отказались, и все понимали почему, хоть и не высказывались на этот счет. Тянуть было нельзя, до свадьбы в положенные сроки Баба мог и не дожить.

Сорая и я никуда не выходили вдвоем, пока шли приготовления к свадьбе: мы ведь еще не были женаты, да и церемония обручения была смазана — Сладкая трапеза-то не состоялась. Все, что мне оставалось, — приходить в гости вместе с Бабой, сидеть за обеденным столом напротив Сораи и воображать, как она кладет голову мне на грудь, как я вдыхаю запах ее волос, целую и ласкаю ее.

Баба потратил на свадьбу целых тридцать пять тысяч долларов, сбережения чуть ли не всей жизни. Он снял во Фримонте огромный банкетный зал, принадлежащий одному афганцу, разумеется знакомому по Кабулу. Хозяин предоставил значительную скидку. Баба заплатил за обручальные кольца и за выбранное мною колечко с бриллиантом, купил мне смокинг и традиционный зеленый наряд для *ники* — обряда принесения клятвы брачующимися.

Из всех свадебных событий и хлопот — к счастью, организовывала все по большей части ханум Тахери с друзьями — память удержала немногое.

Помню нашу нiku. Мы сидим за столом — оба в зеленом, цвет Корана, но также цвет весны и новых начинаний. На мне костюм, на Сорае (единственной женщине из

присутствующих) — вуаль. С нами Баба, генерал (на этот раз в смокинге) и несколько дядюшек Сораи. Вид у всех самый что ни на есть торжественный. Мулла задает вопросы свидетелям и читает Коран. Мы произносим слова клятвы, подписываем бумаги. Дядюшка Сораи из Вирджинии, Шариф-джан, брат ханум Тахери, поднимается и прочищает горло. Сорая говорила мне, что он живет в США уже более двадцати лет, женат на американке и работает в службе иммиграции. К тому же он еще и поэт. Маленький человечек с птичьим лицом и пухом на голове читает длиннейшее стихотворение, посвященное Сорае. Почему-то оно написано на фирменной бумаге какой-то гостиницы.

— Вах, вах, Шариф-джан, — восклицают все, когда он заканчивает.

Помню, как мы медленно идем к сцене, сцепив руки. На этот раз я в смокинге, Сорая — в белом платье с вуалью. Рядом со мной мелкими шажками семенит Баба, генерал с женой следуют за своей дочерью. В зале полно дядюшек, тетушек и кузенов, они расступаются перед нами, бьют в ладоши, щелкают фотоаппаратами. Вспышки ослепляют нас. Сын Шариф-джана держит у нас над головами Коран. Из динамиков несется старинная «Аэста боро» — эту песенку распевал русский солдат на блокпосту в Магипаре, когда мы с Бабой бежали из Кабула:

*Пусть превратится утро в ключ и упадет в колодец,
Не торопись, красавица-луна, не торопись.
Пусть длится ночь и солнце не встает,
Не торопись, красавица-луна, не торопись.*

Помню, как мы, держась за руки, сидим на сцене на диване, словно на троне, и триста человек не сводят с нас глаз. Обряд именовался *Аена Масшаф*. Нам дали зеркало и набросили на нас покрывало, и мы остались как бы одни и смотрели на свои отражения, и никто нам не мешал. В зеркале мне улыбалась Сорая, и я, воспользовавшись символическим уединением, впервые шепнул, что люблю ее. Щеки ее вспыхнули.

Помню живописные блюда с кебабом *чопан* и оранжевым диким рисом. Помню Бабу, он сидит, улыбаясь, на диване между нами. Помню, как залитые потом мужчины танцевали традиционный *атан* — собравшись в круг, взявшись за руки, они скакали, и бежали, и вертелись все быстрее и быстрее, крутились все стремительнее, пока почти все не повалились на пол от изнеможения. Помню, как мне было жалко, что Рахим-хана нет с нами.

Интересно, а Хасан женился? Тогда чье лицо он созерцал в зеркале под покрывалом? Чьи выкрашенные хной руки касались его?

Около двух часов ночи гости покинули банкетный зал и отправились к нам на квартиру. Чай лился рекой и музыка гремела, пока соседи не вызвали полицию. До рассвета оставалось меньше часа, когда все наконец разошлись по домам.

Сорая и я впервые легли вместе. Всю мою жизнь я пребывал среди мужчин. В эту ночь я открыл для себя нежность женщины.

Сорая сама пожелала переехать к нам с Бабой.

— Я-то думал, ты будешь настаивать, чтобы мы с тобой жили вдвоем, — удивился я.

— И оставить Кэку-джана одного? Такого больного? — В глазах у Сораи плескалось возмущение.

Я поцеловал ее.

— Благодарю тебя.

Теперь все заботы о Бабе взяла на себя моя жена. Она поила его чаем по утрам, помогала лечь и встать, давала обезболивающее, стирала белье, регулярно читала вслух газеты (международный раздел). Она готовила ему его любимое блюдо — картофельную *шорву* (несколько ложек Баба еще мог проглотить) — и каждый день выводила на прогулку вокруг дома. Когда болезнь окончательно приковала отца к постели, Сорае сама переворачивала его с боку на бок, дабы не образовались пролежни.

Как-то я пришел домой пораньше — и успел заметить, как Сорае быстро спрятала что-то отцу под одеяло.

— А я все видел. Что это вы там вдвоем затеяли? — закричал я с порога.

— Ничего, — смущенно улыбнулась Сорае.

— Вруша. — Сунув руку в постель, я нашарил какой-то прямоугольный предмет. — Что это?

Но я уже и сам догадался. В руках у меня был блокнот в коричневой кожаной обложке, подаренный мне Рахим-ханом на тринадцатилетие.

Перед глазами встало ночное кабульское небо, разрываемое разноцветными сполохами фейерверка.

— Я и не знала, что ты так хорошо пишешь, — пролепетала Сорае.

Баба приподнял голову от подушки.

— Это я ей подсказал. Ты, надеюсь, не против?

Я сунул блокнот Сорае и пулей выскочил из комнаты. Ведь Баба терпеть не мог, когда я плакал.

Где-то через месяц после свадьбы тесть и теща, Шариф, его жена Сьюзи и пара-другая Сораиных тетушек наведались к нам в гости. Сорае приготовила *сабзи чалав* — белый рис с бараниной и шпинатом. После обеда мы пили зеленый чай и, разделившись на четверки, играли в карты. Сорае и я играли с Шарифом и Сьюзи за кофейным столиком. Баба лежал рядом на диване, следил за игрой, смотрел, как мы с Сораей сцепляем пальцы, как я поправляю ей непослушный завиток волос, и довольно улыбался про себя. Афганская ночь обнимала его, и тополя склонялись над ним, и звенели в саду сверчки.

Около полуночи отец попросил отвести его в постель. Мы с Сораей подставили с двух сторон плечи и сплели наши руки у него за спиной. Уже лежа в кровати, он попросил нас обоих нагнуться и по очереди поцеловал.

— Я сейчас принесу тебе таблетки и воду, — сказала Сорае.

— Сегодня не надо, — отозвался Баба. — Сегодня у меня ничего не болит.

— Хорошо, — согласилась она и поправила ему одеяло. — Спокойной ночи.

И Баба уснул.

И не проснулся.

Перед мечетью в Хэйворде все свободное пространство оказалось забито машинами — ближе чем за три квартала было не припарковаться.

У входа в мужскую часть храма — большую квадратную комнату, устланную афганскими коврами, — громоздилась целая гора обуви. Сотни людей сидели на тюфяках скрестив ноги и внимали мулле, нараспев читавшему в микрофон суры из Корана. Я сидел у самой двери,

как и полагается родственнику усопшего. Генерал Тахери расположился рядом со мной.

Через открытую дверь я видел подъезжающие машины. Из них выходили мужчины в темных костюмах, женщины в черных платьях, с головами, закутанными в традиционные белые хиджабы, и направлялись к мечети.

Под торжественные слова мне вспоминалась старая история, как Баба в Белуджистане боролся с гималайским медведем. Да и вся его жизнь была борьба, превратности судьбы наваливались на него зверем. Умерла обожаемая жена — изволь сам воспитывать сына. Покинул *ватан*, родину, — изволь сражаться с бедностью и унижаться. А тут еще и болезнь — вот противник не по силам. Только он и здесь поставил свои условия.

После каждой череды молитв все новые и новые люди выстраивались в очередь и приносили мне свои соболезнования. Я, как велит обычай, пожимал им руки (хотя многие лица были мне едва знакомы), печально улыбался, благодарил. Все они говорили о Бабе добрые слова:

— Он помог мне построить дом в Таймани...

— Да будет благословенна память о нем...

— Только он дал мне в долг...

— Он устроил на работу меня, чужого ему человека...

— Он был мне как брат...

В их глазах я был сын своего отца, не более. Ему, ему были обязаны люди, не мне. И вот он скончался. Кто теперь наставит меня на путь истинный? Как мне теперь жить без него?

Ужас проник мне в душу.

Казалось, погребение состоялось только что. Когда Бабу опускали в могилу на мусульманской части кладбища, мулла и какой-то другой человек затеяли яростный спор, какой именно аят из Корана полагается читать в этом случае, и, если бы не вмешался генерал Тахери, неизвестно, чем бы дело кончилось. Бросая яростные взгляды на противника, мулла прочел нужный стих. В могилу полетели первые комья земли. Не выдержав, я отошел в сторону и присел на скамейку под кленом.

И вот уже последний из явившихся почтить память покойного кланяется мне и выходит. Мечеть пуста. Мулла отсоединяет микрофон, накидывает на Коран зеленый покров. Генерал и я под палящими лучами солнца спускаемся по ступенькам. Разбившись на группы, люди курят, до меня долетают обрывки разговоров. На следующей неделе в Юнион-Сити состоится футбольный матч, в Санта-Кларе открылся новый афганский ресторан. Жизнь идет своим чередом. Только Бабы среди живых нет.

— Ну как ты, бачем? — заботливо осведомляется генерал.

Сжимаю зубы, стараясь сдержать слезы. Весь день душу рыдания, которые так и рвутся из груди.

— Мне бы увидеть Сораю, — выдавливаю с трудом.

— Хорошо.

Моя жена стоит на ступеньках женской части мечети. Рядом с ней теща и несколько дам, которых я вроде бы видел на свадьбе. Направляюсь к Сорае. Заметив меня, она что-то говорит матери и идет мне навстречу.

— Удобно будет, если мы отойдем? — спрашиваю я.

— Конечно. — Она берет меня за руку.

Мы в молчании проходим по посыпанной гравием извилистой дорожке вдоль кустов и садимся на скамейку. Невдалеке от нас пожилая пара опускается на колени и возлагает к

надгробию букет маргариток.

— Сора́я?

— Да?

— Как же я буду без него?

Она кладет свою ладонь мне на руку. Обручальное кольцо, купленное Бабой, блестит у нее на пальце.

Люди начинают разъезжаться. Скоро и мы уедем. Баба впервые останется один-одинешенек.

Сора́я обнимает меня.

Наконец-то я могу выплакаться.

Очень многое в образе жизни семьи Тахери мне пришлось узнавать «на ходу», после свадьбы. Будь у нас за плечами долгие месяцы помолвки, кое о чем я был бы уже наслышан. Так, оказалось, генерал страдает ужасными мигренями и порой на целую неделю запирается в своей комнате, где лежит без света, пока боль не минует. Беспокоить его, даже стучать в дверь при этом нельзя ни под каким видом. Когда приступ утихает, заспанный генерал с налитыми кровью глазами выходит к домашним в сером костюме. Сора́я шепнула мне, что, сколько она себя помнит, ханум Тахери и генерал спят в разных комнатах. За столом генерал иногда капризничает: ковырнет кусок курмы, поставленной перед ним женой, вздохнет и отодвинет. «Тебе приготовить что-нибудь другое?» — спрашивает ханум Тахери, но генерал уже угрюмо ест хлеб с луком и не удостоивает ее ответом. Сора́я сердится, а теща плачет. По словам Сора́и, генерал принимает антидепрессанты, а семью содержит на пособие. В США он даже не пытался трудоустроиться — ведь работу, соответствующую его прежней высокой должности, найти было заведомо невозможно. Блошиный рынок для генерала только хобби и возможность пообщаться с приятелями-афганцами. Тесть свято верит, что рано или поздно Афганистан будет освобожден, монархия восстановлена и его опять призовут на службу. И вот каждый день он надевает серый костюм и, поглядывая на карманные часы, ждет своей минуты.

Оказалось, ханум Тахери — которую я теперь называл Хала Джамиля — некогда была знаменита на весь Кабул своим прекрасным голосом. Хотя на сцене она и не выступала, но у нее был подлинный дар — она исполняла народные песни, газели, даже *рага*, которые обычно поют исключительно мужчины. Однако генерал (даром что любил музыку и собрал целую коллекцию дисков с афганскими и индийскими газелями) придерживался мнения, что пение — занятие если и не низкое, то уж во всяком случае недостойное его высокого чина, и в свое время взял с невесты слово, что на людях она выступать никогда не будет. Сора́я сказала мне, что мать хотела спеть на нашей свадьбе хотя бы один раз, но генерал так на нее глянул, что охота сразу прошла. Раз в неделю Хала Джамиля играет в лотерею, каждый вечер смотрит по телевизору шоу Джонни Карсона^[30] и целые дни проводит в саду, ухаживая за розами, геранью, вьюнками и орхидеями.

Как только я женился на Сора́е, цветы и Джонни Карсон отошли на задний план. Подлинной радостью ее жизни сделался я. Тестя-то я по-прежнему титуловал «генерал-сагиб» (он и не протестовал), а вот теща была со мной запросто и не делала тайны из того, как она меня обожает. Кому еще могла она поведать о своих недомоганиях, перечень которых был весьма обширен? Генерал-то просто пропускал мимо ушей все ее жалобы. Как говорила Сора́я, после кровоизлияния в мозг легкое сердцебиение представлялось матери

инфарктом, небольшое покалывание в суставах — началом ревматоидного артрита, а подергивание века — предвестником еще одного инсульта. Помню, теща впервые упомянула при мне, что у нее на шее выросла опухоль.

— Я не пойду завтра на занятия и отвезу вас к врачу, — предложил я.

Генерал сухо усмехнулся:

— Тогда освободи побольше места на своих книжных полках, бачем. История болезни твоей Халы вроде сочинений Руми: такая же многотомная.

Но дело было не только в том, что Хала Джамиля наконец обрела слушателя. Даже если бы я с ружьем в руках еженощно отправлялся на разбой, теща сохранила бы ко мне всю свою любовь. Ведь я снял камень у нее с души, пролил бальзам на раны: ее дочка вышла замуж за молодого человека из достойной семьи. Все большие огорчения остались в прошлом, у ее девочки есть муж и будут детишки.

Кстати, насчет прошлого. Сорая мне подробно рассказала, что случилось в Вирджинии.

Мы с ней были на свадьбе — дядя Шариф, который работал в службе иммиграции, выдавал сына за афганку из Ньюарка. Все происходило в том самом зале, где полгода назад мы играли нашу свадьбу. Из толпы гостей мы с Сорайей смотрели, как невеста принимает кольца от родителей жениха. Перед нами стояли две дамочки средних лет.

— Как мила невеста, — сказала одна из них другой. — Настоящая луна.

— Правда, — ответила ей подруга. — И чистая. Добродетельная. Никаких мужчин.

— Знаю. Этот юноша правильно сделал, что не женился на своей двоюродной.

По дороге домой Сорая разрыдалась. Я свернул к бордюру и остановился.

— Ну что ты, — гладил я жену по голове. — Кому какое дело?

— Какая ужасная несправедливость! — всхлипывала Сорая.

— Забудь.

— Их сыновья таскаются по бабам, имеют внебрачных детей, и все помалкивают, будто так и надо. Пусть мальчишки развлекаются! А я... Стоило мне один раз оступить, как у всех на языках уже *нанг* и *намус*, и я замарана до конца жизни.

Я смахнул слезинку у нее со щеки, чуть выше родинки.

— Я тебе не говорила... В тот вечер отец явился к нам с винтовкой в руках. Он сказал... тому парню... что в винтовке два патрона: один для любовника, а второй — для отца. Я кричала, обзывала отца всеми мыслимыми словами, вопила, что он не сможет меня запереть навсегда, что лучше бы он умер. — Слезы опять показались у нее на глазах. — Я так и выразилась: лучше бы он умер... Когда он привел меня домой, мама заплакала, обняла меня и все пыталась что-то сказать, только я никак не могла ее понять. После удара у нее плохо выговаривались слова. А отец отвел меня в мою спальню, усадил перед зеркалом, вручил ножницы и велел остричь волосы. И проследил, чтобы я выполнила приказание. Я несколько недель не выходила из дома. А когда вышла, меня повсюду сопровождал шепоток за спиной. Это было три года назад и за три тысячи миль отсюда. Но этот шепот по-прежнему меня преследует.

— Да черт с ними со всеми.

Сорая улыбнулась сквозь слезы.

— Рассказывая тебе обо всем этом по телефону в день, когда ты посватался ко мне, я была уверена, что ты откажешься от такой жены.

— Как ты могла подумать?

Сорая взяла меня за руку.

— Я так счастлива, что ты со мной. Ты совсем не такой, как другие афганцы.

— Давай не будем больше говорить на эту тему, ладно?

— Ладно.

Я поцеловал ее в щеку.

Почему это я другой, интересно? Может, потому, что в юности меня воспитывали мужчины и я не успел столкнуться с характерным порой для афганцев лицемерием по отношению к женщинам? А может, дело было в том, что Баба со своим свободомыслием и неприятием общепризнанных предрассудков был не похож на других отцов?

Да ведь и сам я пережил достаточно и прекрасно знал, что такое угрызения совести, — вот и не придавал прошлому Сораи большого значения.

Вскоре после смерти Бабы мы с Сорайей переехали в квартиру с одной ванной всего в паре кварталов от дома генерала и Халы Джамили. Для вящего уюта родители Сораи купили нам коричневый кожаный диван и набор фарфоровой посуды. От себя лично генерал подарил мне новенькую пишущую машинку «Ай-Би-Эм». В коробку с подарком была вложена записка на фарси.

Амир-джан,

Да будут тебе в помощь эти клавиши в ремесле сочинителя.

Генерал Икбал Тахери

Отцовский микроавтобус я продал и больше ни разу не появился на толкучке. Зато каждую пятницу я ездил на кладбище. Частенько на могиле уже лежал свежий букет — от Сораи.

Мы наслаждались размеренной семейной жизнью и ее маленькими радостями, уступали друг другу в мелочах. Она спала с правой стороны кровати, я — с левой. Она любила пышные подушки, я — жесткие. На завтрак она ела хлопья с молоком.

Летом меня приняли в университет штата в Сан-Хосе, специальность — английский язык. Я нанялся в охранники во вторую смену в мебельный магазин в Саннивейле. Работа была скучнейшая, но сэкономила массу времени. Когда в шесть часов вечера все отправлялись домой и штабеля упакованных в полиэтилен диванов окутывала тень, я брался за книги и занимался. Свой первый роман я тоже начал писать там.

На следующий год Сорая тоже поступила в университет Сан-Хосе, выбрав, к досаде отца, педагогику.

— Ты могла найти своим талантам лучшее применение, — сказал как-то за ужином генерал. — В школе она была круглая отличница, Амир-джан. Из такой умной девушки вышел бы отличный юрист или политолог. Иншалла, когда Афганистан обретет свободу, кому сочинять для страны новую Конституцию, как не тебе? Молодые, талантливые и образованные будут нарасхват. Тебе даже могут предложить министерский пост, учитывая, из какой ты семьи.

— Я уже не девушка, *надар*, — сдержанно произнесла Сорая. — Я — замужняя женщина. К тому же учителя тоже понадобятся нашей стране.

— Учителем может стать любой.

— Положи мне риса, *мадар*, — попросила Сорая.

Генерал с извинениями встал из-за стола:

— Вынужден вас покинуть. У меня в Хэйворде встреча с друзьями.

Когда тесть удалился, Хала Джамиля принялась урезонивать дочь:

— Он ведь хочет, как лучше. Хорошее образование — верный путь к успеху.

— Он просто хочет похвастаться перед друзьями дочерью-адвокатом. Вот, дескать, какой молодец у нас генерал!

— Что за ерунда!

— Успех! — прошипела Сора. — Я — не то что он, я не сижу сложа руки, предоставив другим сражаться с шурави, и не жду, когда все успокоится, чтобы занять удобное правительственное кресло. Учителям, может быть, не так много платят, но это мое призвание. И кстати, работать в школе куда лучше, чем жить на пособие!

— Услышь он тебя сейчас, слова бы с тобой не вымолвил во всю оставшуюся жизнь.

— Не волнуйся. — Сора нервно комкала салфетку. — Его самолюбие не пострадает.

Летом 1988 года, за полгода до вывода советских войск из Афганистана, я закончил свой первый роман. Действие его происходило в Кабуле, сюжет вертелся вокруг взаимоотношений отца и сына. Пишущая машинка — подарок генерала — очень мне пригодилась. Я разослал заявки в десяток литературных агентств и был просто ошеломлен, когда в августе получил ответ. Одно агентство из Нью-Йорка просило прислать полный текст. Рукопись я отправил на следующий же день, Сора поцеловала заботливо упакованные страницы, а Хала Джамиля настояла на том, чтобы возложить на них Коран, и дала обет совершить *назр* в мою честь (то есть заколоть барана и раздать мясо бедным), если книгу издадут.

— Только не назр, прошу вас, Хала-джан. — Я поцеловал ее в щеку. — Хватит и закята. Можно просто дать деньги нуждающимся. Не надо убивать овцу.

Через шесть недель мне позвонил из Нью-Йорка человек по имени Мартин Гринволт и сообщил, что берется представлять мои интересы. Об этом я рассказал только Соре.

— Только учти: хотя у меня теперь есть свой литературный агент, это еще не значит, что меня опубликуют. Мартин продаст роман, вот тогда и отпразднуем.

Через месяц позвонил Мартин с известием, что публикация не за горами. Сора чуть не заплакала от восторга, когда узнала об этом.

Мы пригласили на торжественный ужин тестя и тещу. Хала Джамиля приготовила *кофта* — мясные шарики с рисом — и *ферни*. Генерал со слезами на глазах сказал, что гордится мной. Когда родители жены удалились, мы откупорили бутылку дорогого мерло. Генерал не одобрял, когда женщины пили вино, и Сора никогда не пила в его присутствии.

— Я так рада за тебя, — подняла свой бокал Сора. — Кэка тоже бы порадовался.

— Знаю, — сказал я.

Как мне хотелось, чтобы отец был сейчас с нами!

Сора уснула — вино всегда нагоняло на нее сонливость, а я вышел на балкон подышать холодным осенним воздухом. Мне припомнились теплые ободряющие слова, которые написал мне Рахим-хан, когда прочел мой первый рассказ. Мне вспомнился Хасан: «Когда-нибудь, Иншалла, ты будешь великим писателем, твои рассказы будут читать люди во всем мире».

Как великодушна ко мне судьба, подарившая такое счастье! Только вот заслуживаю ли я его?

Книга вышла летом следующего, 1989, года, и издательство отправило меня в рекламную поездку по пяти городам. Среди американских афганцев я сделался чуть ли не

знаменитостью. В том же году шурави окончательно вывели свои войска из Афганистана. Но время славы для моей родины не настало — война разгорелась с новой силой, на этот раз между моджахедами и марионеточным правительством Наджибуллы. Поток беженцев в Пакистан не уменьшился. В этот же год закончилась холодная война, пала Берлинская стена и пролилась кровь на площади Тянанмынь. На фоне таких событий Афганистан как-то отошел на второй план, возродившиеся было надежды генерала Тахери угасли, и карманные часы опять явились на сцену.

А мы с Сораей начали всерьез подумывать о ребенке.

Сама мысль о том, что я когда-нибудь стану отцом, вызывала во мне целый вихрь чувств. Здесь были страх и воодушевление, уныние и радость, все вместе. Что за отец из меня получится? Такой, как Баба? Хорошо бы. Хотя нет, не дай бог.

Прошел год, а Сорая не беременела. Каждый месяц нес с собой очередные ожидания, а вслед за ними неизменно наступало разочарование. Сорая впадала в уныние, становилась нетерпеливой и раздражительной. Тонкие намеки Халы Джамили давно уже канули в прошлое. Теперь теща спрашивала открыто: «Ну так что? Когда я смогу возблагодарить Господа за своего маленького внука?» Генерал подобных вопросов — с его точки зрения, неприличных — никогда не задавал, но и его глаза как-то оживлялись, стоило Хале Джамиле завести разговор насчет ребенка.

— Дай срок, и все получится, — сказал я как-то Сорае.

— Срок? Целый год прошел, Амир! — Голос у моей жены дрожал. — Что-то у нас с тобой не так, я знаю.

— Тогда идем к доктору.

Доктор Розен, пухлый человек с меленькими ровными зубками, говорил по-английски с легким акцентом, в котором проскальзывало нечто восточноевропейское, пожалуй славянское. Его страстью были поезда — полки в кабинете были забиты книгами по истории железных дорог, всюду расставлены модели паровозов, на стенах висели картины, где составы мчались вдаль по высоким мостам мимо зеленых склонов, а над столом красовался девиз: ЖИЗНЬ — ЭТО ПОЕЗД, ЗАЙМИ СВОЕ МЕСТО.

Перед нами он развернул целый план действий. Сперва обследование пройду я.

— Мужчины проще устроены, — заявил доктор, барабаня пальцами по столешнице красного дерева. — У мужчины что мочеполовая, что голова... Все понятно, никаких тебе закавык. А вот дамы — другое дело. Господь Бог немножко перемудрил с вашим организмом.

Интересно, он всем своим пациентам вворачивает насчет этой самой «мочеполовой»?

— Как нам, оказывается, повезло! — саркастически произнесла Сорая.

Доктор неестественно засмеялся и вручил мне пластиковую банку, а Сорае — направление на стандартный анализ крови. Мы обменялись рукопожатием.

— Занимайте свои места, — напутствовал нас врач.

Все обследования я прошел «на ура».

А вот на Сораю обрушилась целая лавина разных лабораторных мучений: базальная температура тела, моча на все что угодно, кровь на все мыслимые гормоны, нечто, именуемое «мазок из шейки матки», и опять кровь, и снова моча. Сорае пришлось пройти

«гистероскопию»: доктор Розен вставил ей в матку телескоп и все тщательно осмотрел.

— Мочеполовая чистая, — констатировал он, сдирая с рук резиновые перчатки.

Провалиться тебе с твоей «мочеполовой»!

Долго ли, коротко, но все исследования были проделаны, процедуры соблюдены, и доктор объяснил нам, что ребенка-то мы зачать не можем, а почему — непонятно. И это довольно-таки распространенное явление. «Необъяснимое бесплодие» называется.

И к нам стали применять разные терапевтические методы. Лекарство называлось «Кломифен», мы пили его на пару. Сора́я прошла курс инъекций пролана «А». Когда это не помогло, доктор Розен порекомендовал нам искусственное оплодотворение. На этот счет мы получили вежливое письмо из местной «Организации поддержки здравоохранения», которая желала нам всего наилучшего и печально констатировала, что не в состоянии оплатить расходы.

Тогда на экстракорпоральное оплодотворение был потрачен аванс, который я получил за роман. Процесс оказался длительным, сложным, нудным и ни к чему не привел. Убив многие месяцы на высиживание в приемных и чтение журналов вроде «Домашнего очага» и «Ридерс дайджест», на снятие-надевание бумажных одноразовых халатов и долгое пребывание в ледяных смотровых кабинетах под ярким светом неоновых ламп, на унизительно подробные разговоры с совершенно посторонними людьми о нашей сексуальной жизни, на уколы, мазки и баночки для мочи, мы вернулись к доктору Розену с его поездками.

Дело было в марте 1991 года.

Доктор побарабанил пальцами по столу и в первый раз произнес слово «усыновление».

Всю дорогу домой Сора́я проплакала.

В конце недели мы отправились в гости к родителям жены и рассказали им последние новости.

Разговор происходил на заднем дворе. Мы сидели на раскладных стульях и в ожидании, пока на решетке зажарится форель, попивали йогурт *дуг*. Хала Джамиля только что полила свои розы и недавно посаженную жимолость, аромат цветов смешивался с чадом рыбы. Теща то и дело наклонялась к Сорае, гладила дочь по голове и повторяла:

— Все в руках Господа, бачем. Может быть, все еще уложится.

Сора́я даже не поднимала на нее глаза. Вид у жены был измученный.

— Врач сказал, мы можем усыновить ребенка, — пробормотал я.

При этих словах генерал беспокойно пошевелился и прикрыл гриль крышкой.

— Это доктор так выразился?

— Он сказал, это один из вариантов, — пояснила Сора́я.

Мы с ней уже говорили об усыновлении и дома, и в машине по пути сюда.

— Знаю, это глупо и без смысла, — сказала мне Сора́я, — но я ничего не могу с собой поделать. Я всегда мечтала, как возьму на руки существо, в жилах которого девять месяцев текла моя кровь, и однажды с удивлением и испугом узнаю в его глазах, в его улыбке себя или тебя. А без этого... я не права, да?

— Нет, все верно.

— Это очень эгоистично с моей стороны?

— Вовсе нет.

— Потому что если ты настаиваешь...

— Даже не собираюсь. Какое может быть усыновление, если мы сами сомневаемся?

Разве мы сможем полюбить чужого ребенка?

Сорая прижалась щекой к боковому стеклу и молчала до самого дома родителей.

Теперь за дело взялся генерал.

— Бачем... это усыновление... не для нас, афганцев.

Сорая устало посмотрела на меня и вздохнула.

— Во-первых, ребенок вырастет и захочет узнать, кто его настоящие родители, — продолжал тесть. — И нельзя его за это осуждать. Порой они уходят из дома, где их вырастили, на поиски тех, кто дал им жизнь. Голос крови — страшная сила, бачем, не надо об этом забывать.

— Я не хочу больше об этом говорить, — сухо произнесла Сорая.

— Я буду краток. — Судя по взволнованному тону, генерал нацелился на небольшую речь. — Вот возьми хотя бы Амир-джана. Все мы прекрасно знали его отца, я был наслышан про его деда и прадеда, да что там, вся его родословная налицо. Потому-то, когда его отец — да покоится он с миром — пришел сватать сына, я не колебался ни секунды. И, поверь мне, его отец не стал бы просить твоей руки, если бы не знал, кто были твои предки. Кровь — могучая сила, сила, бачем, и вы не знаете, чью кровь принесет в ваш дом усыновленный. Для американцев все это неважно — они женятся по любви и не принимают в расчет ни доброго имени семьи, ни происхождения. Им легко брать в семью чужих детей. Ребенок здоров — и слава богу. Но мы-то не американцы, бачем.

— Наверное, рыба уже готова, — сказала Сорая.

Генерал остановил на ней свой взор и потрепал по коленке:

— Радуйся, что у тебя хорошее здоровье и хороший муж.

— А ты что скажешь, Амир-джан? — спросила Хала Джамиля.

Я поставил свой стакан на оконный карниз к горшкам с геранью.

— Я, пожалуй, соглашусь с генерал-сагибом.

Тесть величественно наклонил голову и направился к грилю.

И Сорая, и генерал высказывались против усыновления. Мне тоже был не по душе приемный ребенок, хотя и по своим причинам. Как видно, судьба надумала лишить меня радости отцовства за прегрешения. Как я мог противиться справедливому приговору?

— Может быть, все еще утрясется, — говорила Хала Джамиля.

А может, уже утряслось. Только не в мою пользу.

Через несколько месяцев весь мой аванс за второй роман ушел на первый взнос за дом. Хоромы с двумя спальнями, возведенные еще в викторианские времена, находились в Сан-Франциско (район Бернал-Хайтс). Остроконечная крыша, паркетный пол, крошечный дворик с деревянным помостом и пожарным колодцем... Генерал помог мне покрыть лаком помост и покрасить стены. Хала Джамиля причитала, что до нас теперь добираться больше часа, а ведь ее любовь и поддержка так нужны Сорае. Ей и в голову не приходило, что чрезмерная материнская любовь и опека и заставили дочь поселиться подальше.

Ночью, лежа с открытыми глазами рядом с мирно посапывающей Сораей, я слушал, как поскрипывает на сквозняке входная дверь, как стрекочут во дворе сверчки, и остро чувствовал всю пустоту бездетности. Она теперь всегда была с нами, в грусти и в веселье, даже любовные ласки были пропитаны ею. А уж поздней ночью она просто лежала между нами.

Совсем как грудной младенец.

Июнь 2001 года

Я положил телефонную трубку на аппарат и застыл. Только когда Афлатун неожиданно гавкнул, я понял, как тихо вдруг стало в доме. Это Сорая выключила звук у телевизора.

— Ты какой-то бледный, Амир.

Жена, прикрыв ноги одеялом, полулежала на диване (нам его еще ее родители подарили), голова Афлатуна покоилась у нее на груди. Одним глазом Сорая смотрела выпуск новостей, другим проверяла сочинения учеников, которым назначили дополнительные летние занятия, — в этой школе она работала уже шестой год. Спихнув собаку, жена села. Афлатуном нашего кокер-спаниеля назвал генерал (так на фарси звучит имя древнегреческого философа Платона). Тесть уверял: в черных блестящих глазах пса сокрыта бездна мудрости. Если, конечно, присмотреться.

За прошедшие десять лет лицо у жены слегка располнело, появился намек на второй подбородок, бедра немного расплылись, в иссиня-черных волосах показалась седина. Но она оставалась принцессой. Нос с легкой горбинкой, изысканной, словно старинные арабские письмена, брови, будто два крыла, были все те же.

— Ты какой-то бледный, — повторила Сорая, выравнивая стопку тетрадей на столе.

— Мне придется съездить в Пакистан.

Она распрямилась:

— В Пакистан?

— Рахим-хан очень болен. — Словно ледяные пальцы стиснули мне сердце при этих словах.

— Друг и партнер Кэка-джана?

Сорая и Рахим-хан никогда не встречались, но я много рассказывал ей о нем.

Я кивнул.

— Сочувствую тебе, Амир.

— Мы были очень близки. Единственный мой друг среди взрослых.

И я описал Сорае, как Баба и Рахим-хан пили чай в кабинете и как потом курили у окна, а легкий ветерок, насыщенный ароматом роз, играл с сигаретным дымом.

— Ты когда-то уже мне это рассказывал, — вспомнила Сорая. — Ты надолго уедешь?

— Не знаю. Он хочет меня видеть.

— А как насчет...

— Никакой опасности нет. Все будет хорошо.

За пятнадцать лет супружества мы научились предугадывать вопросы друг друга.

— Пойду прогуляюсь.

— Пойти с тобой?

— Не стоит. Мне надо побыть одному.

Я подъехал к парку «Золотые Ворота», вышел из машины и зашагал вдоль озера Спрекелс у северной границы парка. Едва перевалило за полдень, солнечные блики сверкали на

поверхности озера, по воде пробегала легкая рябь. Ветерок раздувал паруса игрушечных корабликов. Я присел на скамейку. Неподалеку счастливый отец обучал сына основным приемам работы с мячом в футболе, особо упирая на то, чтобы руки не участвовали. Над ветряными мельницами плыла пара красных воздушных змеев, их длинные голубые хвосты полоскались в воздухе.

Я старался переварить слова, которыми Рахим-хан закончил разговор, закрывал глаза и видел его у телефона на том конце длиннейшего кабеля, видел его наклоненную набок голову и слегка приоткрытый рот. Теперь я знал тайну, укрытую в его бездонных черных глазах. Мои многолетние подозрения подтвердились. Рахим-хану давным-давно было известно все: и про Асефа, и про воздушного змея, и про подброшенные деньги, и про часы со стрелками в виде молний.

«Тебе выпала возможность снова встать на стезю добродетели» — такими словами Рахим-хан закончил разговор. Он произнес их легким тоном, как нечто само собой разумеющееся.

На стезю добродетели.

Когда я вернулся домой, Сорая говорила по телефону:

— Это ведь ненадолго, мадар-джан. Неделя-другая... Да, ты и падар можете перебраться ко мне.

Два года назад у генерала случился перелом бедра. После приступа мигрени он, чуть живой, выходил из своей комнаты и споткнулся о задравшийся ковер. На крик из кухни прибежала Хала Джамиля. «Звук был такой, словно деревянная швабра сломалась пополам», — любила повторять она, хотя доктор сразу подверг ее слова сомнению, как она могла это услышать? Сломанное бедро и все связанные с переломом осложнения — пневмония, заражение крови, длительное пребывание под опекой медсестер — заставили Халу Джамилю позабыть о собственных болячках. Зато теперь недомогания мужа не сходили у нее с уст, и она с каждым готова была поделиться мнением врачей насчет почечной недостаточности у супруга. «Только что они понимают в афганских почках?» — неизменно добавляла она с гордостью. И еще: пока генерал лежал в больнице, Хала Джамиля дожидалась, когда муж заснет, и пела ему песни, те самые, что некогда передавали по радио в Кабуле.

Болезнь (и время) смягчили отношения между тестем и Сорайей. Отец и дочь теперь вместе ходили на прогулки, вместе обедали по субботам. Генерал даже захаживал иногда к ней на урок. Сядет в своем сером костюме за последнюю парту и что-то записывает.

В ту ночь Сорая спала, отвернувшись от меня, а я прятал лицо у нее в волосах. Когда-то мы спали лицом к лицу, целовались и шептали друг другу ласковые слова, пока сон не смежит веки. Мы и сейчас порой шептались на сон грядущий, только речь теперь шла о школе, о моем новом романе, о чьем-нибудь дурацком наряде на торжественном событии. Мы регулярно занимались любовью, и нам было хорошо друг с другом, а иногда запредельно хорошо. Правда, зачать ребенка так и не удалось, и порой чувство скорби и тщетности всех усилий отравляло минуты любви. В такие ночи мы поворачивались друг к другу спиной и искали забвения. Для Сорайи таким забвением был сон, для меня — как всегда, книга.

В ту ночь я смотрел на серебряные лунные блики на стене и думал о Рахим-хане. Перед самым рассветом мне удалось наконец уснуть, и я увидел Хасана, он бежал передо мной, и

нижний край зеленого чапана волочился за ним, и снег скрипел под его черными резиновыми сапогами. На бегу он обернулся и крикнул мне:

— Для тебя хоть тысячу раз подряд!

Через неделю я сидел у окна самолета Пакистанских международных авиалиний и смотрел, как техники убирают тормозные башмаки из-под колес шасси. Самолет взмыл в воздух и пронзил облака. Я прислонился головой к стеклу иллюминатора и попытался заснуть. Но сон ко мне не пришел.

Потертое заднее сиденье такси. Не прошло и трех часов, как мой самолет приземлился в Пешаваре. Таксист Голам, маленький потный человечек с сигаретой в зубах, лихо вертит баранку и говорит не замолкая:

— ...просто ужас, что творится в твоей стране, *яр*. Афганцы и пакистанцы — братья, это точно. Мусульмане всегда помогут мусульманам...

Желая переменить тему, я заговорил об окрестностях, по которым мы проезжали, и водитель затих, только согласно кивал. Я хорошо помнил Пешавар по 1981 году. Сейчас мы катили на запад по шоссе Джамруд мимо военного городка. Замелькали запруженные народом улицы, чем-то напомнившие мне Кабул, в особенности *Кочен-Морга*, Куриный базар, где мы с Хасаном покупали картошку с соусом и вишневую воду. Велосипедисты, рикши, пешеходы, спешащие по своим делам, и празднующие зеваки густо заполняли узкие улочки и переулки. Бородатые торговцы наперебой предлагали кожаные абажуры, ковры, вышитые шали и бронзовую утварь. Стоял страшный шум, крики продавцов смешивались со звуками индийской музыки, с тархтением моторикш, со звоном колокольчиков на сбруе лошадей, запряженных в коляски. В открытое окно машины волнами вливались густые запахи, от изысканных благоуханий до мерзкого зловония, от пряного аромата пакоры и *нихари*^[31] (любимых блюд Бабы), смешанного с выхлопными газами, до смрада фекалий.

За красно-кирпичными зданиями Пешаварского университета начинался район, который словоохотливый Голам назвал «афганским кварталом». Лотки со сладостями, с кебабами, грязные дети, торгующие сигаретами, крошечные ресторанчики с картами Афганистана в окнах, конторы менял...

— Здесь много твоих братьев, *яр*. Кое-кто открыл свое дело, но большинство живет в ужасной бедности. — Таксист поцокал языком. — Мы уже почти приехали.

Мне припомнилась наша последняя встреча с Рахим-ханом в 1981 году. Он пришел попрощаться с нами накануне нашего бегства из Кабула. Помню, как Баба и Рахим-хан со слезами на глазах обнимались. Когда мы переехали в США, Баба и Рахим-хан не теряли связи друг с другом, несколько раз в год разговаривали по телефону, а порой Баба передавал трубку мне. Последний раз я говорил с Рахим-ханом вскоре после смерти Бабы. Известие достигло Кабула, и Рахим-хан позвонил нам. Разговор наш не занял и нескольких минут — связь прервалась.

Такси остановилось у скромного здания на оживленном перекрестке. Я расплатился с водителем, подхватил единственный свой чемодан и подошел к входной двери, украшенной затейливой резьбой. На многочисленных балконах сушилось белье. По скрипучей лестнице я поднялся на третий этаж и прошел по темному коридору к последней двери по правой стороне. Еще раз взглянув на бумажку с адресом, постучал.

Дверь мне открыл скелет, обтянутый кожей, в котором невозможно было узнать Рахим-хана.

Преподаватель, ведущий семинар по литературному мастерству в университете Сан-Хосе, говорил про избитые выражения: «Бойтесь их как чумы» — и смеялся собственной

шутке. Студенты хохотали вслед за ним, но мне почему-то всегда казалось, что он несправедлив к литературным клише. Порой бывает, что точнее штампа не выразишься. Возьмите хоть выражение «сердце кровью облилось». Оно лучше всего отражает пронзительную жалость, охватившую меня, стоило мне после долгой разлуки увидеть Рахим-хана.

Мы сели на тонкие тюфяки, уложенные вдоль стены. Окно, выходящее на шумную улицу, оказалось напротив нас. Солнечные лучи клином падали на афганский ковер на полу. Еще по углам стояли два складных стула и жестяной самовар. Из него я налил нам чаю.

— Как ты меня разыскал? — спросил я.

— Найти человека в Америке легко. Северная Калифорния, крупный город, — этого достаточно. Вот ты уже и взрослый. Как странно.

Я улыбнулся и положил себе в чашку три кусочка сахара. Рахим-хан всегда пил горький черный чай, это я помнил.

— Тогда, после смерти отца, я не успел тебе сказать, только я уже пятнадцать лет как женат.

А Баба забыл сообщить об этом лучшему другу. Когда метастазы перекинулись в мозг, у него стало нехорошо с памятью.

— Женат? На ком?

— Ее зовут Сорая Тахери.

Беспокоится обо мне, наверное. Хорошо хоть, она сейчас не одна.

— Тахери... Кто ее отец?

Я сказал. Лицо у Рахим-хана прояснилось.

— Ну да. Теперь я вспомнил. Генерал Тахери женился на сестре Шариф-джана. Как ее звали...

— Джамия-джан.

— Бали! Я знал Шариф-джана по Кабулу. Давным-давно, еще до его отъезда в Америку.

— Он долгие годы работает в службе иммиграции, помог многим афганцам.

— А у вас с Сорайей дети есть?

— Нет.

— Извини.

Рахим-хан отхлебнул чаю и больше не задавал вопросов на эту тему. Он был очень чуткий и тактичный человек.

Я рассказал ему о Бабе, о его работе, о поездках на толкучку, о его смиренной кончине. Рассказал о своей учебе в колледже и университете, о своих книгах — я уже мог похвастаться четырьмя опубликованными романами. Рахим-хан улыбнулся:

— Я в этом никогда не сомневался.

— Свои первые рассказы я записывал в коричневый блокнот, который ты мне подарил.

— Не помню блокнота, — медленно ответил Рахим-хан.

Разговор неизбежно свернул на движение Талибан,^[32] дорвавшееся до власти в Афганистане.

— Все действительно так плохо, как говорят? — спросил я.

— Куда хуже, — ответил Рахим-хан. — Они не считают тебя за человека. — Он указал на шрам у себя над правой бровью: — Это я сходил на стадион «Гази» на футбольный матч. Кабул играл с Мазари-Шарифом, по-моему. Футболистам, кстати, запретили выступать в трусах, чтобы не оскорбляли нравственность. — Рахим-хан горько усмехнулся. — В общем,

Кабул забил гол, и сидящий рядом со мной человек громко закричал от радости. Тут же явился страж порядка с лицом, заросшим щетиной (мальчишка еще, на вид лет восемнадцать), и стукнул меня по голове прикладом своего калашникова. «Еще раз заорешь, я тебе язык вырву, старый осел!» — Рахим-хан потер шрам узловатым пальцем. — Я в деды ему годился! Кровь заливала мне лицо, а я еще извинялся перед этим собачьим сыном!

Я налил ему чаю, и Рахим-хан рассказал мне еще кое-что. О многом я уже слышал раньше. По договоренности с Бабой он с 1981 года жил в нашем доме — незадолго до того, как мы бежали из Кабула, Баба «продал» ему особняк. Отец считал, что лихолетье в Афганистане рано или поздно закончится и все вернется — и пиры, и пикники. А пока Рахим-хан присмотрит за домом.

Мой старый друг рассказал, что во время пребывания в Кабуле в 1992–1996 годах войск Объединенного исламского национального фронта спасения Афганистана (Северного альянса) за каждой группировкой числился свой район.

— Если ты отправился в Шаринау из Карте-Парвана купить ковер, тебя мог застрелить снайпер или разорвать на части снаряд. И это еще если ты благополучно прошел через все блокпосты. Для того чтобы попасть из одного округа в другой, требовалась чуть ли не виза. Все попрятались по домам и молились только, чтобы в жилище не угодила ракета. Люди делали проломы в стенах, чтобы перейти с улицы на улицу, минуя опасные места. Даже рыли туннели под землей.

— Почему же ты не уехал? — с недоумением спросил я.

— Кабул — мой дом, — усмехнулся Рахим-хан. — Помнишь улицу, которая вела к казармам и школе «Истикляль»?

— Да.

Это была кратчайшая дорога к школе. Как-то мы с Хасаном напоролись у казарм на солдата, который принялся оскорблять его мать. Хасан потом плакал в кино, и я обнимал его за плечи.

— Когда Талибан вышиб Альянс из Кабула, я вместе с другими танцевал на этой улице. Танцующих было много, поверь мне. Все приветствовали войска Талибана, забирались на танки, фотографировались. Людям до того надоела война, вечная стрельба на улицах, взрывы, молодчики Гульбеддина,^[33] открывающие огонь по всему, что движется... Альянс принес Кабулу больше разрушений, чем шурави. Кстати, знаешь ли ты, что приют для сирот, выстроенный твоим отцом, превращен в развалины?

— Но почему? — поразился я. — Зачем им понадобилось разрушать детский приют?

Вот я сижу рядом с Бабой на торжественном открытии, ветер сдувает с его головы каракулеву шапку, все смеются, а потом, когда он заканчивает свою речь, встают и долго аплодируют... Теперь дом превращен в кучу щебня. А ведь Баба тратил деньги, потел над чертежами, безвылазно торчал на стройплощадке, чтобы каждый кирпич, каждая балка были уложены как надо...

— Им было все равно, приют — не приют, крушили-то все подряд. Ты представления не имеешь, Амир-джан, какое ужасное зрелище представляли собой развалины с клочьями детских тел там и тут...

— Так, значит, когда пришел Талибан...

— То их встретили как героев.

— Ведь настал мир наконец.

— Да, надежда — штука странная. Пришел мир. Но какой ценой!

Страшный приступ кашля сотряс Рахим-хана, заставив его тело извиваться в судорогах. Прижатый в губам платок моментально окрасился в алый цвет.

Жалость сдавила мне горло.

— Ты серьезно болен? Только откровенно.

— Я при смерти, — пробулькал в ответ Рахим-хан и зашелся в кашле. Еще немного крови расплылось на платке. Рахим-хан вытер со лба пот и печально посмотрел на меня. — Недолго осталось.

— Сколько?

Он пожал плечами и опять закашлялся.

— До конца лета, пожалуй, не дотяну.

— Поехали со мной. Я найду тебе хорошего врача. Есть новые методы лечения, сильнодействующие лекарства. У медицины колоссальные успехи. — Я говорил быстро и сбивчиво, только бы не расплакаться.

Рахим-хан засмеялся, обнаружив отсутствие нескольких передних зубов. Не дай мне бог еще раз услышать такой смех.

— Ты стал совсем американец. Это хорошо, ведь именно оптимизм сделал Америку великой. А мы, афганцы, меланхолики. Любим погоревать, пожалеть себя. *Зендаги мигозара*, жизнь продолжается, говорим мы с грустью. Но я-то не привык уступать судьбе, я — прагматик. Я был здесь у хороших врачей, и ответ у всех один и тот же. Я им доверяю. Есть ведь на свете Божья воля.

— Все в твоих руках, — возразил я.

Рахим-хан усмехнулся:

— То же самое сказал бы сейчас твой отец. Такое горе, что его нет рядом. Но Божья воля существует, Амир-джан. И никуда от нее не денешься.

Он помолчал.

— Кроме того, я пригласил тебя сюда, не только чтобы попрощаться. Есть и другая причина.

— Какая?

— Как ты знаешь, все эти годы я жил в доме твоего отца.

— Да.

— Я жил не один. Со мной был Хасан.

— Хасан.

Давно не произносил я этого имени. Вместе с ним вмиг ожили терзавшие меня давние угрызения совести. Воздух в комнате Рахим-хана внезапно сгустился, стало жарко, и запах улицы сделался невыносим.

— Я хотел написать тебе обо всем раньше, но не был уверен, захочешь ли ты об этом знать. Я поступил неправильно?

Сказать «да» — значит солгать. Сказать «нет» — значит приоткрыть правду. Я выбрал серединку.

— Не знаю.

Рахим-хана скрутил кашель, и он опустил голову, отхаркивая мокроту. Вся лысина у него была в язвочках.

— Я вызвал тебя сюда, чтобы кое о чем попросить. Но прежде чем обратиться к тебе с просьбой, хочу рассказать тебе про Хасана. Понимаешь?

— Да, — пробормотал я.

— Хочу рассказать тебе о нем, поведать все. Ты слушаешь?

Я кивнул.

Рахим-хан глотнул чая, привалился к стене и начал свой рассказ.

На поиски Хасана в Хазараджат в 1986 году я отправился по целому ряду причин, главной из которых, да простит меня Аллах, было одиночество. К тому времени большинство моих друзей и знакомых либо были убиты, либо бежали из страны в Пакистан и Иран. В городе, в котором я прожил всю жизнь, мне не с кем стало словом перекинуться. Дойду до Карте-Парвана, до того места, где в старые времена собирались торговцы дынями, — помнишь? — и ни одного знакомого лица. Никто тебе не поклонится, не с кем выпить чаю, не с кем поболтать — одни русские патрули. В конце концов я перестал выходить из дома, сидел в кабинете, читал книги твоей матушки, слушал новости, смотрел коммунистическую пропаганду по телевизору, совершал намаз, готовил, ел, опять молился и ложился спать. И так изо дня в день.

А вот работать по дому с моим артритом становилось все тяжелее. Боль в коленях и пояснице не утихала ни на минуту, по утрам я с трудом мог пошевелиться, особенно зимой. А я не мог допустить, Амир-джан, чтобы особняк твоего отца, который он сам проектировал, пришел в упадок. Столько приятных воспоминаний было связано с этим домом! К тому же перед вашим бегством в Пакистан я обещал, что буду содержать все в порядке. Но когда я оказался один... Правда, я старался: поливал цветы, постригал лужайку, иногда приходилось просто лезть из кожи вон — и все равно не мог уследить за всем. Молодость-то моя давно миновала.

Все-таки я худо-бедно держался — пока не пришло известие, что твой отец умер. Тут мне стало ужасно одиноко в этом доме и невыносимо пусто на душе.

И в один прекрасный день я заправил свой «бьюик» и отправился в Хазараджат. Когда Али уволился, твой отец сказал мне, что они с Хасаном уехали к двоюродному брату Али в какую-то деревушку у самого Бамиана. Я понятия не имел, где мне искать Хасана, кого расспрашивать. Ведь десять лет прошло с тех пор, как они ушли от вас, Хасан уже взрослый, двадцать два — двадцать три года, не меньше. Да и жив ли он еще? Шурави — да сгорят они в аду за все, что сделали с нашей родиной, — перебили столько наших молодых парней, сам знаешь.

Но Аллах милостив — я разыскал его, и очень скоро. Пара вопросов — и люди в Бамиане показали мне, где деревушка Хасана. Даже не помню, как она называлась. Да и было ли у нее название? Знойным летним днем моя машина едва ползла по изрезанной колеями грунтовке, окрест только сожженные солнцем кусты, искривленные стволы деревьев и какая-то солома вместо травы. Дохлый осел у дороги, очередной поворот — и глазам моим предстала кучка глинобитных домиков. Вокруг них ничего — только бесплодная земля, и жаркое небо, и зубчатая гряда гор невдалеке.

В Бамиане мне сказали, что я легко найду Хасана: у него единственного сад обнесен забором. Низенькая саманная стена с проломами окружала крошечную хижину — назвать ее домом значило бы оказать почести не по чину. Босые ребятишки, игравшие на улице, — они палками катали по пыли старый теннисный мячик — так и уставились на меня. Я остановился, выключил мотор, постучал в деревянную дверь и ступил во двор. Ни сада, ни огорода — высохшая грядка земляники да лимонное дерево без единого плода, вот и все. У тандыра в тени акации сидел на корточках мужчина, брал деревянной лопаткой шматы теста

из кадки и нашлепывал на глиняные бока печи. Завидев меня, он выронил лопатку и кинулся целовать мне руки.

— Перестань немедленно, — рассердился я, — и дай-ка я на тебя посмотрю.

Хасан отступил на два шага. Он был такой высокий — чуть не на две головы выше меня. Под солнцем Бамиана кожа у него задубела и потемнела. Несколько передних зубов нет, зато обзавелся жидкой бородашкой. А вот узкие зеленые глаза — все те же, и шрам над верхней губой, и круглое лицо, и радостная улыбка. Ты бы узнал его, Амир-джан, я уверен.

Мы прошли в дом. В углу светлая хазареянка подшивала платок, явно поджидая нас.

— Это моя жена, Фарзана-джан, — с гордостью представил ее Хасан.

Очень скромная и застенчивая, она говорила чуть слышным шепотом и не поднимала на меня своих карих глаз. Но зато с какой любовью она поглядывала на Хасана!

— Когда ждете ребенка? — спросил я, как только все расположились по своим местам.

Старенький ковер, пара тюфяков, фонарь и несколько тарелок — больше ничего в комнате не было.

— Иншалла, этой зимой, — ответил Хасан. — Молю Господа, чтобы был мальчик. Назову его в честь отца.

— А кстати, что с Али?

Хасан потупил глаза. Али и его двоюродный брат — которому и принадлежал этот дом — подорвались на mine два года назад, у самого Бамиана. Так теперь погибает большинство афганцев, можешь себе представить, Амир-джан? Мне почему-то кажется, что Али подвела его правая нога, искалеченная полиомиелитом, он оступился и угодил прямо на минное поле. Известие о его смерти глубоко опечалило меня. Как ты знаешь, мы с твоим отцом росли вместе, и Али был рядом, сколько я себя помню. Когда Али заболел и чуть не умер, мы еще были детьми, и плакали.

Фарзана приготовила нам шорву из бобов, репы и картошки. Мы помыли руки и погрузили куски лепешки, испеченной на тандыре, в шорву, — давненько не едал ничего вкуснее! За едой я предложил Хасану уехать в Кабул вместе со мной, рассказал ему о доме, о том, что у меня не хватает сил содержать его в порядке, и особо подчеркнул, что щедро заплачу ему и что ему с ханум будет очень удобно. Они промолчали, только обменялись взглядами. Позже, когда мы помыли после обеда руки и Фарзана подала нам виноград, Хасан сказал, что прижился в деревне и что здесь теперь их с женой дом.

— И Бамиан совсем близко. У нас там много знакомых. Прости меня, Рахим-хан. Прошу, пойми меня.

— Тебе не за что извиняться, — ответил я. — Я тебя очень хорошо понимаю.

Мы пили чай, когда Хасан заговорил про тебя. Я сказал, что ты в Америке и что я мало что о тебе знаю. А Хасан все спрашивал и спрашивал. Женился ли ты? Есть ли у тебя дети? Какого ты теперь роста? Запускаешь ли ты воздушных змеев и любишь ли ходить в кино? Счастливая ли у тебя жизнь? Еще он сказал, что подружился в Бамиане со старым учителем фарси и тот научил его читать и писать. Если он напишет письмо, я его тебе передам? Я сказал, что только пару раз говорил по телефону с твоим отцом и не могу толком ответить на большинство его вопросов. Узнав, что твой отец умер, Хасан закрыл лицо руками и залился слезами. Проплакал он до самого утра.

По настоянию Хасана я переночевал у них. Фарзана постелила мне на тюфяке и поставила рядом кружку воды на тот случай, если мне вдруг захочется пить. Всю ночь до меня доносились всхлипывания и шепот.

Утром Хасан объявил, что они с Фарзаной решили уехать со мной в Кабул.

— Мне не надо было приезжать, — расстроился я. — Ты прав, Хасан, у тебя здесь своя жизнь. Я не вправе просить тебя бросить все. Лучше забудь обо мне.

— Нас здесь ничего особенно не держит, Рахим-хан. — Глаза у Хасана были красные и опухшие. — Мы поедем с тобой. Мы поможем тебе содержать дом в порядке.

— Ты окончательно решил?

Хасан печально кивнул в ответ.

— Ага-сагиб был мне как второй отец, да покоится он с миром.

Все свои пожитки они увязали в старые ковры и погрузили в «бьюик». На пороге дома Хасан остановился с Кораном в руках и подержал у нас над головами, и все мы поцеловали священную книгу и прошли под ней. А потом мы уехали в Кабул. Хасан все оборачивался и смотрел на свой деревенский дом, пока тот не скрылся из виду.

В Кабуле Хасан поселился в своей старой хижине. О господском доме он и слышать не хотел.

— Хасан-джан, да ведь комнаты все равно стоят пустые, — убеждал я его. — В них никто не живет.

Но Хасан сказал, что для него это вопрос чести, и они с Фарзаной быстренько перенесли вещи в саманный домик, где Хасан родился. Я умолял его поселиться в гостевых комнатах на втором этаже, но Хасан решительно отказался.

— Что подумает Амир-ага? — спросил он у меня. — Что он подумает, когда вернется в Кабул после войны и обнаружит, что я занял его место в доме?

В знак траура по твоему отцу Хасан сорок дней одевался в черное.

Вся стряпня и уборка были теперь на Хасане и Фарзане, даже вопреки моему желанию. К тому же Хасан очень любил ухаживать за цветами, поливал их, обрезал желтые листья, засадил целую клумбу розами. Словно готовясь к возвращению хозяев, он заново покрасил дом, навел порядок в комнатах и ваннах, где годами не ступала нога человека. Помнишь «стену чахлой кукурузы»? В нее угодила ракета и произвела немалые разрушения. Хасан собственными руками по кирпичику отстроил ее заново. Не знаю, что я бы делал без него.

Поздней осенью Фарзана родила мертвую девочку. Хасан поцеловал безжизненное личико, и мы похоронили трупик во дворе рядом с кустом шиповника и прикрыли могилку тополиными листьями. Я прочел молитву, а Фарзана целый день оплакивала ребенка у себя в хижине. Причитания матери рвут сердце, Амир-джан, не дай тебе Аллах когда-нибудь их услышать.

За забором свирепствовала война, но в доме твоего отца было тихо. Под конец восьмидесятых годов зрение у меня резко упало, и Хасан стал читать мне книги из библиотеки твоей матушки. Мы садились в вестибюле у печи, и он читал мне Маснави или Хайяма, а Фарзана готовила в кухне еду. И каждое утро Хасан клал цветок на небольшой холмик у куста шиповника.

В начале девяностого года Фарзана снова забеременела. А летом у наших ворот появилась женщина, закутанная с ног до головы в голубую *бурку*,^[34] — пришла, опустилась на колени, да так и застыла. Я спросил, что ей надо, но она не ответила. Казалось, у нее нет сил подняться.

— Кто вы? — спросил я.

И тут неизвестная рухнула без чувств.

Я кликнул Хасана, и мы вдвоем отнесли ее в гостиную, положили на диван и развернули

бурку. Перед нами оказалась беззубая седовласая женщина с руками, покрытыми язвами, изможденная и изголодавшаяся. А ее лицо... какая жуткая маска! Оно все было изрезано ножом снизу доверху, вдоль и поперек. Один шрам бежал от подбородка до корней волос, прямо через левый глаз!

— Где Хасан? — прошептала женщина.

— Я здесь, — ответил тот и взял ее за руку.

Уцелевший глаз смотрел прямо на Хасана.

— Я пришла издалека, чтобы увидеть тебя. Во плоти ты ничуть не хуже, чем я себе воображала. Даже лучше.

Она поцеловала ему руку.

— Улыбнись мне. Прошу тебя.

Хасан улыбнулся. Женщина заплакала.

— У тебя моя улыбка, тебе кто-нибудь говорил об этом? А я ведь даже ни разу не держала тебя на руках. Да простит меня Аллах, и на руки-то ни разу не взяла!

Никто не встречал Санаубар после того, как она сбежала в 1964 году, сразу после рождения Хасана. Тебе не довелось ее видеть, Амир, но поверь, в молодости она была редкая красавица. Ее улыбка и походка сводили мужчин с ума. Стоило ей показаться на улице, как все прохожие оборачивались — и мужчины, и женщины. А сейчас...

Хасан отбросил ее руку и стремглав кинулся вон из дома. Я побежал было за ним, но не догнал, только увидел, как его фигура мелькнула на склоне холма, где вы любили играть вдвоем.

Я просидел с Санаубар весь день. Солнце закатилось, стемнело, на небе показалась луна, а Хасан все не появлялся.

— Зря я вернулась, — плакала Санаубар, порываясь уйти, — все равно сделанного не воротишь. Убежала — плохо, а вернулась — еще хуже.

Но я удержал ее, потому что был уверен: Хасан никуда не денется.

Он пришел на следующее утро, уставший, словно не спал всю ночь, взял ладонь Санаубар в обе свои руки и сказал ей, что плакать не надо, она дома, у своих, здесь ее семья. И все гладил ее по лицу и по волосам.

Хасан и Фарзана выходили Санаубар. Она поселилась в одной из гостевых комнат. Теперь они с сыном частенько работали в саду вместе, собирали помидоры или подрезали розы, и никак не могли наговориться. Насколько я знаю, он никогда не спрашивал ее, где она была и почему сбежала, а Санаубар не рассказывала. Кое о чем и говорить-то не стоит. Никогда.

В декабре 1990 года Санаубар приняла новорожденного. Снег еще не выпал, но ветра уже дули вовсю, сухая листва так и металась по саду. Помню, как Санаубар вышла из хижины с внуком, завернутым в шерстяное одеяло. Слезы текли у нее по щекам, по небу неслись тучи, ледяной ветер трепал ей волосы, и она прижимала к себе младенца, будто слившись с ним. Потом она передала живой сверток Хасану, а тот мне, и я пропел в маленькое ушко молитву «Аят-уль-курси».

В честь любимого героя Хасана из «Шахнаме» (известного и тебе, Амир) мальчика называли Сохрабом. Он был милый и красивый ребенок, характером — вылитый отец. Жаль, ты не видел Санаубар с внуком, Амир-джан. Он стал для нее поистине центром вселенной. Она обшивала его, делала игрушки из щепок, тряпочек и сухой травы. Когда ребенок простудился, она сутками напролет сидела рядом с ним, целых три дня постилась и жгла на

сковородке *исфанд*, особое пахучее зелье против сглаза. В два годика Сохраб стал называть ее Саса, и они были неразлучны.

Но вот однажды утром (Сохрабу исполнилось четыре) Санаубар взяла и не проснулась. Лицо у нее было счастливое, спокойное, словно она и не собиралась умирать. Мы похоронили ее под гранатовым деревом на старом кладбище, и я помолился за нее. Это был тяжелый удар для Хасана — обрести и вновь потерять всегда больнее, чем не иметь вовсе. А какое это было горе для Сохраба... Целыми днями он искал *Сасу* по всему дому и не мог найти. Счастье, что дети быстро забывают.

Тем временем — это, пожалуй, был уже год 1995-й — шурави ушли, и через некоторое время Кабул заняли Масуд, Раббани^[35] и моджахеды. Жестокая борьба между группировками не утихала, и никто не знал с утра, доживет ли до вечера. Наши уши привыкли к свисту пуль и грохоту перестрелок, глаза — к трупам и руинам. Кабул в те дни, Амир-джан, превратился в сущий ад на земле. Но Аллах милостив. Наш Вазир-Акбар-Хан война затронула в меньшей степени, в нем было не так страшно, как в других районах.

В дни, когда вой реактивных снарядов стихал и вместо густой перестрелки слышались только отдельные выстрелы, Хасан ходил с Сохрабом в зоопарк посмотреть на льва Марджана или в кино. Отец учил сына обращаться с рогаткой, и к восьми годам Сохраб был уже настоящий снайпер — с крыльца попадал в сосновую шишку на другом конце двора. Хасан научил его читать и писать, чтобы не рос невеждой. Я очень привязался к малышу — ведь я был свидетелем его первых шагов и первых произнесенных слов, — покупал для него детские книжки в лавке у «Кино-парка» (теперь и он в развалинах), и Сохраб проглатывал их с удивительной быстротой. Этим он напоминал тебя, Амир-джан. Иногда по вечерам я читал ему, загадывал загадки, учил карточным фокусам. Я ужасно скучаю по нему.

Зимой Хасан с сыном запускали змеев. Конечно, таких турниров, как в старые времена, уже не было, но какие-то соревнования проходили, и Хасан, взяв Сохраба на плечи, носился по улицам за змеями и, если надо, даже лазал по деревьям. Помнишь, Амир-джан, как здорово умел Хасан угадывать, куда приземлится змей? Этот его талант никуда не делся. Под конец зимы Хасан и Сохраб развесили свои трофеи в вестибюле. Их оказалось немало.

Я уже говорил тебе, какая радость охватила всех, когда в город вошел Талибан и положил конец дневным перестрелкам. Когда я тем вечером вернулся домой, Хасан слушал в кухне радио. Вид у него был печальный.

— Да смилостивится Аллах над хазарейцами, Рахим-хан-сагиб, — сказал он мне.

— С войной покончено, Хасан, — успокаивал я его. — Иншалла, настанет мир, спокойствие и счастье. Прочь ракеты, прочь убийства, прочь похороны!

Но Хасан только выключил радио и спросил, не нужно ли мне чего перед сном.

Через несколько недель Талибан запретил сражения воздушных змеев. А через два года, в 1998 году, талибы вырезали хазарейцев в Мазари-Шарифе.

Рахим-хан медленно согнул ноги в коленях и, упершись в пол руками, осторожно переменял позу; судя по всему, малейшее движение доставляло ему невыносимую боль. С улицы доносились ругательства на урду, перекрываемые криком осла. Солнце клонилось к западу, красноватая пыль висела в воздухе над ветхими домами.

Как же подло я поступил с Хасаном! Да я ли это был? В голове моей звенели имена: Сохраб, Фарзана, Санаубар, Али. словно забытая мелодия старой музыкальной шкатулки зазвучали слова: «Эй, Бабалу, кого ты сегодня слопал? Кого ты сожрал, косоглазый Бабалу?» Я попытался разглядеть через годы застывшее лицо Али и не смог — скупое время всегда старается утаить подробности.

— Хасан по-прежнему живет в нашем доме? — спросил я.

Рахим-хан глотнул чаю и достал из нагрудного кармана конверт:

— Это тебе.

В конверте лежало сложенное письмо и снятая «поляроидом» моментальная фотография. Я глаз не мог от нее оторвать.

Высокий человек в белой чалме и чапане в зеленую полоску (солнце светило слева, и тень закрывала ему добрую половину лица) стоял на фоне ворот из кованых прутьев. Он щурил глаза и щербато улыбался. По этой улыбке, по широко расставленным ногам, по рукам, непринужденно скрещенным на груди, по крепкому повороту головы видно было, что он счастлив, уверен в себе и твердо стоит на земле. К ноге его припал босоногий мальчик с бритой головой, он тоже щурился и улыбался.

Рахим-хан был прав: случайно встретив Хасана на улице, я бы узнал его.

Я развернул письмо. Оно было написано на фарси аккуратным детским почерком, без единой ошибки.

Во имя Аллаха, всеблагого и всемилостивейшего,

Амиру-аге, с глубочайшим уважением.

Фарзана-джан, Сохраб и я молимся, чтобы это письмо застало тебя в добром здравии, да пребудет с тобой милость Господня. Поблагодари от моего имени Рахим-хана-сагиба за то, что передал тебе это письмо. Надеюсь, настанет день, когда я возьму в руки твое письмо и прочту, как тебе живется в Америке, и твоя фотография подарит радость нашим глазам. Я много рассказывал Фарзане-джан и Сохрабу о тебе, о днях нашей юности, играх и забавах. Они очень смеялись нашим проделкам!

Амир-ага!

Горе нам! Афганистана нашей молодости давно уже нет, и доброта исчезла с лица земли, и людей убивают на каждом шагу. Страх в Кабуле притаился повсюду: на улицах, на стадионе, на рынках, вся наша жизнь пропитана им. Дикари, которые правят нашей Родиной, ни во что не ставят человеческое достоинство. Недавно я отправился вместе с Фарзаной-джан на рынок за картошкой и хлебом. Она спросила торговца о цене, но он ее не расслышал, наверное, был глуховат. Ей пришлось повторить свой вопрос погромче. Тут же из толпы выскочил молодой талиб и ударил ее палкой спереди по ногам, да так

сильно, что она упала. А талиб принялся ругать ее последними словами и заявил, что по распоряжению Министерства Борьбы с Пороками и Насаждения Добродетели женщинам не дозволяется говорить громко. На ноге у Фарзаны-джан остался огромный лиловый кровоподтек, который долго не проходил. А что мне было делать — только стоять и смотреть, как мою жену бьют. Если бы я вмешался, этот пес с радостью всадил бы в меня пулю. И какая жизнь ожидает моего Сохраба? На улицах уже сейчас полно беспризорников, и я благодарю Аллаха за то, что жив, — не потому, что боюсь смерти, а потому, что моя жена пока не вдова, а сын — не сирота.

Жаль, ты никогда не видал Сохраба. Он очень хороший мальчик. Рахим-хан-сагиб и я научили его читать и писать, чтобы не рос дурень дурнем, как я. А как он умеет стрелять из рогатки! По улочкам Шаринау, как и раньше, бродит человек с обезьяной, и, если он попадает на глаза, я обязательно даю ему денег, чтобы мартышка станцевала для Сохраба. Видел бы ты, как он смеется! Мы с ним часто ходим на кладбище на холме. Помнишь, как мы сидели вдвоем под гранатовым деревом и читали «Шахнаме»? Это дерево давно уже не дает плодов, но тень у него, как и раньше, густая. Сидя под ним, мы с сыном прочитали уже всю «Книгу о царях», и больше всего ему нравится, как ты, наверное, догадался, сказание о Рустеме и Сохрабе. Скоро он сможет прочесть все это самостоятельно. Я горжусь своим сыном и очень счастлив.

Амир-ага!

Рахим-хан-сагиб очень болен, все время кашляет, харкает кровью и очень похудел. Фарзана-джан готовит его любимую шорву, а он съест чуть — чтобы только ее не обидеть — и отставит тарелку. Я очень беспокоюсь за него и каждый день молюсь, чтобы Аллах даровал ему здоровье. Через несколько дней он уезжает в Пакистан посоветоваться с врачами, и дай Господь, чтобы он вернулся с добрыми вестями. Но в глубине души я боюсь за него. Мы с Фарзаной-джан сказали маленькому Сохрабу, что Рахим-хан-сагиб обязательно поправится. А что нам было делать? Сыну только десять лет, и он обожает Рахим-хан-сагиба, благо вырос у него на глазах. Раньше Рахим-хан-сагиб покупал Сохрабу на базаре воздушные шарики и сладкое печенье, но сейчас он очень ослаб и на рынок уже не ходит.

В последнее время я часто вижу сны, Амир-ага. Кошмары — гость редкий, но иногда я вижу виселицы на залитом кровью футбольном поле и просыпаюсь со стесненной грудью, весь мокрый от пота. Куда чаще мне снится что-то хорошее, например, что Рахим-хан-сагиб выздоровел или что сын мой вырос и стал свободным достойным человеком. Порой мне снится, что на улицах Кабула вновь расцвели цветы лола^[36] и из чайных опять разносится музыка рубаб и воздушные змеи парят в небе. А еще я вижу во сне тебя, Амир-ага. Когда же ты приедешь в Кабул, где тебя ждет не дождется твой верный друг?

Да пребудет Аллах с тобой вовеки.

Хасан

Я перечитал письмо дважды, сложил и вместе с фотографией спрятал в карман.

— Как он там?

— Письмо было написано полгода назад, за несколько дней до моего отъезда в Пешавар, — устало произнес Рахим-хан. — Снимок я тоже сделал перед отъездом. Через

месяц мне сюда позвонил один из соседей. Вот что он рассказал. Вскоре после того, как я отбыл, пошли слухи, что в Вазир-Акбар-Хане некая семья хазарейцев одна живет в роскошном доме. По крайней мере, так утверждал Талибан. Его официальные представители заявили к нам в дом с расследованием и подвергли допросу Хасана. Когда он сказал, что он только слуга, а хозяин — я, его обвинили во лжи, хотя соседи, в том числе тот, который мне позвонил, подтверждали его слова. Окончательный вывод был таков: он вор и лгун, как, впрочем, и все хазарейцы, и чтобы духу его здесь не было к концу дня. Хасан настаивал на своей правоте. Но, как выразился сосед, талибы поглядывали на большой дом как волки на отару овец. Хасану было сказано, что они сами присмотрят за домом, пока я не вернусь. Он не соглашался. Тогда его вывели на улицу...

— Нет...

— ...поставили на колени...

— Господи, нет...

— ...и выстрелили в затылок.

— Нет...

— Фарзана с криками кинулась на них...

— Нет...

— ...и ее застрелили тоже. Потом талибы заявили, что это была самооборона.

— Нет, нет, нет, — шептал я в отчаянии, позабыв все остальные слова.

1974-й год. Больничная палата. С Хасана сняли повязки после пластической операции. Баба, Рахим-хан, Али и я толпимся вокруг его койки. Хасан разглядывает свою губу в зеркальце, а мы ждем, что он скажет.

Человек в камуфляже приставляет дуло калашникова к затылку Хасана. Звук выстрела разносится далеко. Хасан падает на землю, и его праведная душа отлетает прочь, словно воздушный змей.

Смерть, смерть вокруг меня. А я по-прежнему жив и здоров.

— Талибы вселились в дом, — бесстрастно произнес Рахим-хан. — Лица, вторгшиеся в чужое владение, изгнаны, все по закону. Убили кого-то? Самооборона. Никто не возражал, боялись. Разве можно рисковать всем ради двух ничтожных хазарейцев?

— А что они сделали с Сохрабом? — Язык у меня заплетался.

Приступ кашля скрутил Рахим-хана. Лицо у него сделалось малиновое, глаза налились кровью.

— Говорят, отправили в приют где-то в Карте-Се, — прохрипел он, задыхаясь и старея на глазах. — Амир-джан, я вызвал тебя сюда, не только чтобы свидеться перед смертью. У меня к тебе есть дело.

Я молчал, уже догадываясь, что он собирается сказать.

— Хочу, чтобы ты поехал в Кабул, нашел Сохраба и привез сюда.

Нужные слова в голову не приходили. Я ведь еще даже не освоился с известием, что Хасан убит.

— Послушай. Среди моих пешаварских знакомых есть американцы, муж и жена, Томас и Бетти Колдуэлл, очень добрые люди. Они представляют небольшую благотворительную организацию, существующую на частные пожертвования. У них сиротский приют, в основном они занимаются афганскими детьми. У них чисто и безопасно и за детьми уход

хороший, сам видел. Они уже сказали мне, что с радостью примут Сохраба.

— Рахим-хан, ты, наверное, шутишь.

— С детьми надо обращаться бережно, Амир-джан. Кабул и так полон беспризорников. Не хочу, чтобы Сохраб стал одним из них.

— Рахим-хан, я не поеду в Кабул. Это немыслимо, невозможно.

— Сохраб — очень талантливый мальчик. Здесь мы дадим ему новую жизнь, новую надежду, он попадет к любящим его людям. Томас-ага — очень хороший человек, а Бетти-ханум — отличный воспитатель. Видел бы ты, как они относятся к своим сироткам!

— Но почему я? Найми кого-нибудь, пусть съездит в Кабул. Если дело за деньгами, я готов оплатить расходы.

— Дело тут не в деньгах, Амир, — взревел Рахим-хан. — Ты оскорбляешь меня, человека при смерти! Когда это деньги были для меня на первом месте? И мы оба прекрасно знаем, почему я выбрал именно тебя.

Я понял, о чем он. А лучше бы не понимать.

— Послушай, у меня в Америке жена, дом, карьера. Кабул — опасное место, как я могу рисковать всем ради... — Слов мне опять не хватило.

— Знаешь, мы как-то говорили о тебе с твоим отцом. Его очень беспокоило твое поведение. И он сказал мне: Рахим, из мальчика, который не может постоять за себя, вырастет мужчина, на которого нельзя будет положиться ни в чем. Оказывается, он был прав? Так и вышло?

Я потупил глаза.

— Я прошу тебя выполнить последнюю волю умирающего, — сурово проговорил Рахим-хан. Что называется, зашел с козырной карты.

В воздухе повисло молчание.

Какие слова я мог подобрать? А еще писатель.

— Наверное, Баба был прав, — пробормотал я наконец.

— Ты серьезно, Амир?

— А ты так не думаешь? — В глаза ему я смотреть не мог.

— Иначе я бы тебя сюда не пригласил.

Я вертел на пальце обручальное кольцо.

— Ты всегда был слишком высокого мнения обо мне, Рахим-хан.

— А ты о себе — слишком низкого. — Рахим-хан передохнул. — Но есть и еще кое-что. Об этом ты не знаешь.

— Рахим-хан, умоляю тебя...

— Санаубар была Али не первой женой.

Я вскинул на него глаза.

— Его первая жена была хазареянка из Джагори. До твоего рождения было еще далеко. Они состояли в браке три года.

— И при чем тут все это?

— Детей у них не было, и через три года она ушла от Али, вышла замуж за доброго человека из Хоста и родила *тому* троих дочерей. Вот и все, что я хотел тебе сказать.

Я начал понимать, к чему он клонит. Но я не желал больше об этом слышать. Главное — это Калифорния, обеспеченная жизнь, старый викторианский дом с остроконечной крышей, карьера писателя, любящие родственники. Все остальное — побоку.

— Али был бесплоден, — пояснил Рахим-хан.

— Как это? У него и Санаубар родился сын. И звали его Хасан.

— Он не мог иметь детей.

— А от кого же тогда Хасан?

— Сам знаешь от кого.

Мне казалось, я скатываюсь вниз по крутому склону, напрасно пытаюсь ухватиться за траву и кусты ежевики. Комната качалась и кружилась у меня перед глазами.

— Хасан знал? — Застывшие губы меня не слушались.

Рахим-хан закрыл глаза и покачал головой.

— Сволочи, — пробормотал я и вскочил на ноги. — Какие же вы все сволочи! Лживые мерзавцы!

— Прошу тебя сесть.

— Как вы могли скрывать это от меня? От *него*?

— Подумай сам, Амир-джан. Ведь такой позор. Пошли бы сплетни, все было бы втоптано в грязь, и честь, и доброе имя. Проболтаться нам было никак нельзя, сам понимаешь.

Рахим-хан протянул мне руку, но я оттолкнул ее и кинулся к выходу.

— Амир-джан, не уходи.

Я распахнул дверь.

— А что меня здесь держит? Что ты мне еще поведаешь? Мне тридцать восемь лет, и вдруг ты мне сообщаем такое, что все прожитые годы летят псу под хвост! Вся моя жизнь — одна сплошная ложь! Чем теперь ты утетишь меня? Тебе нечего мне сказать!

С этими словами я пулей вылетел из комнаты.

Солнце почти село, окрасив небо в лиловые и малиновые тона. Дом, где жил Рахим-хан, остался далеко позади. В густой толчее вязли велосипеды и рикши. Рекламные щиты призывали покупать кока-колу и сигареты, на пестрых афишах пакистанских фильмов загорелые красавцы танцевали со страстными дамами на фоне цветущих лугов.

В крошечной чайной, куда я вошел, дым стоял столбом. Спросив чаю, я сел на складной стул, откинулся назад, потряс головой, провел по лицу руками. Мне уже не казалось, что я куда-то лечу. Я словно проснулся в собственной кровати и обнаружил, что вся мебель в доме переставлена, привычная обстановка исчезла, все вокруг сделалось чужим и незнакомым и надо привыкать жить по-новому.

Где были мои глаза? Ведь улик хватало. Баба пригласил доктора Кумара сделать Хасану пластическую операцию, Баба всегда делал подарки Хасану на день рождения. Что сказал мне отец, когда мы сажали тюльпаны и я заикнулся насчет новых слуг? *Хасан останется с нами. Он здесь родился, здесь его дом, его семья.* Да ведь Баба плакал, плакал, когда Али объявил, что они уходят от нас!

Официант поставил передо мной чашку. Кольцо из медных шариков, каждый размером с орех, как бы сцепляло скрещивающиеся ножки стола, один шарик еле держался. Я нагнулся и завинтил его. Ах, если бы вот так же легко можно было исправить собственную жизнь!

Я отхлебнул чернейшего чаю (давненько не пил такого) и попробовал отвлечься — заставил себя думать о Сорае, о генерале, о Хале Джамиле, о своем неоконченном романе. Передо мной сновали люди, из транзисторного приемника на соседнем столике звучал *кавали*, ^[37] но ничто не занимало моего внимания. Образы прошлого поднимались в памяти. Вот Баба рядом со мной в машине после выпускного вечера. *Как жалко, что Хасана нет сейчас с нами.*

Как мог он все эти годы лгать мне, лгать Хасану? Вот я, маленький, сижу у него на коленях, он смотрит мне прямо в глаза. *Существует только один грех. Воровство. Лгун отнимает у других право на правду.* Это были слова Бабы. А теперь, через пятнадцать лет после его смерти, я узнаю, что Баба — сам вор, причем вор худшего пошиба, похитивший самое святое: у меня — брата, у Хасана — отца, у Али — честь.

Вопрос нанизывался на вопрос. Как Баба мог смотреть Али в глаза? Как мог Али жить в этом доме, зная, что хозяин надругался над его женой и над ним самим? И как мне самому теперь жить, когда привычный образ Бабы, ковыляющего в своем парадном коричневом костюме к дому генерала, чтобы попросить для меня руки Сораи, превратился в нечто постыдное?

Среди прочих штампов наш преподаватель литературного мастерства упоминал и такой: яблочко от яблони недалеко падает. Но ведь и это правда. Оказалось, у нас с отцом больше общего, чем я даже мог себе представить. Мы оба предали людей, которые были верны нам до гроба. И вот пришла расплата: ведь я должен искупить не только собственные грехи, но и грехи отца.

«Ты всегда был о себе слишком низкого мнения», — сказал мне Рахим-хан.

Ну, основания-то у меня были. Правда, это не я привел Али на минное поле и не я

натравил на Хасана талибов. Зато я выгнал отца с сыном из дома. А если бы не я, как сложилась бы их судьба? Может быть, Баба взял бы их с собой в Америку, у Хасана была бы сейчас хорошая работа, семья, собственный дом, и он жил бы в стране, где никому нет дела до того, что он хазарец, где большинство людей и представления не имеет, кто такие хазарейцы. Конечно же, все могло получиться и по-другому. Но такая возможность была.

«Я не поеду в Кабул. У меня в Америке жена, дом, карьера», — сказал я Рахим-хану. Но разве могу я сейчас убраться восвояси и загубить тем самым еще одну жизнь?

Лучше бы Рахим-хан не звонил мне. Жил бы я себе, как раньше, ни о чем не подозревая. Но он вызвал меня сюда и сообщил такое, что перевернуло всю мою жизнь, выставило ее чередой обманов, предательств и гнусных тайн.

«Тебе выпала возможность снова встать на стезю добродетели», — сказал он.

Возможность начать жизнь сызнова.

Для этого надо разыскать мальчика.

Сына Хасана. Сироту.

Где-то в Кабуле.

Я подозвал рикшу и отправился обратно к Рахим-хану. Баба как-то сказал: моя беда в том, что я всегда прихожу на готовенькое. Мне тридцать восемь лет, волосы мои седеют и редеют, в уголках глаз появились «гусиные лапки». А если я так и не научился стоять за себя и не прятаться за чужие спины? Вдруг Баба оказался прав?

Я посмотрел на фотографию, на круглое лицо моего брата, наполовину скрытое тенью. Хасан любил меня как никто никогда не полюбит. Его сын сейчас в Кабуле.

Он ждет.

Рахим-хан — черная тень в углу комнаты — читал молитву, обратясь лицом к востоку. За окном краснело небо.

Я подождал, пока он закончит, и сообщил, что поеду в Кабул. Пусть звонит Колдуэллам.

— Я буду молиться за тебя, Амир-джан, — сказал мой старый друг.

Снова морская болезнь. Мы еще не успели доехать до изрешеченного пулями щита «ПЕРЕВАЛ ХАЙБЕР ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС», а рот у меня уже был полон слюны. Желудок дергало и крутило. Фарид, мой шофер, холодно посмотрел на меня. Сочувствия в его глазах я не заметил.

— Можно опустить стекло? — хрипло спросил я.

Шофер зажег сигарету, зажал ее двумя пальцами левой руки (больше пальцев на руке не было), не отрывая своих черных глаз от дороги, наклонился и откуда-то из-под ног достал отвертку. Я вставил ее в отверстие, где полагалось быть ручке, и несколько раз провернул. Стекло поехало вниз.

Во взгляде Фариды появилась почти не скрываемая враждебность. Он и десяти слов не произнес с тех пор, как мы выехали из Джамруда.

— Ташакор, — пробормотал я и высунулся в окно, подставляя лицо ветерку.

Дорога через горы с их глинистыми, усеянными камнями склонами была мне знакома — в 1974 году мы с Бабой возвращались этим путем. Ущелья, скалистые пики, древние крепости на вершинах утесов, снега Гиндукуша, белеющие на севере... Серпантин и проклятая тошнота.

— Пососи лимон, — неожиданно произнес Фарид.

— Что?

— Лимон. Если тошнит, очень помогает. Я всегда беру в путь лимон.

— Спасибо, не надо, — выдавил я. Стоило только подумать о кислом соке, как желудок мой взбунтовался.

Фарид хихикнул:

— Это тебе не американская химия, а старое народное средство. Меня мама научила.

— Тогда давай.

Надо к нему подольститься.

Из бумажного пакета на заднем сиденье Фарид достал половинку лимона и протянул мне. Я откусил кусочек, выждал пару минут, слабо улыбнулся и соврал:

— Ты прав. Полегчало.

Вежливость никогда не повредит.

— Старое средство. Не надо никакой химии. — Несмотря на угрюмый тон, вид у водителя довольный.

Фарид — таджик по национальности, долговязый, черноволосый, с обветренным лицом, узкими плечами и длинной шеей. Кадык у него до того выдается, что даже борода его не прикрывает. Одет он так же, как и я: шерстяной башлык грубой вязки поверх *пирхан-тюмбана* и телогрейка, на голове нуристанский *наколь*^[38] слегка набекрень — как у кумира таджиков Ахмада Шах-Масуда, «Льва Панджшера».^[39]

С Фаридом меня свел в Пешаваре Рахим-хан. По его словам, Фариду всего двадцать девять лет (хотя выглядел он на сорок с лишком), родился он в Мазари-Шарифе, но, когда ему исполнилось десять, семья переехала в Джелалабад. В четырнадцать лет он вместе с отцом встал под зеленое знамя джихада. Два года они сражались с шурави в Панджшерском

ущелье, пока залп с вертолета не разорвал родителя на кусочки. У Фарида две жены и пятеро детей. Их было семеро, но две младшие дочери подорвались на mine под Джелалабадом, а ему самому оторвало все пальцы на левой ноге и три на руке. После этого он с женами и детьми перебрался в Пешавар.

— КПП, — буркнул Фарид.

Я заерзал на сиденье, забыв на минуту про тошноту. Зря беспокоился. Два пакистанских солдата лениво подошли к нашей обшарпанной «тойоте» «лендкрузер», едва заглянули внутрь и махнули рукой, чтобы мы ехали дальше.

В списке неотложных дел, который составили мы с Рахим-ханом, знакомство с Фаридом стояло на первом месте, а уже потом следовал обмен долларов на рупии и афгани, приобретение необходимой одежды и паколя (по иронии судьбы, я никогда не носил традиционного наряда, даже когда жил в Афганистане), копирование фотографии, запечатлевшей Хасана и Сохраба, и, наконец, покупка, пожалуй, самого необходимого — фальшивой окладистой бороды, соответствующей указаниям шариата по версии талибов. Рахим-хан знал в Пешаваре человека, основным занятием которого было изготовление бород. Порой его услугами пользовались даже западные журналисты, освещавшие ход войны.

Рахим-хан настаивал, чтобы я провел в Пешаваре еще несколько дней: надо же хорошенько обдумать план действий. Но я торопился — боялся, что передумаю, ведь если тянуть и предаваться размышлениям, то картина моей благополучной жизни в Америке наверняка перевесит остальное, и я не отважусь на безрассудный поступок, означавший искупление грехов. А потом все то новое, что ворвалось в мою жизнь, потихоньку забудется и канет в Лету. Сорае я, разумеется, ничего не сказал про Афганистан, иначе она прилетела бы сюда первым же рейсом.

Стоило нам пересечь границу, как бедность и нищета обступили нас со всех сторон. Разбросанные между скал кучками детских кубиков убогие деревушки, растрескавшиеся саманные хижины... Да что там хижины! Четыре деревянных столба и кусок брезента вместо крыши — вот и все жилище бедняка. Дети в лохмотьях пинали ногами шмат тряпок — играли в футбол. На сгоревшем советском танке, словно вороны, сидели старики. Женщина в коричневой одежде тащила на плече откуда-то издалека большой кувшин, осторожно переступая натруженными босыми ногами по разбитой проселочной дороге.

— Как странно, — заметил я.

— Что странно?

— Кажусь себе туристом в собственной стране. — Я глядел на пастуха в окружении шести тощих коз.

Фарид осклабился:

— Ты все еще считаешь эту страну своей?

— Она у меня в душе, — ответил я резче, чем следовало бы.

— И это после двадцати лет жизни в Америке?

Фарид осторожно объехал рытвину.

— Мое детство прошло в Афганистане.

Фарид фыркнул.

— Тебе смешно? — спросил я.

— Не обращай внимания.

— Интересно узнать, почему ты фыркаешь?

Глаза у шофера блеснули.

— Хочешь знать? — ехидно спросил он. — Давай сыграем в угадайку, ага-сагиб. Ты, наверное, жил в большом доме за высоким забором, два или даже три этажа, большой сад, а за фруктовыми деревьями и цветами ухаживал садовник. Отец твой ездил на американской машине, и у вас были слуги, хазарейцы, скорее всего. Когда в доме устраивались приемы, комнаты украшали специально нанятые люди. На пиры приходили друзья, пили и болтали про свои поездки в Европу или Америку. И клянусь глазами моего старшего сына, ты сейчас впервые в жизни надел паколь. — Фарид ухмыльнулся. Зубы у него были гнилые. — Я все верно описал?

— Зачем ты так?

— Ты ведь сам спросил. — Фарид указал на бредущего по тропе старика в лохмотьях, который, сгорбясь, тащил на спине мешок с соломой: — Вот настоящий Афганистан, ага-сагиб, тот, который я знаю. А ты всегда был здесь туристом. Откуда тебе знать, как живут люди?

Рахим-хан предупреждал меня, чтобы я не рассчитывал на теплую встречу со стороны тех, кто остался и перенес все тяготы войны.

— Мне жаль, что твоего отца убили, — сказал я. — Мне жаль, что твои дочери погибли. Мне жаль, что ты потерял пальцы на руке.

— А что мне толку с твоих слов? Ты-то зачем вернулся сюда? Продашь отцовский участок и с денежками в кармане упорхнешь обратно в Америку к мамочке?

— Моя мама умерла, когда рожала меня.

Фарид молча закурил.

— На обочину!

— Что?!

— Сверни на обочину и остановись! — просипел я. — Меня сейчас вырвет.

И я выскочил из машины и замер, зажмурившись.

Близился вечер. Дорога спускалась в долину Ланди-Хана, сожженные солнцем вершины и голые бесплодные склоны сменились пейзажами, куда более радующими глаз. За Торхамом вдоль дороги появились сосны, правда, их было как-то меньше, чем помнилось мне, и многие деревья стояли без хвои. Мы подъезжали к Джелалабаду. Ночевать мы собирались у брата Фариды.

Еще до захода солнца мы въехали в Джелалабад, столицу провинции Нангархар. Когда-то город был знаменит прежде всего своими фруктами и мягким теплым климатом. Каменные дома и многоэтажные здания по-прежнему украшали центр города, но пальм поубавилось. Зато тут и там появились развалины.

Фарид свернул в узкий незамощенный переулок и остановился у пересохшей канавы. Я выскользнул из машины, распрямил мышцы и вдохнул полной грудью. В старые добрые времена ветерок донес бы с орошаемых полей сладкий запах сахарного тростника, весь город был пропитан им. Я закрыл глаза и принялся. Приятные ароматы отсутствовали начисто.

— Идем, — поторопил меня Фарид.

Мимо голых тополей и разрушенных саманных стен мы пробрались по засохшей грязи к обветшавшему домику. Оглянувшись, Фарид постучал в дверь.

Выглянула молодая женщина в белом платке, подняла на меня зелено-голубые глаза и отшатнулась. Но тут взгляд ее упал на Фариды. Лицо женщины осветила радость.

— Салам алейкум, Кэка Фарид!

— Салям, Мариам-джан. — Фарид впервые за весь день улыбнулся и поцеловал ее в макушку.

Женщина отступила в сторону, пропуская нас в дом. На меня она глядела с опаской.

Низкий потолок, совершенно голые стены, пара светильников в углу, соломенная циновка на полу. Обувь полагалось снять, что мы и сделали. У стены на тюфяке, прикрытом одеялом с обмахрившимися краями, скрестив ноги, сидели три мальчика. Высокий, широкоплечий бородач встал, чтобы поздороваться с нами. Они с Фаридом обнялись и расцеловались.

— Это Вахид, мой старший брат, — представил бородача Фарид. — А это Амир-ага, он приехал из Америки.

Вахид усадил меня рядом с собой, напротив мальчиков, которые так и повисли на Фариде. Как я ни противился, Вахид велел старшему сыну принести еще одеяло, чтобы мне было удобно на полу. Мариам занялась чаем.

— Как доехали? Не повстречали грабителей на перевале Хайбер? — шутливым тоном спросил Вахид. Хайбер во все века был знаменит своими разбойниками с большой дороги. — Хотя какой уважающий себя *дозд* покусится на колымагу моего брата.

Фарид устроил шутливую возню — повалил младшего сына Вахида на пол и принялся щекотать его здоровой рукой. Мальчик визжал и брыкался.

— Какая ни есть, а машина, — возразил Фарид обиженно. — Как там поживает твой осел?

— На моем осле ездить куда удобнее, чем на твоём механизме.

— *Хар хара мишенаса*, — съехидничал Фарид. — Осла узнаешь не скоро.

Братья засмеялись, и я вместе с ними.

Из соседней комнаты слышались тихие женские голоса. С моего места было хорошо видно, что там происходит. Мариам и пожилая женщина в коричневом хиджабе — наверное, ее мать — разливали чай по чашкам.

— Чем ты занимаешься в Америке, Амир-ага? — спросил Вахид.

— Я писатель.

Хихикнул Фарид или мне показалось?

— Писатель? — неподдельно удивился Вахид. — Ты пишешь про Афганистан?

— Писал когда-то. Но сейчас работаю над другими темами.

В моем последнем романе «Пепелище» университетский преподаватель застает жену в постели со студентом и уходит в табор к цыганам. Пресса у произведения была неплохая — некоторые обозреватели именовали роман «хорошим», а один критик даже удостоил его определения «захватывающий». Но мне почему-то вдруг стало стыдно. Хоть бы Вахид не спросил, о чем я сейчас пишу.

— Может, тебе стоит опять взяться за Афганистан и рассказать всему миру, что творят талибы в нашей стране? — предложил Вахид.

— Знаешь... не уверен, что справлюсь. Я ведь не публицист.

— Вот оно что, — смутился Вахид. — Тебе, конечно, виднее. Кто я такой, чтобы давать тебе советы?

Вошли Мариам и ее мать с чаем. Я вскочил с места, прижал руки к груди и согнулся в поклоне:

— Салям алейкум.

— Салям, — поклонилась мне в ответ пожилая женщина. Нижняя часть ее лица была

прикрыта хиджабом. Не глядя мне в глаза, женщина поставила передо мной чашку с чаем и неслышно вышла из комнаты.

Я сел и отхлебнул черного ароматного напитка.

Вахид прервал напряженное молчание:

— Что привело тебя обратно в Афганистан?

— А что *их всех* приводит в Афганистан, дорогой братец? — Фарид говорил с Вахидом, но глаз не сводил с меня. В них читалось презрение.

— Бас! — цыкнул на него Вахид.

— Всегда все одно и то же, — не унимался Фарид. — Продать участок, дом, взять денежки и смыться, словно крыса. Как раз хватит, чтобы съездить с семьей в Мексику.

— Фарид! — взревел Вахид. Все вокруг вздрогнули от неожиданности. — Как ты себя ведешь? Ты у меня дома, Амир-ага — мой гость, своим поведением ты меня позоришь!

Фарид открыл было рот, но передумал и не сказал ничего, только устроился поудобнее у стены. Его пронзительный взгляд так и преследовал меня.

— Извини нас, Амир-ага, — уже спокойно сказал Вахид. — У него с детства язык опережает разум.

— Это моя вина, — попытался улыбнуться я. — Я ничуть не обижен. Мне следовало с самого начала объяснить ему, зачем я вернулся на родину. Я не собираюсь продавать недвижимость. Мне надо найти в Кабуле одного мальчика.

— Мальчика, — повторил Вахид.

— Именно так.

Я вытащил снимок из кармана брюк. Стоило взглянуть на улыбающегося Хасана, как сердце у меня заныло и на глаза навернулись слезы. Я протянул фото Вахиду.

— Вот этого мальчика? — уточнил он.

Я кивнул.

— Хазарейца?

— Да.

— Он тебе чем-то дорог?

— Его отец был мне очень дорог. Он рядом с ним на снимке. Его убили.

Вахид сощурился:

— Он был тебе друг?

Скажи «да», шептал мне внутренний голос, будто не желая, чтобы я выдал тайну Бабы. Только лгать больше не хотелось.

— У нас один отец. — Признание далось мне с трудом. — Только матери разные.

— Прости за любопытство.

— Ничего страшного.

— Как ты с ним поступишь, когда отыщешь?

— Заберу его в Пешавар. Есть люди, которые о нем позаботятся.

Вахид вернул мне фото и положил на плечо свою могучую руку.

— Ты честный человек, Амир-ага. Настоящий афганец.

Внутри у меня все сжалось.

— Я горжусь тем, что дал тебе приют под своей крышей, — торжественно сказал Вахид.

Я смущенно поблагодарил и посмотрел на Фариду. Потупив глаза, тот теребил край циновки.

Немного погодя Мариам с матерью подали нам по миске шорвы из овощей и по лепешке.

— Прости, что не предлагаю тебе мяса, — извинился Вахид. — Сейчас только талибы едят мясо.

— Как вкусно, — сказал я совершенно искренне. — Угоститесь вместе с нами.

— Мы все хорошо поели перед вашим приходом, — отказался Вахид.

Нам с Фаридом оставалось только закатать рукава и начать макать хлеб в миски.

Смуглые коротко стриженные ребяташки не отрываясь смотрели мне на руки. Младший прошептал что-то старшему на ухо. Брат кивнул в ответ, раскачиваясь взад-вперед.

Их заинтересовали мои кварцевые часы, понял я.

После трапезы, когда Мариам принесла нам в глиняном горшке воды вымыть руки, я спросил Вахида, можно ли мне сделать его детям *хадиа*, подарок. Он долго не соглашался, но наконец разрешил. Я отстегнул часы и протянул их младшему. Тот застенчиво пробормотал «ташакор».

— Они показывают, который теперь час во всех крупных городах мира, — пояснил я.

Мальчики вежливо поклонились, по очереди примеряя хитрый прибор. Только скоро часы надоели и, никем не востребованные, так и остались лежать на полу.

— Почему ты мне не сказал? — шепотом спросил Фарид, когда мы с ним улеглись на целую кипу соломенных циновок, которые жена Вахида собрала для нас по всему дому.

— О чем?

— Зачем ты приехал в Афганистан. — Из голоса Фариды исчезли резкие интонации, характерные для него чуть ли не с первой минуты нашего знакомства.

— Ты не спрашивал.

— Ты обязан был сказать.

— Но ведь ты не спрашивал.

Он перекатился на другой бок и сунул руку под голову. Теперь его лицо было обращено ко мне.

— Может, я помогу тебе найти мальчика.

— Спасибо, Фарид.

— Нельзя сразу плохо думать о людях, не разобравшись. Я был не прав.

Я вздохнул.

— Не расстраивайся. Так мне и надо.

Руки у него скручены за спиной, грубая веревка впилась до костей, глаза завязаны. Он стоит на коленях над сточной канавой, полной зловонной воды, голова низко склонена, он раскачивается в молитве, кровь сочится из разбитых коленей и сквозь ткань штанов пачкает гравий. В лучах заходящего солнца его длинная тень колеблется и пляшет. Разбитые губы шевелятся. Подхожу ближе. «Для тебя хоть тысячу раз подряд», — повторяет он снова и снова. Поклон — и назад. Поклон — и назад. Он поднимает голову, и я вижу шрам над верхней губой.

Рядом с нами стоит кто-то еще.

Сперва я вижу только ствол автомата, а потом за ним вырисовывается фигура человека в камуфляже, с черной чалмой на голове. В глазах у человека пустота. Он отступает на шаг, вскидывает автомат и упирает ствол в затылок коленопреклоненного. Свет играет на блестящей стали.

Следует оглушительный выстрел.

Взгляд мой скользит выше и выше. Из дыма проступает лицо человека с автоматом.

Это — я.

Просыпаюсь. В горле у меня застрял крик.

Я вышел на улицу, стараясь не шуметь. Надо мною простиралось небо, густо усыпанное звездами, светила серебристая половинка луны. В темноте надрывались сверчки, ветерок шевелил ветви деревьев, земля под босыми ногами была такая холодная... И только сейчас, впервые после пересечения границы, я почувствовал, что вернулся. Столько лет прошло, и вот я снова дома. На этой земле мой прадед женился в третий раз и умер от холеры год спустя. Но новая жена успела родить ему сына, не то что две предыдущие. На этой земле мой дед ездил на охоту с королем Надир-шахом и убил оленя. На этой земле скончалась моя матушка. И на этой земле я старался завоевать любовь отца.

Я сел у саманной стены. Нахлынувшее на меня внезапно чувство родины поразило меня самого. А я-то думал, все давно забыто и похоронено, ведь я уже так давно живу в другой стране, которая для людей, мирно спящих сейчас в доме у меня за спиной, нечто вроде иной галактики. И вот память ко мне вернулась, и при свете полумесяца Афганистан поднялся у меня из-под ног. Может быть, и моя родина меня вспомнит?

Где-то там, за этими горами, лежит Кабул, настоящий, всамделишный город, не бледное воспоминание и не краткое сообщение «Ассошиэйтед Пресс» с пятнадцатой страницы «Сан-Франциско кроникл». Где-то за горами спит Кабул, где я со своим сводным братом запускал воздушных змеев. Город, где бессмысленно убили коленопреклоненного человека из моего сна. Город, где жизнь когда-то поставила меня перед выбором, а через четверть века опять привела сюда, чтобы я ответил за последствия.

Из дома слышались голоса. Среди говоривших, несомненно, был Вахид.

— Детям ничего не осталось...

— Пусть мы голодны, но мы не хамы! Он наш гость! Что мне было делать? — Вахид старался говорить потише.

— Надо завтра хоть чем-нибудь разжиться! А то чем я детей накормлю? — В женском голосе слышались слезы.

Я на цыпочках прокрался в дом. Теперь мне было ясно, почему часы так скоро наскучили детям. Они и не на часы вовсе смотрели. Они наблюдали, как я ем.

Мы уезжали рано. Садясь в машину, я поблагодарил Вахида за гостеприимство. Он ткнул пальцем в свою лачугу:

— Это твой дом.

Трое мальчишек, стоя в дверях, прощались с нами. У младшего на руке болтались мои часы.

Отец с сыновьями скрылись в облаке пыли. Меня поразила мысль, что в другом мире, в том, где живу я, дети-попрошайки не бегают за машинами.

На рассвете, когда никто не видел, я сунул под тюфяк комок банкнот. Нечто подобное я уже проделывал в своей жизни.

Двадцать шесть лет тому назад.

А ведь Фарид меня предупреждал. А как же. Только, как оказалось, впустую.

Мы ехали по усеянному рытвинами шоссе Джелалабад — Кабул. По этой же дороге тряслись мы с отцом в крытом брезентом грузовике — только в противоположном направлении. В ту ночь Бабу чуть не застрелил обкурившийся русский солдат, и я сполна познал, что такое тревога, ужас и гордость. Целых две войны оставили свой след на петляющем меж скал серпантине — сгоревшие танки, съеденные ржавчиной опрокинутые военные грузовики, взорванный бронетранспортер на склоне горы... Какие-то мелкие эпизоды из первой войны я видел сам — вторая предстала передо мной на экране телевизора. И вот теперь я глядел на нее глазами Фариды.

Лавируя между рытвинами, отчаянно вертя баранку туда-сюда, Фарид был в своей стихии. После ночевки в доме Вахида он стал куда разговорчивее. Сейчас я сидел на пассажирском сиденье рядом с ним, и нам было удобнее общаться. Водитель даже пару раз улыбнулся. Чуть ли не в каждой деревне, через которые мы проезжали, Фарид кого-нибудь знал. Теперь почти все его знакомые были либо в могиле, либо в Пакистане в каком-нибудь лагере беженцев.

— Мертвым-то проще, — утверждал Фарид.

Черные обгоревшие стены без крыш. Ни души, только спящий пес.

— И здесь у меня был приятель. Велосипеды чинил — отличный был мастер. Талибы застрелили его, убили всю его семью и сожгли деревню.

Наша машина с ревом прокатилась через пепелище. Пес даже не шелохнулся.

В старые времена дорога от Джелалабада до Кабула занимала часа два. Мы с Фаридом тащились целых четыре. А уж когда приехали...

Еще у водопада Магипар Фарид предупредил меня:

— Кабул теперь совсем другой. Его не узнать.

— Мне говорили.

«Услышать — не то что увидеть», — читалось во взгляде Фариды.

Да уж. Когда столица предстала перед нами, я был совершенно уверен, что мы попали не туда, что это какой-то другой город. Выражение, появившееся у меня на лице, было Фариду не в новинку — ведь он то и дело возил сюда старых кабульцев. И физиономии у всех были такие же обалдевшие.

Он угрюмо хлопнул меня по плечу:

— Добро пожаловать на родину.

Куда ни посмотри — груды камней и нищие. В мое время тоже были попрошайки — Баба, выходя из дома, всегда брал с собой пригоршню мелочи и никому не отказывал в милостыне. Теперь нищие кучами сидели на каждом углу — грязные, в жутких лохмотьях, с протянутыми руками. И большинство — дети, худенькие и печальные, некоторые не старше пяти-шести лет. Безмолвные матери, закутанные с головой, прижимали их к себе, а дети тянули нараспев: «Бакиши, бакиши». Безотцовщина, с запозданием понял я. Все война и война — мужчины теперь в дефиците.

Мы тихо ехали к Карте-Се по улице Джа-де Майванд, некогда одной из самых оживленных в городе. Пересохшая река Кабул осталась на севере. На холмах виднелись остатки стен старого города. Чуть дальше к востоку находилась горная цепь Ширдарваза и древняя крепость Бала Хиссар. Ее в 1992 году занял доблестный полководец Достум, [\[40\]](#) и с этих склонов моджахеды целых четыре года засыпали Кабул реактивными снарядами, — последствия обстрелов я теперь видел собственными глазами. В старые времена именно отсюда раздавались залпы «*топе чаит*» — «полуденной пушки», возвещающей середину дня, а в течение священного месяца Рамадана также наступление ночи. Выстрелы были слышны во всем городе.

— В детстве я частенько проходил по Джаде Майванд, — пробормотал я. — Здесь были магазины, гостиницы и рестораны. И неоновое освещение. Я покупал воздушных змеев у старого мастера Сайфо. У него была своя лавка рядом со зданием полицейского управления.

— Полицейское управление и посейчас здесь, — сказал Фарид. — Стражей порядка в городе хватает. Только воздушных змеев на Джаде Майванд теперь не купить. Да и во всем Кабуле тоже.

Улица смахивала на гигантскую песочницу, где играли малыши, пока их не спугнул ливень, — оплывшие груды строительного мусора словно кучи песка и редкие стены, иссеченные огненным дождем. Из развалин торчал изрешеченный пулями рекламный плакат «DRINK COCA-CO...», среди битого кирпича и искореженной арматуры сновали дети. Народу было немало, некоторые даже на велосипедах или в повозках, запряженных мулами. Одинокий дымок вдали, масса бродячих собак и пыль, пыль, пыль...

— А где деревья? — спросил я.

— Порубили — топить-то зимой чем-то надо. Да и шурави спилили немало.

— Зачем?

— На деревьях прятались снайперы.

Меня охватила печаль — словно я наткнулся на дряхлого больного нищего, в котором после долгой разлуки с трудом можно узнать старого забытого друга.

— Мой отец построил приют в Шари-Кохна, в старом городе.

— Помню. Его разрушили пару лет назад.

— Притормози, пожалуйста. Мне надо выйти.

Фарид въехал в узкий проезд у полуразрушенного дома без дверей и остановился.

— Когда-то здесь была аптека.

Выбравшись из машины, мы направились обратно на Джаде Майванд и свернули направо.

— Чем это так пахнет? — спросил я. У меня прямо глаза слезились.

— Соляркой. Света в городе по большей части нет, так что многие завели себе дизель-генераторы. Или, на худой конец, керосиновые лампы.

— А ты помнишь, чем здесь пахло в старые добрые времена?

Фарид ухмыльнулся:

— Кебабами.

— Из ягнятины, — добавил я.

— Ягнятина, — просмаковал слово Фарид. — Мясо молодого барашка в Кабуле сейчас едят только талибы. — Он схватил меня за рукав. — Ну вот, накликали. Бородатый патруль уже тут как тут.

К нам приближался красный пикап.

Я видел талибов и раньше. По телевизору, в Интернете, на обложках журналов, в газетах. Живьем — никогда.

И вот они передо мной, метрах в десяти-пятнадцати, и напрасно я старался уверить себя, что странный привкус во рту — это не страх, чистейший и беспримесный. Сердце колотилось, руки сводило судорогой.

Миновав нас, красная «тойота» остановилась. В кузове сидело несколько бородатых молодых людей с суровыми лицами, за плечами автоматы, на головах черные чалмы. Смуглый парень чуть за двадцать с густыми бровями оглядывал окрестности, постукивая хлыстом по борту машины. Наши взгляды встретились, и мне показалось, что с меня мигом содрали всю одежду. Хорошо еще, он долго меня не рассматривал, сплюнул коричневой от табака слюной и отвернулся.

Теперь я снова мог дышать.

Пикап дернулся и покатил дальше по улице, оставляя за собой облако пыли.

— Ты что вытворяешь? — прошипел Фарид.

— Что-то не так?

— Никогда не смотри на них! Понял? А то уставился!

— Я нечаянно, — пролепетал я.

— Твой друг прав, ага. Это все равно что дразнить бешеную собаку. — На ступеньках изувеченного здания сидел старый босой нищий в грязнейшей чалме. Левого глаза у нищего не было.

Скрюченной рукой попрошайка указал в сторону, куда отъехала красная машина:

— Они раскатывают по городу и высматривают, к чему бы прицепиться. Рано или поздно кто-нибудь обязательно попадется им на глаза, и появится повод разогнать скуку и лишний раз сказать «Аллах Акбар». Хоть в наше время все стали законопослушные, всегда можно найти к чему придраться. Просто для забавы.

— Если талибы рядом, всегда смотри себе под ноги, — рявкнул Фарид.

— Ваш друг дает вам добрый совет, — подхватил нищий, закашлялся и отхаркнул мокроту в носовой платок. — Простите, не могли бы вы пожертвовать мне небольшую сумму?

— *Бас*. Идем, — потянул меня за руку Фарид.

Я подал старику сто тысяч афгани, что равнялось примерно трем долларам. Он потянулся за деньгами, и в нос мне ударил отвратительный запах кислятины и немытого тела. Меня затошнило.

— Тысяча благодарностей за вашу щедрость, ага-сагиб. — Единственный глаз старика так и бегал, пока он торопливо прятал деньги в пояс.

— Вы случайно не знаете, где в Карте-Се приют? — спросил я.

— Его легко отыскать, от бульвара Дарула-ман надо двигаться на запад, — ответил он. — Детей перевели отсюда в Карте-Се, когда в старый детский дом угодило сразу несколько ракет. Все равно как если бы их забрали из клетки льва и кинули к тигру.

— Спасибо, ага. — Я уже собирался уходить.

— В первый раз, а?

— Простите?

— В первый раз видите талибов?

Я промолчал.

Старый нищий кивнул сам себе и осклабился. Зубов у него во рту оставалось немного.

— Помню, как они входили в Кабул. Какой это был радостный день! Конец смертоубийству! *Vax, vax!* Но сказал поэт: как безмятежна любовь перед лицом беды!

— Я знаю эти строки, — улыбнулся я. — Это Хафиз.

— Точно, — подтвердил старик. — Мне ли не знать. Ведь я преподавал этот предмет в университете.

— Да неужто?

— С 1958 по 1996 год. — Нищий кашлянул. — Я преподавал поэзию Хафиза, Хайяма, Руми, Бедиля, Джами, Саади.^[41] Довелось даже прочесть лекцию по мистике Бедиля в Тегеране в 1971 году. Когда я закончил, мне аплодировали стоя. Вот как! — Старик покачал головой. — Только вы ведь видели этих молодых парней в патрульной машине. Как вы думаете, на что им суфизм?^[42]

— Моя матушка была преподавательницей в университете, — сказал я.

— И как ее звали?

— София Акрами.

Его единственный глаз сверкнул.

— Пустынная колочка благоденствует, а весенний цветок скоро увядает. Такое изящество, такое достоинство и такая трагедия!

Я присел рядом со стариком.

— Вы были знакомы с моей матушкой?

— Разумеется, — ответил нищий. — Мы с ней часто беседовали после занятий. Когда мы виделись с ней в последний раз, экзамены у студентов подходили к концу, лил дождь, и мы съели с ней по куску миндального пирожного с медом и выпили чаю. Беременность удивительно шла ей. Никогда не забуду слов, сказанных ею в тот день.

— И что это были за слова?

На все расспросы о матушке Баба отделялся двумя-тремя словами, вроде «она была замечательная женщина». А мне всегда хотелось подробностей: чем отливали ее волосы на солнце, какое мороженое было ее любимое, какие песни она напевала про себя, обкусывала ли она ногти? Память о супруге Баба забрал с собой в могилу. Может быть, одно упоминание о ней пробуждало в нем чувство вины и его начинала мучить совесть за то, что он сотворил вскоре после ее смерти? Или же утрата была слишком велика и лишнее слово причиняло невыносимую боль? А может, сошлись обе причины?

— Она сказала: «Мне так страшно». А я спросил: «Чего вы боитесь?» И она ответила: «Я слишком счастлива, доктор Расул. Такое счастье не к добру». «Почему?» — спросил я. И она сказала: «Как только дашь людям то, чего они от тебя ждут, блаженство закончится. Тебе просто не позволят больше радоваться». «Зачем же вы так? — возмутился я. — Гоните от себя глупые мысли».

Фарид тронул меня за плечо:

— Нам пора, Амир-ага.

Я отмахнулся от него.

— А что еще она говорила?

Черты лица попрошайки смягчились.

— Если бы я помнил! Ваша матушка скончалась много лет тому назад, а память у меня стала такая же дырявая, как эти стены. Простите меня.

— Может, придет на ум какая-нибудь мелочь, все равно что.

Старик улыбнулся:

— Постараюсь вспомнить. Обещаю. Приходите ко мне попозже.

— Огромное спасибо, — от всего сердца поблагодарил я.

Еще бы. Теперь мне было известно, что матушка любила миндальные пирожные с медом и что однажды она сказала: «Я слишком счастлива». И узнал я все это от чужого оборванного старика на улице.

Невероятное совпадение. Но мы с Фаридом не проронили об этом ни слова, когда шли обратно к своей машине. Мы твердо знали: в Афганистане, а уж особенно в Кабуле, такое стечение обстоятельств в порядке вещей. Баба частенько говаривал: «Оставь двух совершенно незнакомых афганцев на десять минут одних, и они сочтутся родственниками».

Старик остался сидеть на ступенях разрушенного войной здания. Удалось ли ему вспомнить еще что-нибудь о маме, мне не суждено было узнать. Больше мы с ним так и не увиделись.

Новый приют — похожее на казарму невысокое строение с рябыми стенами и забитыми досками окнами — отыскался в северной части Карте-Се, на берегу пересохшей реки Кабул. По пути Фарид сказал мне, что этот район очень сильно пострадал от военных действий. Выйдя из машины, я убедился в этом воочию. Сплошь изрытые воронками улицы, полуразрушенные брошенные дома и развалины. Разбитый телевизор торчал из груды щебня, поодаль ржавел остов автомобиля, на уцелевшей стене красовалась надпись «Да здравствует Талибан!».

Нам открыл худенький плешивый человечек с неопрятной седой бородой. Поношенный твидовый пиджак, крошечная тюбетейка, очки с треснувшими стеклами на кончике носа, бегающие черные глазки.

— Салам алейкум, — приветствовал он нас.

— Салам алейкум. — Я показал ему фотографию. — Мы разыскиваем этого мальчика.

Человечек в очках едва взглянул на снимок.

— К сожалению, я никогда его не видел.

— Эй, дружок, ты бы хоть на фото посмотрел, — вмешался Фарид. — А то неудобно получается.

— Пожалуйста, — добавил я.

Человечек взял у меня фотографию и поднес поближе к глазам.

— Извините. Я знаю в лицо каждого воспитанника, но этот ребенок мне незнаком. Простите, у меня масса дел.

И он захлопнул калитку и задвинул засов.

Я забарабанил в дверь:

— Ага! Ага, прошу тебя, открой. Мы не сделаем ему ничего плохого.

— Я же сказал вам, его здесь нет, — последовал ответ. — Сделайте милость, уходите.

— Дружок, мы не талибы, — негромко, но отчетливо произнес Фарид. — Мы хотим забрать мальчика в безопасное место.

— Я приехал из Пешавара, — убеждал я. — Мой друг знаком с американцами, у которых приют для детей-сирот.

Человечек стоял за калиткой и слушал, это точно. Колебался, что ли?

— Я дружил с отцом Сохраба, — распинался я. — Его звали Хасан. Имя матери мальчика — Фарзана. Свою бабушку он называл Саса. Он умеет читать и писать. И он хорошо стреляет из рогатки. Ага, есть надежда вытащить мальчика из этого кошмара. Прошу

вас, откройте.

Тишина.

— Я — его дядя.

Заскрежетал засов, калитка приоткрылась.

Черные глаза смотрели то на меня, то на Фарида.

— Вы ошиблись только в одном.

— В чем же это?

— По части рогатки он настоящий мастер. С ней он неразлучен. Рогатка всегда у него за поясом.

— Заман, директор детского дома, — представился человечек. — Прошу в мой кабинет.

Мы прошли сквозь толпу босоногих детишек, сгрудившихся в темном замызганном коридоре, миновали ряд комнат с земляным полом, едва прикрытым вытертыми коврами. Окна были заслонены кусками пластика вместо занавесок, плотными рядами стояли голые железные кровати, часто даже без тюфяков.

— Сколько сирот здесь живет? — спросил Фарид.

— Около двухсот пятидесяти. Куда больше, чем мы можем принять. Но они не все сироты. Многие остались без отца, а матерям нечем их кормить, ведь талибы запрещают им работать. И они приводят детей сюда. Со всей округи. — Он печально развел руками. — Здесь лучше, чем на улице, но ненамного. Это ведь нежилое здание — здесь когда-то был склад ковров. Водогрея нет, и колодец высох. — Директор понизил голос: — Сколько раз я просил у талибов денег, чтобы выкопать новый колодец! А они и не почесались. Только теребят свои четки и бормочут, что у них нет средств. Нету — и все.

Заман указал на длинные ряды кроватей:

— Нам не хватает коек и не хватает тюфяков. Хуже того, у нас и одеял мало. — Директор показал пальцем на девочку, которая вместе с двумя другими прыгала через скакалку. — Видите ее? Прошлой зимой мы укрывали несколько детей одним одеялом. Ее брат простудился и умер.

Мы шли по бесконечному коридору.

— По моим подсчетам, риса нам и на месяц не хватит. Когда запасы иссякнут, дети будут питаться одним чаем и хлебом. На завтрак и ужин.

Об обеде, как я понял, и речь не заходила.

Директор внезапно остановился и повернулся к нам лицом:

— Здесь очень мало места, почти нет еды, нет белья, одежды, нет чистой воды. Зато детишек, лишенных детства, в изобилии. И им еще повезло, вот ведь в чем весь ужас. Детский дом переполнен. Каждый день мне приходится отказывать матерям. — Он сделал шаг в мою сторону. — Так, говорите, для Сохраба есть надежда? Дай-то Бог! Только... не слишком ли поздно?

— То есть как?

Глаза у Замана забежали.

— Ступайте за мной.

Четыре голые потрескавшиеся стены, циновка на полу, стол и два складных стула — вот вам и весь директорский кабинет. Стоило нам с Заманом сесть, как из дыры в стене выскочила серая крыса и потрусил к открытой двери. Я даже ноги поджал.

— Что значит «слишком поздно»?

— Не хотите ли чаю? Я сейчас заварю.

— Нет, спасибо. Лучше поговорим. Не до угощений.

Заман скрестил руки на груди.

— Должен сказать вам нечто крайне неприятное. Не говоря уже о связанных с этим опасностях.

— И кто окажется в опасности?

— Вы. Я. И разумеется, Сохраб. Если еще не поздно.

— Да в чем дело, наконец?

— Сперва я задам вам вопрос. Вам очень нужно разыскать племянника?

С уличными мальчишками Хасан всегда дрался за меня, один против двух, а то и трех. А я топтался рядом в нерешительности: и хотелось, и кололось...

В темном коридоре за открытой дверью дети, собравшись в круг, пустились в пляс. Девочка с ампутированной ниже колена ногой, сидя на тюфяке, смотрела на них и улыбалась, а дети шлепали по ее ладошкам... Фарид тоже смотрел на танцующих, его изуродованная рука дрожала. Мне вспомнились мальчишки Вахида, и я понял, что не уеду из Афганистана без Сохраба.

— Где он?

Заман достал карандаш и принялся вертеть в пальцах, мрачно глядя на меня.

— Только не вмешивайте меня в это дело.

— Даю слово.

Директор швырнул карандаш на стол.

— Даже если вы сохраните все в тайне, мне несдобровать. Впрочем, так тому и следует быть. Все равно я проклят за грехи. Но если что-то можно сделать для Сохраба... Я вам скажу, я вам верю. Вы, похоже, готовы на все.

В воздухе повисло молчание.

— Примерно раз в месяц сюда наведывается один высокопоставленный талиб, — выдавил наконец Заман, — и приносит наличные деньги. Немного, но все лучше, чем ничего. Взамен он обычно берет девочку. Правда, не всегда. Иногда мальчика.

— И ты позволяешь? — Фарид придвинулся вплотную к директорскому столу.

Заман отшатнулся к стене.

— А у меня есть выбор?

— Ты же директор. Это твоя работа — следить, чтобы с детьми не приключилось ничего плохого.

— Положить этому конец выше моих сил.

— Ты торгуешь детьми! — взревел Фарид.

— Фарид, успокойся! — закричал я.

Поздно. Быстрое движение — и стул летит в сторону. Директор пригвожден к полу. Колени Фариды упираются ему в грудь, руки сошлись на горле. Бумаги со стола разлетаются по всей комнате.

Заман хрипит. Вцепляюсь Фариду в плечи и пытаюсь оттащить. Не получается. Лицо у Фариды налито кровью, из груди рвется звериный рык:

— Я убью его! Только не мешай!

— Оставь его!

— Задущу!

А ведь и впрямь задушит. У меня на глазах. Надо что-то делать.

— Дети же смотрят, Фарид. Опомнись, наконец!

Шею он ему, что ли, свернул? Нет, обошлось.

Фарид оборачивается и видит детей. Взявшись за руки, они в молчании смотрят на него, у некоторых слезы на глазах.

Фарид разжимает тиски и поднимается с пола. Глядя на поверженного Замана, он смачно плюет ему в лицо. Затем подходит к двери и закрывает ее.

Заман с трудом встает, рукавом вытирает слезы. Губы у него окровавлены. Задышавшись и кашляя, он натягивает тюбетейку, надевает очки. Стекла не вылетели, только трещинок прибавилось.

Директор снимает очки и закрывает лицо руками.

Долго-долго никто не произносит ни слова.

— Он забрал Сохраба месяц назад, — хрипит Заман.

— И ты называешь себя директором? — опять взрывается Фарид.

Заман отрывает руки от лица.

— Вот уже полгода мне не платят жалованья. Все свои сбережения я потратил на детский дом. Я продал все, что у меня было, только бы этот забытый Богом приют хоть как-то дышал. Думаете, у меня нет родственников в Пакистане или Иране? Я мог бы бежать из страны, как все прочие. Но я остался. Из-за *них*. — Заман показывает на дверь. — Если я не дам ему одного ребенка, он заберет десятерых. И я не препятствую, да будет Аллах судьей ему и мне. Я беру эти мерзкие грязные деньги, иду на базар и покупаю еду для детей.

Фарид смотрит в пол.

— А что происходит с детьми, которых он уводит с собой?

Заман трет глаза.

— Некоторые возвращаются.

— Кто он такой? Как мне его найти? — спрашиваю я.

— Отправляйтесь завтра на стадион «Гази». В перерыве матча вы его увидите. Он единственный носит темные очки, — отвечает Заман. Руки у него трясутся. — А теперь уходите. Дети перепуганы.

Он провожает нас к выходу.

Машина отъезжает. В зеркало заднего вида вижу Замана. Он стоит у калитки в окружении толпы детей, ручонки самых маленьких вцепились ему в пиджак. Очки опять у него на носу.

Направляясь в Вазир-Акбар-Хан, мы пересекли реку и оказались на оживленной площади Пуштуни-стана. Когда-то мы с Бабой ели здесь кебабы в ресторане «Хайбер». Вот, кстати, и ресторан. Двери на замке, окна заколочены, на вывеске не хватает букв.

С балки, выступавшей из-под крыши ресторана, свисала веревка, на ней болтался повешенный — молодой парень в окровавленных лохмотьях, лицо синее, вздувшееся. Прохожие старались не смотреть на казненного.

Над прокаленным солнцем городом висела пыль. Площадь осталась позади. На каком-то перекрестке Фарид указал мне на двух мужчин, погруженных в жаркий спор. Один из них, одноногий, держал в руках протез.

— Знаешь, чем они заняты? Торгуются из-за искусственной ноги.

— Инвалид хочет продать свой протез?

— Ну да. Неплохие деньги, между прочим. Будет чем кормить детей месяц-полтора.

К моему удивлению, большинство домов в Вазир-Акбар-Хане оказались целехоньки, и деревья за заборами тоже, не то что в Карте-Се. Даже дорожные указатели — правда, ржавые и покосившиеся — были в наличии.

— Тут еще куда ни шло, — заметил я.

— Ничего удивительного. Все важные особы живут теперь здесь.

— Талибы?

— И они тоже.

— А кто еще?

Фарид свернул на широкую чистую улицу с подметенными тротуарами.

— Те, кто стоит за талибами. Кто думает за них. Арабы, чеченцы, пакистанцы. (Еще поворот.) Пятнадцатая улица, ее еще называют Сараки-Мемана, улица гостей. Это они — гости. Ох и обгадится же вся эта публика в один прекрасный день!

— По-моему, здесь! — вскричал я. — Сюда, сюда!

В детстве у меня был надежный ориентир. «Если заблудишься, — часто повторял Баба, — запомни: в конце нашей улицы стоит розовый дом, он один такой».

Вот он, розовый дом с островерхой крышей, никуда не делся. До дома отца отсюда рукой подать.

До дома отца...

Однажды в зарослях шиповника мы нашли черепашку (ума не приложу, как она туда попала) и пришли в восторг. Хасан сразу предложил выкрасить ей панцирь в ярко-красный цвет, что мы немедленно исполнили. Теперь черепашку было видно издалека и можно было начинать игру. Значит, двое отважных исследователей обнаружили в глухих джунглях гигантское доисторическое чудовище и с великими трудами вывезли его в обжитые места, чтобы продемонстрировать людям. Деревянная тележка, которую Али сделал собственноручно и прошлой зимой подарил Хасану на день рождения, превратилась в огромную стальную клетку. Почтеннейшая публика, вот вам огнедышащий монстр, смотрите и удивляйтесь! Волоча за собой тележку с черепахой, мы обходили яблони и

вишни, ставшие небоскребами, из окон которых на нас смотрели тысячи и тысячи глаз. Небольшой горбатый мостик возле участка с инжиром обернулся огромным подвесным мостом, соединяющим два громадных города, а из пруда под ним получилось отличное бурное море. При вспышках фейерверка нам отдавали честь выстроенные в каре войска. Мы везли скребущуюся черепашку по вымощенной красным кирпичом дорожке к воротам, и главы государств аплодировали нам стоя. Нам, Хасану и Амиру, знаменитым путешественникам и искателям приключений, вот-вот должны были вручить почетную медаль за проявленные доблесть и мужество...

Я осторожно приблизился к воротам. Меж кирпичей, которыми был замощен двор, густо пробивались сорняки, металлические прутья в ржавчине. Сколько раз я выбегал через эти ворота, торопясь куда-нибудь по важному делу... И какой чепухой теперь представляются важные дела моего детства!

Проезд от ворот во двор, где мы с Хасаном учились кататься на велосипеде, сделался как-то короче и уже, асфальт покрылся трещинами, сквозь трещины лезли вездесущие сорняки. От большей части тополей, на которые мы с Хасаном так часто залезали и пускали солнечные зайчики в окна соседям, остались одни пеньки, прочие деревья стояли без листьев. «Стена чахлой кукурузы» сохранилась, только рядом с ней теперь ничего не росло, да и побелка осыпалась, обнажив кирпич. Лужайку перед домом пятнали проплешины, вся трава была в коричневатой пыли.

Во дворе стоял джип. (Откуда он только взялся, где же отцовский черный «форд-мустанг»? Столько лет по утрам меня будил рев его восьми цилиндров!) Под машиной кляксой Роршаха растекалась маслянистая лужица. За джипом валялась опрокинутая набок тачка.

Слева от проезда Али и Баба всегда высаживали розы. Ни цветочка, только грязь и сорняки.

Фарид дважды посигналил мне.

— Поехали, ага. Торчим здесь у всех на виду.

— Еще минуточку, — пробормотал я.

Дом больше не был белой громадиной из моего детства. Штукатурка потрескалась, крыша просела, окна в гостиной, в вестибюле и в ванной на втором этаже затянуты полиэтиленовой пленкой, стены приобрели неприятный серый оттенок, местами краска шелушилась и пузырилась. Ступени у парадного входа будто кто обгрыз. Жалкие остатки былой роскоши — определение подходило не только к особняку отца, но и ко всему Кабулу.

Я приподнялся на цыпочки, но ничего не разглядел за третьим к югу от входа окном второго этажа, за которым когда-то находилась моя спальня. Двадцать пять лет назад я стоял у этого окна. Лило как из ведра, Али и Хасан грузили свои пожитки в багажник машины отца, и стекло туманилось от моего дыхания.

— Амир-ага, — позвал опять Фарид.

— Иду, — отозвался я.

Меня охватило безумное желание войти в дом, взлететь по ступеням, возле которых мы оставляли грязные сапоги, вбежать в пахнувший апельсиновой коркой вестибюль (Али сжигал ее в печке), выпить в кухне чаю с лепешкой нан, послушать, как Хасан поет старинные хазарейские песни.

Опять бибиканье. Пора.

— Мне надо наведаться еще кое-куда, — сказал я Фариду, прикорнувшему за рулем с сигаретой в зубах.

— Только по-быстрому.

— Дай мне десять минут.

— Валяй. Только ты не очень там.

— О чем это ты?

— Не принимай все близко к сердцу. Было и прошло. — Фарид выбросил в окно окурок. — Проще забыть.

— Я и так только и делал, что старался забыть. Хватит уже. — Я перевел дыхание. — Десять минут, не больше.

Мы с Хасаном всегда легко взбирались на наш холм. Порой даже играли на склоне в догонялки. И еще: с холма был отлично виден аэропорт с самолетами. Иногда мы садились и смотрели на них, а потом опять принимались носиться.

Теперь я поднялся на вершину с залитым потом лицом, задыхаясь и жадно хватая ртом воздух. Отдышавшись немного, отправился на поиски старого кладбища. Нашел я его не сразу.

Вот они, древние ворота на столбах из серого известняка, — за ними Хасан похоронил свою мать. За сорняками не видно стены. Две вороны словно стерегли покой мертвых.

В своем письме Хасан сообщил, что гранат давно уже не приносит плодов. Сейчас, похоже, дерево и вовсе засохло. Я постоял, вспоминая, как мы забирались на него, как сидели на ветках, болтая ногами, как свет и тень играли на наших лицах. Терпкий привкус гранатового сока появился у меня во рту.

Присев на корточки, я провел рукой по стволу. Полустершаяся, едва различимая надпись была на месте. «Амир и Хасан — повелители Кабула». Я пощупал пальцами буквы и отломил кусочек коры.

Подо мной раскинулся город моего детства. Когда-то деревья росли за каждой стеной, в каждом дворе, голубое небо простиралось широко, выстиранное белье слепило своей белизной. Крики торговцев фруктами, проходящих по улицам со своими навьюченными осликами, были слышны даже здесь, на холме: *Вишни! Абрикосы! Виноград!* А когда день клонился к вечеру, до наших ушей долетал призыв муэдзина с минаретов мечети в Шаринау.

Фарид опять подал сигнал и помахал мне рукой. Срок мой вышел.

На юг, обратно к площади Пуштунистана. По пути нам встретилось несколько красных пикапов, забитых вооруженными бородачами. Обгоняя такую машину, Фарид всякий раз тихонько ругался.

За стойкой портье в крошечной гостинице неподалеку от площади три девчушки в одинаковых черных платьях и белых платочках жалась к тощему очкастому субъекту. Очкарик запросил с меня невиданную цену за номер — целых 75 долларов, но я не стал торговаться. Одно дело, когда тебя обдирают как липку в пляжном домике на Гавайях, и совсем другое здесь, когда нечем кормить детей.

Горячей воды не было. Холодная из бачка треснувшего унитаза не текла. Потрепанный тюфяк на продавленной сетке односпальной панцирной кровати, старенькое одеяло (одно!), деревянный стул в углу — вот и вся обстановка.

Окно, выходящее на площадь, было разбито. На стене за кроватью засохло огромное

коровавое пятно.

Я дал Фариду денег и отправил за едой. Он скоро вернулся с четырьмя шампурами шипящих кебабов, лепешками и миской риса. Мы сели на кровать и в один присест уплели все. Хотя *что-то* осталось в Кабуле неизменным: кебабы были такими же ароматными и нежными, как в детстве.

Фарид лег на полу, завернувшись во второе одеяло, за которое хозяин потребовал с меня дополнительную плату. Комната освещалась лунным светом, проникавшим сквозь треснутое окно. Фарид сказал, что, по словам хозяина, электричества в Кабуле нет вот уже два дня, а генератор сломан. Мы разговорились. Фарид рассказал мне про Мазари-Шариф и Джелалабад, где прошло его детство, про Панджшерское ущелье, где они с отцом сражались с шурави и где было до того голодно, что приходилось питаться саранчой, рассказал про гибель отца и двух своих дочерей, расспросил об Америке. Я поведал ему, что в Америке в самом захудалом магазине можно купить пятнадцать-двадцать разновидностей хлопьев, баранина всегда свежая, а молоко всегда холодное, фруктов много, вода чистая, и в каждом доме есть телевизор, и у каждого телевизора — пульт дистанционного управления, а если захочешь, можно установить спутниковую тарелку и принимать пятьсот каналов, а то и больше.

— Неужели пятьсот? — не поверил своим ушам Фарид.

— Не меньше.

Фарид смолк. Я уж думал, он засыпает, когда раздалось хихиканье.

— Амир-ага, ты слышал историю, как дочь Муллы Насреддина явилась к отцу и пожаловалась, что ее избил муж?

В ответ я сам невольно заулыбался. Ну нет на свете афганца, который не знает хотя бы парочки анекдотов о хитреце Насреддине!

— И что на это Мулла Насреддин?

— Он накинулся на дочь и избил еще раз. А потом сказал: если этот мерзавец колотит мою дочь, то я в отместку побью его жену!

Я засмеялся. Все-таки афганский юмор живуч. Страшные войны прокатились по земле моей родины, был изобретен Интернет, космический робот ползает по поверхности Марса, а афганцы, как и столетия назад, по-прежнему рассказывают друг другу анекдоты про Насреддина.

— А ты знаешь, как Мулла Насреддин сперва взвалил себе на плечи тяжелый груз и только потом сел на осла?

— Нет.

— Какой-то прохожий посоветовал ему: переложи поклажу на ишака. А Насреддин ответил: он и меня одного везет с трудом. А так ему будет полегче.

Через некоторое время запас историй иссяк и мы опять смолкли.

— Амир-ага? — вырвал меня из дремы голос Фариды.

— Что?

— Зачем ты сюда приехал? Ведь была же у тебя *настоящая* причина?

— Я уже сказал тебе зачем.

— За мальчиком?

— За мальчиком.

Фарид пошевелился на полу.

— Прямо не верится.

— Мне самому порой не верится.

— Да нет, я не об этом... Почему именно за *этим* мальчиком? Ты едешь из Америки через полмира ради *шиита*?

Охота смеяться у меня сразу пропала. И сон тоже.

— Я устал, — кратко ответил я. — Давай лучше спать.

Вскоре раздался храп Фарида. А я лежал, скрестив руки на груди, смотрел через разбитое окно на звезды и думал, что злые языки, быть может, и правы, когда поносят Афганистан. Просто руки опускаются иногда.

Многотысячная толпа гомонила на трибунах стадиона «Гази», по ступенькам носились дети, пряный аромат гороха нут в остром соусе смешивался с запахом дерьма и пота. Разносчики наперебой предлагали сигареты, кедровые орешки и сласти.

Костлявый парень в твидовом пиджаке ухватил меня за локоть и зашептал на ухо:

— Предлагаю эротические картинки. Очень сексуальные, ага.

Глаза у парня бегали — в точности как у той девчонки, что как-то предлагала мне на улице Сан-Франциско наркотики. Продавец на мгновение распахнул пиджак и продемонстрировал свой товар: открытки с кадрами из индийских фильмов, где волоокие красавицы, полностью одетые, нежились в объятиях своих возлюбленных.

— Очень сексуальные, — повторил торговец.

— Спасибо, не надо.

— Ведь поймают парня, шкуру спустят, — бурчал Фарид, пробираясь сквозь толпу. — Так всыпят, мало не покажется.

Места, разумеется, были не нумерованы: кто успел, тот и сел. Ну, толкаться-то Фарид умел, и вскоре мы вполне удобно расположились на центральной трибуне.

В семидесятые, когда Баба таскал меня сюда на футбольные матчи, газон был ровный и зеленый. Теперь внизу лежал голый кочковатый выгон, на котором не было ни травинки. За южными воротами виднелись две глубокие ямы. Когда команды наконец вышли на поле — все футболисты в длинных штанах, несмотря на жару, — мяч просто исчез в столбах пыли. Молодые талибы с хлыстами в руках прохаживались по рядам. Громко закричал — получи.

Они появились в перерыве между таймами, сразу после свистка. На стадион вкатились два хорошо мне знакомых красных пикапа, в кузове одного сидела женщина в зеленой бурке, в другой машине — мужчина с завязанными глазами.

Зрители встали. Машины медленно объехали вокруг поля, чтобы всем было видно.

Кадык у Фарида так и прыгал.

Сверкая хромом, машины направились к южным футбольным воротам. Там их поджидал третий автомобиль, который уже начали разгружать. Только тут я понял, зачем нужны ямы.

Толпа одобрительно загудела.

— Хочешь остаться? — мрачно глянул на меня Фарид.

— Нет, — ответил я. (Закрыть глаза, зажать уши и бежать отсюда!) — Только нам придется досидеть до конца.

Двое талибов с автоматами за плечами помогли выбраться из машины мужчине с завязанными глазами, двое других занялись женщиной. Колени у бедняжки подогнулись, и она осела на землю. Женщину подняли, но ее уже не держали ноги. Вновь оказавшись на земле, она забилась и душераздирающе закричала. До гробовой доски буду я помнить этот вопль — так кричит попавший в капкан зверь. Совместными усилиями приговоренную

отволокли в яму, теперь были видны только ее голова и плечи. Мужчина, напротив, не сопротивлялся и сошел в яму молча.

У места казни появился круглолицый белобородый мулла, одетый в серое, и откашлялся в микрофон. Женщина в яме кричала не умолкая. Мулла прочел длинную молитву из Корана, его гнусавый голос плыл над притихшим стадионом.

Много лет тому назад Баба сказал мне: «Эти самодовольные обезьяны достойны лишь плевка в бороду. Они способны только теревить четки и цитировать книгу, языка которой они даже не понимают. Не приведи Господь, если они когда-нибудь дорвутся до власти в Афганистане».

Закончив молитву, мулла опять покашлял и возгласил:

— Братья и сестры! (Теперь он говорил на фарси.) Нам сегодня предстоит исполнить предписания шариата. Сегодня свершится правосудие. Воля Аллаха и его пророка Мохаммеда, да будет благословенно его имя во веки веков, жива в Афганистане, на нашей обожаемой родине. Мы покорно исполняем волю Господа, ибо кто мы есть перед лицом его? Жалкие, беспомощные создания. А что нам говорит Господь? Спрашиваю вас, ЧТО НАМ ГОВОРИТ ГОСПОДЬ? Аллах говорит: «Да воздастся им по грехам их». Это не мои слова и не моих братьев. Это слова ГОСПОДА! — Он указал на небо.

Голова у меня раскалывалась, я изнывал от жары.

— Каждому грешнику да воздастся по грехам его, — повторил мулла драматическим шепотом. — Так какое наказание, братья и сестры, воспоследует прелюбодею? Как мы покараем того, кто надругался над священными узами брака? Как мы поступим с теми, кто оскорбил Господа — швырнул камень в окно дома Божия? Мы ответим им тем же — ЗАБРОСАЕМ КАМНЯМИ!

Тихий ропот прокатился по толпе.

— И они называют себя мусульманами, — покачал головой Фарид.

Из машины вышел высокий широкоплечий человек в ослепительно белом одеянии, развевающимся на ветру. Трибуны нестройно приветствовали его. Никакого наказания за неприлично громкие выкрики на этот раз не последовало. Высокий раскинул руки, словно Иисус на кресте, и медленно повернулся вокруг своей оси, здороваясь с публикой. На нем были круглые черные очки типа тех, что носил Джон Леннон.

— Похоже, это наш, — одними губами сказал Фарид.

Высокий талиб в черных очках взял из кучи, выросшей возле третьей машины, камень и показал толпе. Крики сменились каким-то жужжащим звуком. Я посмотрел на соседей. Оказалось, все цокают языками. Талиб, удивительно похожий сейчас (как ни дико это прозвучит) на подающего в бейсболе, размахнулся и метнул камень в мужчину с завязанными глазами, угодив точно в голову. Стадион охнул. Женщина в яме опять закричала.

Я закрыл лицо руками. Стадион размеренно ахал. Через какое-то время все стихло.

— Кончено? — спросил я у Фариды.

— Нет еще, — ответил он сквозь зубы.

— А почему все молчат?

— Устали, наверное.

Не знаю, сколько еще длилась экзекуция. Вдруг вокруг меня градом посыпались вопросы:

— Убили? Не шевелится? Казнь совершилась?

Я отнял руки. Человек в яме был одна сплошная кровоточащая рана. Изувеченная голова

свесилась на грудь. Талиб в очках перекладывал камень из руки в руку. У ямы появился человек со стетоскопом, присел на корточки, приставил трубку к груди казнимого и покачал головой. По толпе пронесся стон.

Талиб в очках опять размахнулся.

Когда все было кончено и окровавленные тела небрежно забросили в две машины, люди с лопатами торопливо забросали ямы песком. На поле выбежали футболисты. Начался второй тайм.

О встрече мы условились. Сегодня, в три часа дня. Все прошло на удивление легко. Я-то думал, начнутся проволоочки, расспросы, проверки документов. Ничего подобного. Никакого бюрократизма, что, в общем, и всегда было характерно для Афганистана. Фарид просто сказал талибу с хлыстом, что нам надо переговорить с человеком в белом по личному вопросу. Талиб без лишних вопросов крикнул что-то на пушту молодому парню на поле, тот побежал к южным воротам, где «Леннон» говорил с муллой в сером. Краткий обмен репликами — палач в очках взглянул в нашу сторону, кивнул и сказал что-то на ухо молодому парню.

Как оказалось, назначил время. Три часа дня.

Вазир-Акбар-Хан, Пятнадцатая улица. Она же Сараки-Мемана, улица гостей. Фарид остановил машину возле большого особняка, в тени ив, свешивающихся из-за каменного забора, и выключил двигатель. Некоторое время мы сидели в молчании, слушая, как потрескивает остывающий мотор. Фарид смущенно перебирал пальцами ключи, торчащие из замка зажигания, явно собираясь сказать что-то важное.

— Пожалуй, я подожду тебя в машине, — произнес он наконец, глядя в сторону. — Ты уж теперь как-нибудь сам.

Я похлопал его по руке:

— Я и так у тебя в долгу. Не надо тебе идти со мной.

Храбришься? А ведь страшно одному-то. Отец бы бурей ворвался в дом и потребовал, чтобы его проводили к хозяину. Попробовал бы кто-нибудь ему помешать! Только Баба давно уже покойтся с миром на маленьком кладбище в Хэйворде, и где-то месяц назад мы Сораей положили цветы на его могилу. Маргаритки и ландыши.

Я выбрался из машины, приблизился к высоким деревянным воротам и нажал на кнопку звонка. Тишина. Значит, электричество так и не дали. Пришлось стучать. На пороге моментально появились двое с автоматами.

Я оглянулся на Фариду и беззвучно прошептал: «Я вернусь». Хотя никакой уверенности у меня не было.

Меня обыскали с головы до пят, похлопали по ногам, ощупали промежность. Один охранник сказал что-то на пушту, и оба засмеялись. Вот и двор. Тщательно постриженная лужайка, подрезанные кусты, клумбы с геранью, в дальнем конце двора — колодец с ручным насосом. У Кэки Хамаюна в Джелалабаде был точно такой же, и мы с двойняшками, Фазилай и Каримой, частенько бросали туда камешки и ждали, когда «плюхнет».

Мы с охранниками поднялись по ступенькам и вошли в большой, скупо обставленный вестибюль. Всю стену занимал флаг Афганистана. Меня препроводили на второй этаж. Гостиная. Два массивных зеленых дивана, телевизор с большим экраном в углу, молитвенный коврик с изображением Мекки. Ствол автомата указал мне на диван. Я послушно сел, и охранники удалились.

Я скрестил ноги. Выпрямил. Положил вспотевшие ладони на колени. Поза, по-моему, тревожная. Сложил руки вместе. Еще хуже. Пришлось скрестить их на груди. В висках пульсировала кровь. Я был совсем один. Мысли в голове вертелись разные, но все заглушал голос рассудка: как только меня угораздило влипнуть в эту историю? Чистое безумие: за тысячу миль от дома я сижу в некоем преддверии ада и жду человека, который сегодня у меня на глазах убил двоих. А о жене ты подумал? Как бы Сорае в свои тридцать шесть не остаться вдовой!

Это ведь вроде и не ты совсем, Амир. Ты же такой нерешительный, ты не создан для подвигов и сам всегда это сознавал. Трусость и благоразумие идут рука об руку. Но когда трус забывает, кто он такой... да поможет ему Бог.

У дивана стоял кофейный столик. Кольцо из шариков, каждый размером с грецкий орех, охватывало ножки стола в том месте, где они скрещивались. Совсем недавно я видел точно такое же кольцо. Где это было? Ну конечно. В Пешаваре, в чайной. Только тут на столе еще

и чаша с красным виноградом. Я отщипнул ягоду и кинул в рот. Отвлечься, все равно на что, лишь бы отогнать от себя черные мысли. Виноград такой сладкий. А у меня во рту с самого утра маковой росинки не было.

Дверь распахнулась. Вот он, мой высокий талиб в темных очках, гуру новейших времен, два уже знакомых мне охранника по бокам.

Он сел на диван напротив и молча уставился на меня — одна рука на подлокотнике, вторая перебирает бирюзовые четки. Теперь на нем поверх белого одеяния был черный жилет, запястье украшали золотые часы. На левом рукаве я заметил бурое пятно — кровь. Почему это он, интересно, не удосужился переодеться после казни?

Время от времени его свободная рука будто медленно поглаживала невидимого зверька. При этом рукав задирался, обнажая характерные пятна у основания ладони. Точно такие же я видел у определенного вида бродяг в Сан-Франциско.

Кожа у него была значительно блее, чем у охранников, почти землисто-бледная, на лбу у самой черной чалмы сверкали капельки пота, окладистая борода тоже была светлее, чем у молодых парней.

— Салям алейкум, — сказал наконец талиб.

— Салям.

— И на что вам эта штуковина? Снимите.

— Извините, не понял.

Талиб сделал знак охраннику. *Дерг!* И парень, гнусно ухмыляясь, уже мнет в руках мою бороду.

— Мастерская работа, — усмехнулся талиб. — Только без нее лучше. Ведь правда?

Он щелкнул пальцами, сжал и разжал кулак.

— Значит, вам понравилось сегодняшнее представление?

— Так это было представление? — спросил я, потирая щеки.

Неужели голос у меня дрожит?

— Публичная казнь — величайшее зрелище, брат мой. Драма. Напряжение. И наконец, хороший урок.

Талиб опять щелкнул пальцами. Охранник подал зажигалку. Талиб закурил, засмеялся и что-то пробормотал. Руки у него тряслись, и сигарета едва не полетела на пол.

— Лучшее свое представление я дал в Мазари-Шарифе в девяносто восьмом.

— Простите, что?

— Мы бросили тела собакам, представляете?

Я понял, о чем он.

Талиб поднялся. Обошел вокруг дивана. Раз, другой. Опять сел и зачастил:

— Мы шли от дома к дому, хватали мужчин и мальчиков и расстреливали на глазах женщин, девочек и стариков. Пусть видят. Пусть помнят, кто они такие и где их место. В некоторые дома мы врвались, высадив дверь. И... я стрелял длинными очередями, во все стороны, пока не кончались патроны в рожке и дым не начинал есть глаза. — Он наклонился ко мне поближе, будто желая сообщить какую-то тайну. — Что такое подлинная свобода, понимаешь только там. Безгрешный и нераскаявшийся, ты вершишь благое дело, пули веером по комнате, и каждая находит свою цель. Ты — орудие в руках Господа. Это бесподобно. — Он поцеловал четки и вздернул подбородок. — Помнишь, Джавид?

— Да, ага-сагиб, — отозвался охранник помоложе. — Как такое забудешь?

Я читал о массовом истреблении хазарейцев в Мазари-Шарифе, городе, который одним

из последних пал под натиском талибов. Сорая была такая бледная, когда передавала мне за завтраком газету.

— Дом за домом. Мы прерывались только на еду и молитву, — гордо продолжал талиб, будто речь шла о каком-то великом свершении. — Мы оставляли тела валяться на улице и стреляли, если родственники пытались затащить их в дом. Город был усеян трупами, псы рвали их на части. Собакам — собачья смерть. — Зажатая в пальцах сигарета ходуном ходила. Он приподнял очки и провел трясущейся рукой по глазам. — Вы приехали из Америки?

— Да.

— Старая шлюха еще не сдохла?

Мне невыносимо захотелось помочиться. Ничего, сейчас пройдет.

— Я ищу мальчика.

— Любой сгодится? — сострил талиб.

Парни с автоматами заржали. Зубы у них были зеленые от *насвара*.

— Насколько я понял, он здесь, с вами. Его зовут Сохраб.

— Я задал вам вопрос. Почему вы живете со старой шлюхой? Почему вы не на Родине, не служите Отечеству вместе со своими братьями-мусульманами?

— Я уже давно уехал из Афганистана. — Вот и все, что пришло мне на ум. Лицо у меня горело. Чтобы не обмочиться, я сжал колени.

Талиб повернулся к стоящим у двери охранникам:

— Это ответ?

— Нет, ага-сагиб, — рявкнули они хором.

Хозяин затаился сигаретой и опять уставился на меня.

— Это не ответ, говорят. Некоторые люди моего круга придерживаются мнения, что покинуть Родину, когда ты ей нужен как никогда, равносильно предательству. Я мог бы вас арестовать за измену, даже если бы вы только задумали эмигрировать. Вам страшно?

— Все, что мне нужно, это отыскать мальчика.

— Вам страшно?

— Да.

— Ну еще бы. — Он раздавил в пепельнице сигарету и откинулся назад.

Я подумал о Сораяе и, странное дело, немного успокоился. Перед глазами у меня встала родинка в форме полумесяца, наши отражения в зеркале под зеленым покрывалом, румянец на ее щеках, когда я признался ей в любви. Мы кружились в танце, звучала афганская музыка, цветы, нарядные платья, смокинги и улыбки проносились мимо и тонули в тумане...

Талиб что-то сказал.

— Что, простите?

— Я спросил, вы хотите видеть его? Моего мальчика? — Губы хозяина сложились в усмешку.

— Да.

Охранник вышел из комнаты. Скрип открывающейся двери, отрывистые слова на пушту. Шаги, сопровождаемые звоном колокольчиков. В Кабуле мы с Хасаном хвостом ходили за человеком с обезьянкой. Дашь хозяину рупию, и мартышка станцует для тебя. Колокольчик у нее на шее тоже так гремел.

Охранник вернулся со стереосистемой на плече. За ним шагал мальчик, одетый в бирюзовый пирхан-тюмбан.

Сходство было поразительное. Немыслимое. Невозможное. Снимок Рахим-хана и в малейшей степени не передавал его.

Вылитый отец. Круглое лунообразное лицо, выпирающая косточка на подбородке, низко посаженные уши-раковинки, изящное сложение. Китайская кукла моего детства, лик, сквозивший зимой за картами, а летом — за накомарником, когда в жаркие ночи мы спали на крыше.

Голова у мальчика была обрита, глаза накрашены, щеки нарумянены, на ногах — браслеты с колокольчиками.

Какое-то время он смотрел на меня, потом опустил глаза и стал разглядывать собственные босые ноги.

Охранник нажал кнопку, из динамиков понеслась пуштунская музыка в традиционной инструментовке. Как я понял, талибам слушать музыку дозволялось. Хозяин и охранники начали прихлопывать.

— Вах, вах! Машалла! — подбадривали они мальчика.

Сохраб встал на цыпочки, поднял руки и закружился, то падая на колени, то изгибаясь всем телом, то опять становясь на кончики пальцев, то прижимая руки к груди и раскачиваясь. Шуршали по полу босые ноги, в такт *табле*^[43] позвякивали колокольчики. Глаза у Сохраба были закрыты.

— Машалла! — кричали зрители. — Шабас! Браво!

Охранники свистели и смеялись, талиб ритмично мотал головой. На устах у него застыла гадкая усмешка.

Музыка оборвалась. Колокольчики звякнули раз и затихли, а Сохраб застыл, не закончив очередного па.

— *Биа, биа*, дитя мое, — произнес талиб, подзывая мальчика.

Сохраб подошел поближе. Талиб обнял его и прижал к себе.

— Какой талантливый у меня хазарец!

Хозяин погладил ребенка по спине и пощекотал под мышками. Один охранник пихнул другого локтем и издал смешок.

— Убирайтесь, — велел талиб.

— Слушаемся, ага-сагиб, — вытянулись в струнку парни.

Хозяин повернул мальчика лицом ко мне, обхватил Сохраба за живот и положил подбородок ему на плечо. Мой племянник смотрел себе под ноги, время от времени смущенно поглядывая на меня. Руки талиба медленно и нежно гладили тело Сохраба, скользя все ниже и ниже.

— Интересно, — выговорил хозяин, глядя на меня поверх очков, — что приключилось со старым *Бабалу*?

Мне будто кто в лоб засветил. Я, наверное, ужасно побледнел. Ноги у меня похолодели.

Талиб засмеялся:

— А ты что думал? Что я куплюсь на фальшивую бороду и не узнаю тебя? Ты, похоже, не в курсе: у меня изумительная память на лица. Абсолютная. — Он поцеловал Сохраба в ухо. — Я слышал, твой отец умер. *Тц-тц-тц*. Вот бы с кем я хотел потягаться. Ну да ничего. И сынок-слюнтяй сойдет.

Хозяин снял очки. Его злые голубые глаза были налиты кровью.

Дыхание у меня словно отшибло, веки прихватило морозом. *Этого не может быть!* Мир вокруг застыл. Вот — прошлое опять накрыло меня. Откуда-то из темных глубин всплыло

имя, но произнести его — значило сотворить заклинание, призвать темные силы. Только что, как не исчадие ада, уже сидело в трех метрах от меня, явившись по прошествии стольких лет?

— Асеф, — пробормотали мои губы невольно.

— Амир-джан.

— Что ты здесь делаешь? — сорвался у меня глупейший вопрос.

— Я? — поднял бровь Асеф. — Я-то в своей стихии. А вот *ты* что здесь делаешь?

— Я же тебе уже сказал... — Голос у меня дрожит. Проклятый страх, пронизывающий все мое тело!

— Мальчик?

— Да.

— На что он тебе?

— Я заплачу за него. Мне переведут деньги.

— Какие там деньги! — расхохотался Асеф. — Ты когда-нибудь слышал про Рокингхем? Это в Западной Австралии. Райский уголок. Куда ни кинешь взгляд, пляж. Зеленая вода, синее небо. Там живут мои родители, у них вилла на берегу моря с площадкой для гольфа и бассейном. Отец каждый день играет в гольф. Мама — та предпочитает теннис. У нее отличный левый форхэнд. Еще у них афганский ресторан и два ювелирных магазина, дела идут — лучше не бывает.

Он отщипнул виноградинку и нежно положил Сохрабу в рот. Поцеловал мальчика в шею. Сохраб вздрогнул и закрыл глаза.

— Если мне понадобятся деньги, родители мне переведут. И потому с шурави я дрался не ради денег. И в Талибан вступил не для того, чтобы обогатиться. Хочешь знать, почему я стал талибом?

Во рту у меня пересохло, даже губ не облизать.

— Пить захотелось? — ухмыляясь, осведомился Асеф.

— Нет.

— А мне показалось, у тебя жажда.

— Со мной все хорошо. — По правде говоря, мне вдруг сделалось ужасно жарко, я весь взмок.

И это все происходит на самом деле? Вот я, а вот — Асеф?

— Как хочешь. О чем это, бишь, я? Ах да, зачем я вступил в Талибан. Как ты сам, наверное, знаешь, я никогда особенно не увлекался религией. Но однажды я прозрел. Когда сидел в тюрьме. Хочешь послушать?

Я молчал.

— Так и быть, расскажу. При Бабраке Кармале меня законопатили в Поле-Чархи. *Парчами* просто явились к нам домой, наставили на нас с отцом автоматы и велели следовать за ними. Причину нам не сообщили, а на вопросы мамы не ответили. В этом все коммунисты. Что с них возьмешь, с голи перекатной. Пока не пришли шурави, эти псы были недостойны лизать мне ботинки, а теперь нацепили свои флажки и взялись искоренять буржуазию. Возомнили о себе, быдло. Богатенький? В тюрьму его, а товарищи пусть наматывают на ус. Вот и вся забота. Нет чтобы обставить все как полагается.

Распихали нас по камерам, шесть человек в клетушке размером с холодильник. Каждую ночь комендант, наполовину хазарец, наполовину узбек, осел вонючий, вытаскивал кого-нибудь на допрос и пинал ногами, пока не уставал. Вспотеет весь, закурит сигарету,

отдохнет. А на следующую ночь уже другого к нему волокут. Так дошла очередь и до меня. А я и так уже три дня мочился кровью. Камни в почках, хуже боли не бывает. Мама говорила, рожать и то легче. Притащили меня к нему. На нем еще сапоги были с подковами, специально надевал для допросов. Как заехал он мне каблуком в левую почку, так камень и вышел. Такое облегчение! — Асеф засмеялся. — Благодарю Бога, «Аллах Акбар» кричу. Комендант в раж вошел, а я хохочу. И чем сильнее он меня пинает, тем громче я ржу. И знаю уже: это знак, Бог на моей стороне. Я ему зачем-то нужен.

Поистине неисповедимы пути Господни. Прошло несколько лет — и этот самый комендант попался мне на поле боя в окрестностях Мейманы, валялся в окопе, раненный шрапнелью в грудь. Я его спросил: помнишь меня? Он ответил: нет. А у меня отличная память на лица, сказал я, и отстрелил ему яйца. С тех пор я честно выполняю возложенную на меня миссию.

— Какую миссию? — услышал я собственный голос. — Забивать камнями неверных супругов? Насиловать детей? Бичевать женщин за высокие каблуки? Расстреливать хазарейцев? И все во имя ислама?

Вот разошелся. Сдержаннее надо быть. Сказанного-то не воротишь. Теперь Рубикон перейден — и вряд ли ты выйдешь отсюда живым.

По лицу Асефа пробежало удивление.

— Становится интереснее, — потер руки он. — Вы, предатели, многого не понимаете.

— Это чего же именно?

Асеф наморщил лоб.

— Вы не цените свой народ, его обычаи, его язык. Афганистан — это прекрасный дом, полный отбросов. Кому-то надо их разгрести.

— Так вот чем ты занимался в Мазари-Шарифе, переходя от дома к дому. Отбросы разгребал.

— Совершенно верно.

— На Западе это именуют иначе. Этническая чистка.

— Правда? — На лице у Асефа появилась радость. — Какое хорошее определение. Мне нравится.

— Мне от тебя ничего не нужно. Только этот мальчик.

— Этническая чистка, — смаковал слова Асеф.

— Мне нужен мальчик, — повторил я.

Сохраб смотрел на меня не отрываясь. В его подведенных глазах была мольба, в точности как у жертвенного барана, которого режут в первый день великого праздника *Ид-аль-адха*. Жертве еще дают кусочек сахара перед тем, как перерезать глотку.

— Зачем он тебе? — поинтересовался хозяин, прихватывая зубами ухо Сохраба. Пот каплями выступил у Асефа на лбу.

— Это мое дело.

— Что ты хочешь с ним сделать? А может, не *с ним*, а *ему*?

— Мерзость какая.

— А тебе-то откуда знать? Пробовал, что ли?

— Я хочу увезти его в другое место. Там ему будет лучше.

— Зачем?

— Это мое дело.

— Неужели ты, Амир, ехал в такую даль ради хазарейца? Чего ты сюда приперся? Какая

твоя *настоящая* цель?

— У меня свои причины.

— Что ж, отлично, — фыркнул Асеф и сильно толкнул Сохраба в спину, опрокинув кофейный столик. Виноград из перевернутой вазы рассыпался по полу, и мальчик упал прямо на ягоды. Его одежда сразу покрылась лиловыми пятнами. — Бери его, — разрешил Асеф.

Я помог Сохрабу подняться, смахнул у него со штанов прилипшие виноградины.

— Бери же, — повторил Асеф, указывая на дверь.

Я взял Сохраба за маленькую, покрытую мозолями руку. Он ухватил меня за пальцы.

На фотографии он прижимался Хасану к ноге, обхватив его за бедро рукой. Оба они улыбались.

Стоило нам двинуться с места, как колокольчики зазвенели.

Звенели они до самого порога.

— Только, разумеется, не бесплатно, — послышался у нас за спиной голос Асефа.

Я обернулся:

— Чего ты хочешь?

— Заслужи мое расположение.

— Что тебе от меня надо?

— За тобой должок. Помнишь?

Еще бы не помнить. В тот день Дауд Хан осуществил дворцовый переворот. Почти всю мою взрослую жизнь, стоило мне услышать «Дауд Хан», как перед глазами вставал Хасан, нацеливший свою рогатку прямо в лицо Асефу. «Только шевельнись — и у тебя появится другое прозвище. Вместо „Асефа — пожирателя ушей“ ты будешь зваться „Одноглазый Асеф“», — говорит Хасан. Настоящий храбрец. И Асеф отступает со словами: «У сегодняшней истории обязательно будет продолжение».

В отношении Хасана он свое обещание уже сдержал. Теперь моя очередь.

— Так тому и быть, — ляпнул я.

А что мне было говорить? Просить его о чем-то все равно было бы бесполезно, зачем давать повод лишний раз поглумиться?

Асеф кликнул охранников.

— Слушать меня. Сейчас я закрою дверь. С ним у меня старые счеты. Входить в комнату строго запрещаю! Поняли? В любом случае оставаться на местах!

— Слушаемся, ага-сагиб, — гаркнули парни.

— Когда все будет кончено, один из нас выйдет отсюда живым. Если это будет он, значит, он заслужил свободу. Пусть себе идет. Ясно?

Охранники замаялись.

— Но, ага-сагиб...

— Если это будет он, не задерживать! — рявкнул Асеф.

На этот раз охранники не стали спорить, хотя рожи у них были кислые.

Уходя, они хотели увести Сохраба с собой.

— Оставьте его! — велел Асеф. И усмехнулся: — Пусть посмотрит. Ему полезно.

Когда дверь захлопнулась, Асеф отложил четки в сторону и полез в нагрудный карман. Я не особенно удивился, увидев, что он оттуда вытащил.

Конечно же, кастет из нержавеющей стали.

Волосы у него напояжены, над тонкой верхней губой усики в ниточку, как в свое время у Кларка Гейбла. Бриолин пропитал зеленую хирургическую шапочку, образовав пятно в форме Африки. И еще бросается в глаза золотой Аллах на цепочке, свисающей со смуглой шеи. Человек глядит на меня сверху вниз и торопливо бормочет что-то на незнакомом мне языке — урду, наверное. Кадык у него на шее прыгает. Хочу спросить, сколько ему лет (уж очень молодо он выглядит, словно модный актер из мыльной оперы), но вместо этого бурчу что-то вроде: «Я ему показал!» Или «задал».

Оказал ли я достойное сопротивление? Вряд ли. Да и как бы это у меня вышло? Я и дрался-то первый раз в жизни.

Вся сцена отложилась в памяти какими-то кусками, правда, яркими. Вот Асеф, перед тем как надеть кастет, включает музыку. Вот висящий на стене молитвенный коврик с изображением Мекки срывается и валится мне на голову, поднимая пыль. Я чихаю. Вот Асеф кидает виноградины мне в лицо, зловеще скалит зубы, вращает глазами. В какой-то момент чалма его летит на пол, светлые пряди рассыпаются по плечам.

Конец поединка тоже запомнился. Так и стоит перед глазами. Уж этого-то мне никогда не забыть.

Время сжимается и растягивается. Ледяной блеск кастета. Несколько ударов — и кусок металла нагревается. Моя кровь тому причиной. Натыкаюсь спиной на торчащий из стены гвоздь. Крик Сохраба. Музыка, *таблы, дилробы*. Корчусь у стены. Удар приходится в челюсть. Глотаю собственные зубы. Чего ради я их так тщательно чистил, и щеткой, и нитью? Сползаю по стене. Кровь из разбитой верхней губы заливает розоватый ковер. Боль раздражает внутренности, не могу дышать. Слышен сухой треск. Когда-то мы с Хасаном дрались на деревянных мечах, подражая киношному Синдбаду, вот стуку-то было! Крик Сохраба. Опять падаю и задеваю скулой об угол телевизора. Что-то хрупает прямо у меня под левым глазом. Звуки музыки. Крик Сохраба. Меня хватают за волосы, задирают голову. Блестит металл. Бац! На этот раз хрустит нос. Заскрежетал бы от боли зубами, да не получается. Меня лупят ногами. Крик Сохраба.

Не помню, когда именно меня стал разбирать смех. Я прямо корчился от хохота, и даже невыносимая боль (губы, глотка, челюсть, ребра) не могла унять его. И чем громче я смеялся, тем сильнее меня били.

— ЧЕГО РЖЕШЬ? — брызгал слюной Асеф, нанося удар за ударом.

Сохраб кричал.

— ЧЕГО ГОГОЧЕШЬ?

Еще одно ребро хрустнуло: левое нижнее. А повод для веселья у меня был: впервые с той проклятой зимы 1975 года на меня снизошло долгожданное спокойствие.

Как я закидывал там, на холме, Хасана гранатами, больше всего на свете желая, чтобы он мне ответил! Липкий сок стекал по его лицу, заливал рубашку, но Хасан не шелохнулся. Он только поднял с земли гранат, разломил пополам и расплющил о собственный лоб. «Доволен? Легче теперь стало?» — только и спросил он.

Как тогда мне было тяжело! Облегчение пришло только сейчас. Тело мое истерзано и изломано, но я *излечился*. После стольких лет страданий. Вот радость-то.

О том, как закончился поединок, я не забуду до самой смерти.

Лежу на полу, заливаясь смехом, Асеф упирается коленями мне в грудь, волосы его свисают вниз, лицо — само безумие. Левая рука сжимает мне горло, а правую он заносит

для удара. Кастет вздымается выше и выше — вот-вот опустится.

— *Бас*, — слышится тоненький голосок.

Мы оба смотрим в *ту* сторону.

— Прошу тебя, перестань.

Что там сказал директор детского дома, впуская меня и Фарида? (Как его, кстати, звали? Заман?) *По части рогатки он настоящий мастер. С ней он неразлучен. Рогатка всегда у него за поясом.*

— Перестань.

Расплывшаяся тушь вместе со слезами черными ручейками заливает нарумяненные щеки Сохраба. Нижняя губа дрожит, из носа текут сопли.

— *Бас*, — пищит он.

Рука его с силой оттягивает резинку рогатки, в гнезде желтеет что-то металлическое. Ба! Да ведь это шарик от кофейного столика! И нацелен он прямо Асефу в лицо!

— Прекрати, ага. Прошу. — Детский голос дрожит. — Перестань его мучить.

Асеф разевает рот. Губы у него дергаются, но слова не выговариваются.

— Ты что вытворяешь? — выдавливает он наконец.

— Пожалуйста, перестань, — всхлипывает Сохраб.

— Брось рогатку, хазара, — шипит Асеф. — На части тебя порву. То, что я сделал с ним, покажется тебе лаской.

— Пожалуйста, ага, — в голос рыдает Сохраб, — перестань.

— Брось рогатку.

— Не мучай его.

— Брось рогатку!

— Прошу тебя.

— БРОСЬ РОГАТКУ!!

— *Бас*.

— БРОСЬ!!! — Асеф отшвыривает меня и кидается на Сохраба.

Пи-и-и-и-и!

Это Сохраб отпускает резинку.

Страшный крик Асефа. Рукой он зажимает место, где только что был его левый глаз. Между пальцев у него сочится кровь и что-то жидко-стеклянистое.

«Внутриглазная жидкость, — мелькает у меня в голове. — Вот что это такое. Мне где-то попадалось научное определение».

Асеф с воплями катается по полу, не отрывая руки от окровавленной глазницы.

— Бежим, — шепчет Сохраб, помогая мне подняться.

Каждое движение отзывается страшной болью.

— ВЫНЬТЕ ЕГО! ВЫНЬТЕ! — визжит у нас за спиной Асеф.

Шатаясь, распахиваю дверь. Увидев меня, охранники выпучивают глаза. Хорош же я, наверное. Даже дышать больно.

— ВЫНЬТЕ! — заходится Асеф.

Охранники врываются в комнату, не обращая на нас внимания.

— Бежим, — дергает меня за руку Сохраб.

На ходу оглядываюсь. Склонившись над Асефом, охранники делают что-то с его лицом. Ну конечно. Шарик-то застрял в пустой глазнице.

Все вокруг крутится и качается. Опираюсь на Сохраба. Ступеньки. Сверху летит

пронзительный вой со вскриками — так голосит раненый зверь. Выскакиваем на улицу — без Сохраба я бы давно свалился. К нам мчится Фарид.

— Бисмилла, бисмилла, — восклицает он, в изумлении глядя на меня, закидывает мою руку себе на плечо и бегом тащит к машине.

Наверное, я кричу от боли, не помню. Перед глазами вырастает потрепанная обшивка крыши нашего «лендкрузера», вид снизу, с заднего сиденья. Снаружи слышен топот. В машину запрыгивают Сохраб и Фарид. Хлопают дверцы, ревет двигатель, машина прыжком срывается с места. Маленькая рука у меня на лбу, чьи-то голоса и крики на улице. Ветки деревьев за окном сливаются в одну полосу. Сохраб всхлипывает, а Фарид все повторяет: «Бисмилла, бисмилла».

Тут сознание меня оставляет.

Из клубящейся мглы высовываются головы, наклоняются, смотрят на меня, спрашивают о чем-то. Некоторые вопросы я понимаю. Как меня зовут? Болит ли у меня где-нибудь? Я помню, кто я такой, а болит у меня везде. Хочу ответить, но говорить больно, я давно это понял, еще когда пытался сказать что-то мальчику с нарумяненными щеками и вымазанными тушью веками. Может, год прошел, может, два, а может, и все десять. Вот он, мальчик. Мы едем куда-то в машине, только вряд ли за рулем Сорая, она не стала бы так гнать. Я должен сказать ребенку что-то очень важное, только что? Вылетело из головы. Наверное, надо утешить его. Не плачь, теперь все будет хорошо. И спасибо тебе, только за что?

Опять головы, на них зеленые шапочки. Так и снуют перед глазами. И говорят что-то, быстро-быстро. Только я их не понимаю. Слышны зуммеры, тревожные звонки, что-то гудит. Головы, головы смотрят на меня, одну я узнаю. Волосы у нее набриолинены, на шапочке — пятно в форме Африки, над верхней губой — усики в ниточку, как у Кларка Гейбла. Звезда сериала? Вот смеху-то. Но смеяться больно.

Проваливаюсь в темноту.

Говорит, ее зовут Айша, «как жену пророка». Седеющие волосы разделены на пробор и завязаны хвостом, в носу — сережка в форме солнца, глаза кажутся непомерно большими из-за бифокальных очков. Она тоже вся в зеленом, и руки у нее такие ласковые. Заметив, что я смотрю на нее, она улыбается и говорит по-английски.

Из груди у меня что-то торчит.

Проваливаюсь в темноту.

У моей койки стоит мужчина. Я его знаю. Он смуглый, долговязый и тощий. У него длинная борода и круглый берет на голове, немножко набекрень. Как, бишь, такая шапка называется? Паколь? И у какого знаменитого человека головной убор заломлен точно так же? Не помню. Мужчина возил меня на машине, много лет тому назад. Он мой хороший знакомый.

Да что такое у меня со ртом? И что это за бульканье?

Проваливаюсь в темноту.

Правая рука вся горит. Женщина в бифокальных очках ставит мне капельницу.

— Калий, — говорит она. — Пощиплет немножко. Словно пчелка укусила, правда?

Ну... да.

Как ее зовут? Что-то связанное с пророком. Я ведь давно ее знаю. У нее еще волосы были завязаны хвостом. Теперь-то они гладко зачесаны и уложены в пучок. Совсем как у Сорай, когда я впервые заговорил с ней. Когда это было? С неделю назад?

Айша! Вот как зовут женщину.

Почему у меня рот не открывается? И что такое торчит из моей груди?

Проваливаюсь в темноту.

Мы в Сулеймановых горах в Белуджистане, Баба борется с гималайским медведем. Время повернуло вспять. Где изможденный страдалец с ввалившимися щеками и пустыми глазами? Баба — само воплощение силы, *Туфан-ага*, образцовый пуштун. Они катаются по зеленой траве, человек и зверь, каштановые кудри отца развеваются по ветру. Кто-то ревет — медведь или отец? — льется кровь, во все стороны летят хлопья пены. Когтям не одолеть железные пальцы. Еще одно усилие — и медведь повержен, ноги Бабы упираются в медвежью грудь, руки сжимают косматое горло.

Отец смотрит на меня. У него мое лицо. Это я победил зверя.

Прихожу в себя. Рядом долговязый, смуглый человек. Вспомнил, его зовут Фарид. С ним мальчик из машины, его образ как-то связан у меня со звоном колокольчиков.

Хочется пить.

Проваливаюсь в темноту. Мир вокруг то возникает, то исчезает.

Оказалось, человек с усиками как у Кларка Гейбла никакая не телезвезда. Это доктор Фаруки, челюстно-лицевой хирург. Только мне почему-то все кажется, что он герой мыльной оперы, действие которой происходит на острове в тропиках, и зовут его Арманд.

Где я? — хочется мне спросить. Но рот не открыть. Тужусь, мычу и хрюкаю.

Арманд улыбается, зубы сверкают ослепительной белизной.

— Еще не время, Амир. Но уже скоро. Когда снимем проволочный каркас.

По-английски он говорит с раскатистым акцентом.

Каркас?

Арманд скрещивает на груди руки. На волосатом пальце золотится обручальное кольцо.

— Вы, вероятно, не совсем понимаете, где оказались и что с вами произошло? Для послеоперационного состояния это в порядке вещей. Расскажу вам, что сам знаю.

Послеоперационное состояние? А зачем каркас? И где Айша? Пусть улыбнется мне, ласково коснется моей руки.

Арманд хмурится. Вид у него очень значительный.

— Вы в госпитале в Пешаваре. Попали к нам два дня назад с очень серьезными травмами. Вам повезло, что вы остались в живых, друг мой.

Указательный палец доктора качается, словно маятник.

— У вас разрыв селезенки — но, к вашему счастью, она, по-видимому, покровила и перестала, иначе бы вас просто не успели довести до больницы. Моим коллегам из отделения общей хирургии пришлось вам селезенку удалить. — Он похлопал меня по руке, в которую была воткнута игла капельницы. — Вдобавок у вас сломано семь ребер. Одно из них вызвало пневмоторакс.

Я бы разинул рот, да не могу.

— Иными словами, у вас пробито легкое, — поясняет Арманд и касается пластмассовой прозрачной трубки, которая торчит из груди. — Мы вставили вам плевральный дренаж.

Трубка подходит к стойке со стеклянными цилиндрами, наполовину заполненными водой. Так вот откуда бульканье.

— На теле у вас были многочисленные рваные раны, самая неприятная — на верхней губе. Мало того, что она рассечена надвое, так из раны еще и вырван кусок ткани. Не волнуйтесь, наши пластические хирурги сошьют все в лучшем виде, только небольшой шрам останется. От этого никуда не денешься.

Еще у вас перелом скуловой кости у самой левой глазницы. Чуть повыше — и остались

бы без глаза. В общем, каркас с челюсти снимем недель через шесть. А пока будем кушать только жидкое и протертое. Зато похудеем. Первое время будете говорить как Аль Пачино в «Крестном отце». — Арманд усмехается. — И еще: сегодня придется потрудиться. Знаете, чем нужно заняться?

Мотаю головой.

— Надо выпустить газы. Только после этого вы сможете принимать жидкую пищу. Не пукнешь — не поешь.

Доктор громко смеется.

Позже, когда Айша сменила капельницу и поправила по моей просьбе подушки, чтобы голова была повыше, сознание у меня немного прояснилось.

Ничего себе. Разорвана селезенка. Выбиты зубы. Проткнуто легкое. Сломана скуловая кость. Но главное-то, главное! Глядя на голубя, клюющего кусок хлеба за окном, я повторял про себя слова доктора Фаруки. *Мало того, что верхняя губа рассечена надвое, так из раны еще и вырван кусок ткани.*

Вот это да. Теперь у меня заячья губа.

На следующий день пришли Фарид с Сохрабом.

— Вспомнил, кто мы такие? Узнал? — изображал веселье Фарид.

Я кивнул.

— Слава Аллаху! — просиял он. — Бред миновал!

— Спасибо, Фарид, — промычал я сквозь зубы. Ну точно Аль Пачино, доктор был прав. Да еще язык натывается на пустые места, которых раньше во рту не было. Часть зубов-то я проглотил. — Благодарю тебя за все.

Он покраснел и отмахнулся:

— Бас, не стоит благодарности.

Я посмотрел на Сохраба. На нем был новый наряд: легкий коричневый пирхан-тюмбан (он ему великоват) и черная тюбетейка. Глаза у Сохраба опущены.

— Нас так и не представили друг другу, — протянул я мальчику руку. — Меня зовут Амир.

Сохраб перевел взгляд на меня:

— Вы тот самый Амир-ага, про которого мне рассказывал папа?

— Да.

Мне вспомнились слова из письма Хасана: «Я много рассказывал Фарзане-джан и Сохрабу о тебе, о днях нашей юности, играх и забавах. Они очень смеялись нашим проделкам!»

— Ты спас мне жизнь, — сказал я племяннику.

Он молчал. Рука моя так и повисла в воздухе, пока я не уронил ее на одеяло.

— Мне нравится твоя новая одежда.

— Это моего сына, — пояснил Фарид. — Он уже из нее вырос. А Сохрабу в самый раз.

Оказалось, мальчик пока жил у него.

— В тесноте, да не в обиде. Не на улицу же его гнать. Да и моим он по душе пришелся. А, Сохраб?

Мой племянник безучастно смотрел в пол.

— Все хочу спросить, — с заминкой произнес Фарид. — Что произошло в том доме между тобой и талибом?

— Скажем так: мы оба получили по заслугам.

Фарид кивнул и не стал настаивать.

Оказывается, за время поездки я приобрел друга.

— Я тоже хочу спросить.

— Да?

Страшно спрашивать.

— Рахим-хан?

— Его нет.

Сердце у меня сжалось.

— Он...

— Нет. Он просто пропал. — Фарид вручил мне сложенный листок и маленький ключ. — Мне передал хозяин его квартиры. Он сказал, Рахим-хан уехал в тот же день, что и мы.

— А куда?

— Хозяин не в курсе. Рахим-хан оставил ему письмо с ключом и распрощался. — Фарид взглянул на часы. — Мне пора. *Биа*, Сохраб.

— Пусть останется ненадолго, — попросил я. — Заберешь его попозже. — Я посмотрел на Сохраба: — Не хочешь немного побыть со мной?

Мальчик молча пожал плечами.

— Ну конечно, — согласился Фарид. — Зайду за ним перед вечерним намазом.

В палате было еще трое пациентов, двое пожилых (один со сломанной ногой, другой с астмой) и юноша лет пятнадцати, которому вырезали аппендикс. Старик с загипсованной ногой смотрел на маленького хазарейца не отрываясь. К моим соседям гурьбой приходили родственники, пожилые женщины в ярких шальвар-камизах, дети, мужчины в тюбетейках то и дело вваливались в комнату шумной толпой. С собой они приносили пакору, нан, *самсу*, *бириани* .^[44] В палате объявлялись и совершенно посторонние люди — перед приходом Фариды и Сохраба возник откуда-то высокий бородач в коричневом. Айша спросила его о чем-то на урду. Он не удостоил ее ответом, только обшарил глазами комнату. По-моему, на меня он смотрел дольше, чем на остальных. Когда медсестра опять заговорила с ним, он просто повернулся и вышел.

— Ты не заболел? — спросил я у племянника.

Пожатие плечами.

— Ты не голоден? Меня тут угостили бистриани — вот целая тарелка, — но эта пища не для меня. Хочешь?

Он покачал головой.

Ну как мне его разговорить?

— Может, расскажешь что-нибудь?

Он опять покачал головой.

Я полулежал в кровати, Сохраб сидел рядом на трехногом табурете. Мы молчали. Я задремал и очнулся, когда день уже клонился к вечеру. Сохраб был на месте, сидел и рассматривал свои руки.

Когда Фарид забрал Сохраба, я развернул письмо Рахим-хана. Дальше тянуть уже не годилось.

Вот что он писал.

Амир-джан,

Иншалла, мое письмо попало тебе в руки. Значит, ты вернулся из своей поездки. Молюсь, чтобы в Афганистане тебя ждал не слишком враждебный прием и чтобы с тобой не приключилось ничего дурного.

Ты прав: все эти годы я знал, что произошло между тобой и Хасаном, он сам мне все рассказал еще тогда, по горячим следам. Ты поступил дурно, Амир-джан, но не забывай: ты был еще мальчик, неопытный и напуганный. Ты сурово судил самого себя, и даже сейчас, в Пешаваре, я видел муки совести в твоих глазах. Это добрый знак, подлец не испытывает никаких угрызений. Надеюсь, поездка в Афганистан положит конец твоим страданиям.

Амир-джан, мне очень стыдно за ложь, которой мы пичкали тебя все эти годы. Понимаю твое возмущение. Ужасно, что вы с Хасаном не знали правды. Это, конечно, не может послужить никому оправданием, но в те годы в Кабуле предрассудки были порой важнее правды.

Амир-джан, я знаю: в детстве отец был излишне строг к тебе. Ты страдал и старался завоевать его любовь. Мне было тебя очень жалко. Только прими во внимание: отец разрывался между тобой и Хасаном. Он любил вас обоих, но свое чувство к Хасану вынужден был скрывать. И он лишил своей любви также и тебя, законного сына, наследника всего, что он нажил, в том числе и неискупленных грехов. Со временем, когда обида потеряет остроту, ты поймешь: в тебе отец видел себя. Он был безжалостен к самому себе, а значит, и к тебе тоже. Оба вы на своей шкуре познали, что такое муки совести.

Невозможно описать всю глубину и беспросветность моего отчаяния, когда до меня дошла весть о его кончине. Я любил его как друга и как прекрасного человека. Хочу, чтобы ты понял: в своем раскаянии отец совершил массу добрых дел. Он щедро раздавал милостыню, построил приют, помогал друзьям деньгами... Порой мне кажется, что всем этим он старался искупить свой грех, и преуспел в этом.

Знаю, Бог милостив. Он простит и твоего отца, и меня, и тебя. Так прости же и ты — отца, если сможешь, меня, если захочешь. Но самое главное, прости себя самого.

Тебе понадобятся деньги, воспользуйся моими. Это почти все, что осталось от моего богатства. На покрытие расходов должно хватить. Они в ячейке одного пешаварского банка, Фарид знает какого. Ключ прилагаю.

Что до меня, то мне пора. Время не ждет. Хочу провести свои последние дни в одиночестве. Не ищи меня. Это моя последняя к тебе просьба.

Да пребудет с тобой Господь.

Твой друг навеки,

Рахим.

Я вытер глаза рукавом больничного халата, сложил письмо и спрятал под тюфяк.

Амир, законный сын, наследник всего нажитого, в том числе и неискупленных грехов. Наверное, поэтому в Америке мы с отцом сблизились. Ведь такая перемена. Толкучка, низкооплачиваемая работа, грязноватая квартира — американский вариант саманной хижины... Сына-барчука и сына-слуги больше не было, и это примирило Бабу со мной.

Оба вы на своей шкуре познали, что такое муки совести. Может быть. И на мне, и на

отце лежал грех предательства. Только я-то не совершил ничего, чтобы свой грех искупить, только усугубил его. Не бессонницу же считать искуплением.

Какие добрые дела числятся за мной?

Когда появилась медсестра — не Айша, другая, рыжая, только вот имя вылетело из головы, — я попросил ее вколоть мне морфий.

На следующее утро трубку у меня из груди вынули. Арманд разрешил жидкую пищу, и Айша поставила на тумбочку стаканчик с яблочным соком. Я попросил ее принести зеркало. Она сдвинула на лоб свои бифокальные очки и отдернула занавеску. Палату залил солнечный свет.

— Только помните, — предупредила меня Айша, — через пару дней вы будете выглядеть куда лучше. Мой зять в прошлом году попал в аварию и проехался лицом по асфальту. Оно у него стало синее как баклажан. А сейчас все вернулось в норму, прямо кинозвезда Лолливуда. [\[45\]](#)

Ее заверения не достигли цели. Как только я взглянул в зеркало, меня пробрала дрожь. Зрелище было такое, будто кто-то взял насос и постарался закачать мне под кожу побольше воздуха. Одни глаза-щелки чего стоят. А рот-то, рот! Просто какой-то раздувшийся кукиш. Все красно-синее, на левой щеке, у подбородка и на лбу швы, нитки... Я попробовал улыбнуться и чуть не завопил от боли.

Старик со сломанной ногой сказал что-то на урду. В ответ я покачал головой. Старик похлопал себя по щекам и усмехнулся беззубой улыбкой.

— Очень хорошо, — сказал он по-английски. — Иншалла.

— Спасибо, — прошептал я и попросил забрать зеркало.

Пришли Фарид и Сохраб. Мальчик сел на табурет и оперся лбом о спинку кровати.

— Знаешь, чем быстрее мы отсюда исчезнем, тем лучше, — начал Фарид.

— Доктор Фаруки говорит...

— Я не про госпиталь. Я про Пешавар.

— А в чем причина?

— Рано или поздно до тебя доберутся. — Фарид понизил голос: — У талибов здесь много друзей. Они будут тебя искать.

— Похоже, уже нашли, — пробормотал я и вспомнил вчерашнего человека в коричневом, который зашел в палату и долго смотрел на меня.

Фарид наклонился поближе:

— Как только начнешь ходить, увезу тебя в Исламабад. Там тоже не очень безопасно, как и всюду в Пакистане, но все лучше, чем здесь. По крайней мере, выиграешь время.

— Фарид, ты же сам в опасности. Может, тебе не стоит возиться со мной? У тебя ведь семья.

Он только усмехнулся:

— Я не работаю даром. Ты заплатишь за мой труд.

— Еще бы нет!

Я опять попробовал улыбнуться. По подбородку потекла струйка крови.

— Окажи мне услугу.

— Для тебя хоть тысячу раз подряд.

Тут из глаз у меня полились слезы. Соленые, едкие. Всклипывать было ужасно больно.

— Ты что? — забеспокоился Фарид.

Я прикрыл лицо рукой. Вся палата уставилась на меня. Напрягшись всем телом, я сдержал рыдания.

Навалилась свинцовая усталость.

— Извини, — пробормотал я.

Какое мрачное у Сохраба лицо!

— Рахим-хан сказал, они живут в Пешаваре, — выговорил я.

— Запиши их имена, — предложил Фарид, не отрывая от меня встревоженных глаз.

«Джон и Бетти Колдуэлл», — нацарапал я на клочке туалетной бумаги.

Фарид спрятал бумажку в карман.

— Срочно разыщу их. — И Сохрабу: — Вечером я тебя заберу. Постарайся не очень надоедать Амир-джану.

Штук шесть голубей, сгрудившись, клевали крошки за окном. Сохраб не отрывал от птиц глаз.

В среднем ящике тумбочки я обнаружил старый номер «Нэшнл джиографик», огрызок карандаша и щербатую гребенку. Лицо заливал пот, но усилия мои не прошли даром: в дальнем углу ящика я нащупал колоду карт.

Пересчитал. Все карты налицо.

— Хочешь сыграть? — спросил я у Сохраба, не особенно надеясь на ответ.

— Я только в панджпар умею.

Ответил все-таки.

— Мне тебя жалко. Я большой мастер панджпара. Мировая знаменитость.

Сохраб отошел от окна и сел на табурет рядом с моей койкой. Я сдал ему пять карт.

— В твои годы мы с твоим отцом частенько играли в эту игру. Особенно зимой, когда шел снег и на улицу было не выйти. Мы просиживали за картами до самого заката.

Он зашел и взял карту из колоды. Пока Сохраб обдумывал ход, я украдкой наблюдал за ним. Во многом он был вылитый отец, так же держал карты двумя руками, так же щурился, так же старался не смотреть партнеру в глаза.

Игра шла в молчании. Первую игру я выиграл, вторую отдал ему. В следующих пяти честному победил Сохраб.

— Ты играешь так же здорово, как твой отец, может, даже лучше, — похвалил я мальчика. — Иногда я у него выигрывал, но, по-моему, он поддавался.

Помолчали.

— У нас с твоим отцом была одна кормилица, — сказал я неожиданно.

— Я знаю.

— А что еще... он рассказывал про нас?

— Говорил, ты был его самый лучший друг.

Я вертел в руках бубнового валета.

— Не такой уж хороший друг из меня вышел. Лучше мне подружиться с тобой. Тебе бы я стал настоящим другом. Что скажешь?

Я хотел положить руку Сохрабу на плечо. Он отодвинулся вместе с табуретом, бросил карты на кровать, вскочил и подошел к окну.

Закат окрашивал безоблачное небо в алые и пурпурные тона. С улицы доносились вопли осла, автомобильные гудки, свистки полицейского. Спрятав кулачки под мышками, Сохраб прижался лбом к стеклу.

Айша привела медбрата, чтобы тот помог мне сделать первые шаги. Опираясь одной рукой на стойку капельницы (она на колесиках), а другой ухватившись за плечо подручного, я, обливаясь потом, сделал по палате один круг. Это заняло у меня минут десять. Потом пришлось лечь — разболелся разрезанный живот и заколотилось сердце.

Где ты, Сорая, любимая моя жена?

Большую часть следующего дня мы с Сохрабом в молчании играли в панджпар. Время от времени я вставал с кровати и ковылял по палате, пару раз выходил в туалет. А так карты и карты.

Ночью мне приснилось, что в дверях палаты стоит Асеф с медным шариком в глазнице. «Ты такой же, как я, — объявил мне Асеф. — У вас с ним была одна кормилица, но ты *мой* близнец».

Назавтра я сказал Арманду, что собираюсь покинуть госпиталь.

— Для выписки еще слишком рано, — заволновался тот. Вместо халата на нем были синий пиджак и желтый галстук, волосы лоснились от бриолина. — Вам еще не отменили внутривенные антибиотики и...

— Мне надо торопиться, — решительно произнес я. — Спасибо за все, что вы для меня сделали, но мне пора.

— Куда отправитесь? — спросил Арманд.

— Не скажу.

— Вы же еле ходите.

— Я уже могу дойти до конца коридора и обратно, — возразил я. — Справлюсь.

План у меня был такой: выписаться, забрать из банка деньги, оплатить больничные счета, отвезти Сохраба в детский дом к Колдуэллам и уехать в Исламабад. Там можно будет отдохнуть пару дней перед отлетом домой.

План как план. А тут Фарид.

Раннее утро.

— Твоих друзей, этих самых Бетти и Джона Колдуэлл, в Пешаваре нет.

Я уже сидел на кровати при полном параде. На то, чтобы натянуть пирхан-тюмбан, у меня ушло целых десять минут. Подниму руку — болит грудь. Опущу руку — болит живот. Нагнусь — болит все тело. С грехом пополам попихал скарб в бумажный пакет. Но, как бы там ни было, Фариду я встретил во всеоружии.

Сохраб сел рядом со мной.

— С чего начнем? — осведомился я.

Фарид только головой покачал:

— Ты что, не понял? Колдуэллов в Пешаваре нет. И не было никогда. Так мне сказали в американском консульстве. Правда, может, они в каком другом городе.

Сохраб рядом со мной перелистывал страницы «Нэшнл джиографик».

Мы забрали деньги из банка. Пузатый менеджер с мокрыми пятнами под мышками источал улыбки и заверял, что вся сумма в целости и сохранности.

— Никто и близко к деньгам не приближался, — качал он в воздухе указательным пальцем. Ну совсем как Арманд.

Мотаться по Пешавару с такой кучей денег в пакете — предприятие весьма рискованное. Да тут еще в каждом бородаче я видел наемного убийцу, подосланного Асефом. Как назло,

бородатых по дороге попадалось хоть пруд пруди. И каждый выпучивал на меня глаза.

— А с ним что будем делать? — спросил Фарид, когда мы медленно шли от бухгалтерии госпиталя к машине.

Сохраб сидел на заднем сиденье «тойоты» и бездумно смотрел в окно. Стекла были опущены.

— Ему нельзя оставаться в Пешаваре, — пропыхтел я.

— Никак нельзя, Амир-ага. — Фарид уловил в моих словах скрытый вопрос. — Ничем не могу...

— Ладно, Фарид. — Я таки вымучил улыбку. — У тебя и так семья на шее.

Уличная собака подошла к машине и встала на задние лапы, передними опершись о дверь и виляя хвостом. Сохраб погладил пса.

— Мальчик едет с нами в Исламабад, — решительно сказал я.

Езды до Исламабада было часа четыре. Почти всю дорогу я проспал. В голове беспорядочно мелькали разноцветные картинки. Вот Баба маринует баранину на мой тринадцатый день рождения. Вот я и Сора я вместе, восходит солнце, в ушах звенят отголоски свадебной музыки, ее выкрашенные хной пальцы лежат в моей руке. Вот мы с Хасаном на земляничном поле в Джелалабаде, хозяин сказал Бабе, мы можем есть сколько влезет, только пусть заплатит за четыре килограмма (потом у нас болели животы). Вот капельки крови на снегу — какая у Хасана темная кровь, почти черная! *Кровь — могучая сила, бачем.* Вот Хала Джамиля похлопывает Сораю по коленке. *Все в руках Господа, бачем. Может быть, все еще уложится.* Вот я сплю на крыше отцовского дома. Слова Бабы: *Лгун отнимает у других право на правду.* Звонок Рахим-хана: *Тебе выпала возможность снова встать на стезю добродетели.*

Добродетели...

Если Пешавар напоминал мне старый Кабул, то до Исламабада Кабулу было далеко. Мой родной город мог стать таким разве что в будущем. Широкие чистые улицы, масса зелени, меньше народу на ухоженных базарах, современная элегантная архитектура, цветущие в тени деревьев кусты роз и жасмина...

Фарид привез нас в маленькую гостиницу где-то в переулке у подножия Маргаллы.^[46] По пути мы миновали знаменитую соборную мечеть Шаха Фейсала, по общему мнению, самую большую мечеть в мире.^[47] При виде громадины Сохраб как-то встрепнулся, высунулся из окна и смотрел на грандиозные минареты, пока машина не свернула за угол.

Кабульский отель, где ночевали мы с Фаридом, сравнения не выдерживал вовсе. Белье здесь было свежее, ковер чистый, полотенца в сверкающей ванной пахли лимоном, да тут еще шампунь, мыло, лезвия для бритвы... И кровавых пятен на стенах не было. Зато на тумбочке между двух кроватей стоял телевизор.

— Смотри! — сказал я Сохрабу, включил телевизор (пульт, правда, отсутствовал) и сразу же наткнулся на детский канал: кудлатые овечки-куклы распевали что-то на урду.

Сохраб сел на кровать, поджал колени к подбородку и принялся раскачиваться взад-вперед. Лицо у него было застывшее, зеленые глаза глядели на экран.

А ведь я обещал купить Хасану телевизор, когда вырасту.

— Я поехал, Амир-ага, — сказал Фарид.

— Останься на ночь. Путь-то неблизкий. Поедешь завтра.

— Ташакор. Только лучше уж я вернусь сегодня. А то буду волноваться, как там дети. — В дверях номера Фарид остановился. — Счастливо, Сохраб-джан.

Ответа он так и не дождался. Пожалуй, мальчик его даже не слышал. Серебристые отблески освещали качающуюся фигурку.

В коридоре я вручил Фариду конверт. Тот разорвал его и разинул рот.

— Не знаю, как тебя благодарить, — сказал я. — Ты столько сделал для меня.

— Сколько здесь? — Лицо у моего водителя было обалделое.

— Чуть больше двух тысяч долларов.

— Двух ты... — Нижняя губа у Фариды задрожала.

Мы вместе вышли на улицу. Машина тронулась с места. На прощанье Фарид дважды нажал на клаксон и помахал мне рукой. Я махнул ему в ответ.

Больше мы с ним не виделись.

Я дотащился до номера. Сохраб лежал на кровати, свернувшись в калачик. Глаза у него были закрыты. Спит или нет? Телевизор он выключил сам.

Я сел, кривясь от боли. Лоб был в ледяном поту. Долго еще мне мучиться? Ни лечь толком, ни встать, ни поесть. А с мальчиком что делать?

Хотя в глубине души я уже знал ответ.

Налив в стакан воды из графина, я запил две обезболивающие таблетки, полученные от Арманда (вода была теплая и горьковатая), подошел к окну, задернул шторы и лег. Грудь моя разрывалась от боли. Когда стало чуть полегче и уже можно было дышать, я натянул на себя

одеяло и принялся ждать, когда пилюли подействуют.

Когда я проснулся, уже темнело. В щели между занавесками алел закат. Простыни были мокрые от пота, в голове гудело.

Опять мне что-то снилось, только что?

Постель Сохраба была пуста. Сердце у меня екнуло. Я позвал его. Голос мой был слаб и дик. Нереальность происходящего ужаснула меня. За тысячи миль от дома, в темном гостиничном номере, наполненном болью, с уст моих срывается имя мальчика, с которым я и знаком-то всего несколько дней.

Я опять позвал Сохраба. Тишина.

С трудом стащил себя с кровати, заглянул в ванную, распахнул дверь номера, окинул взглядом крошечный коридор. Мальчика нигде не было.

Заперев дверь, вцепился в перила лестницы и поковылял вниз, к стойке портье. Холл был оклеен розовыми обоями с фламинго, из кадки торчала пыльная искусственная пальма. Портье читал газету.

Я описал ему Сохраба.

Портье отложил газету и снял очки. Прямоугольной формы усики были тронуты сединой, легкий изысканный аромат каких-то тропических фруктов щекотал ноздри.

— Мальчишки такие непоседы, — вздохнул он. — У меня своих трое. Носятся весь день напролет, а мамаша волнуется.

Ну, что ты так на меня уставился?

— Этот мальчик вряд ли где-то носится, — промычал я. — Да и сами мы нездешние. Как бы он не потерялся.

Портье покачал головой:

— Присматривать надо за детишками, господин хороший.

— Я знаю. Только стоило мне уснуть, как его уже нет.

— Мальчишки — они такие.

— Ну да. — Пульс у меня участился.

Вот ведь чурбан бесчувственный!

Господин за стойкой принялся обмахиваться газетой.

— Велосипеды им подавай.

— Что?

— Я про своих. Требуют купить им велосипеды. «Мы больше никогда ничего у тебя не попросим, папочка». Как же. — Он хрюкнул. — Мамаша меня убьет на месте.

А Сохраб без сознания сейчас валяется где-нибудь в канаве. Или, связанный, в кузове грузовика. Кровь его падет на мои руки. Нет, не только. Вина ляжет и на этого типа тоже.

— Прошу вас... — скосив глаза, я прочитал его имя на приколотом к голубой рубашке тэге, — господин Фаяз, скажите, вы его не видели?

— Мальчика-то?

Я рассвирепел:

— Ну да, мальчика! Который приехал со мной. Ради бога, скажите мне наконец, попался он вам на глаза или нет?

Портье перестал обмахиваться и сузил глаза:

— Друг мой, вы бы потише. Я не виноват, что он у вас потерялся.

Лицо мое, наверное, приобрело малиновый оттенок.

— Да, конечно. Извините. Это моя вина. Так вы его видели?

Портье опять надел очки и развернул газету.

— Нет, к сожалению, не видел.

Я еще минутку постоял у стойки, стараясь взять себя в руки, затем направился к выходу.

— Вы хоть представляете себе, где его искать?

— Нет. — Меня колотила нервная дрожь.

— Он чем-нибудь интересуется? Мои, например, без ума от американских боевиков, особенно с Арнольдом Шварценеггером.

— Мечеть! — воскликнул я. — Огромная мечеть!

Когда мы проезжали мимо, Сохраб как-то ожил. Смотрел на нее во все глаза.

— Шах Фейсал?

— Да. Можете меня туда отвезти?

— А вы знаете, что это самая большая мечеть в мире?

— Нет, но...

— Один только ее двор вмещает сорок тысяч человек.

— Отвезете меня туда?

— Да тут и километра не будет.

Но он уже выходил из-за стойки.

— Я заплачу за услугу.

Портье вздохнул и покачал головой.

— Подождите здесь.

И он скрылся за дверью.

Вернулся он скоро, в других очках и с ключами в руках. На его месте за стойкой расположилась маленькая круглолицая женщина в оранжевом сари.

— Денег я с вас не возьму, — гордо заявил Фаяз. — Отвезу так. Я ведь сам отец.

Что мне делать, когда стемнеет? Обратиться в полицию, сообщить им приметы Сохраба? Под укоризненным взглядом Фаяза отвечать на рутинные вопросы? И видеть, что за ними кроется одно: кому какое дело до мертвого афганского ребенка!

Слава богу, обошлось. Сохраб сидел на зеленом газончике посреди автостоянки. До мечети было метров сто.

Фаяз подъехал поближе и помог мне выйти.

— Мне пора возвращаться.

— Ничего страшного, мы немного пройдемся, — успокоил я его. — Очень вам благодарен, господин Фаяз. От всего сердца.

Он наклонился ко мне поближе:

— Можно мне вам сказать кое-что?

— Конечно.

Лицо его скрывали сумерки, только очки блестели.

— Дело в том, что вы, афганцы... такие беспечные.

Меня терзала боль. Челюсть тряслась. Казалось, вместо внутренностей у меня колючая проволока. Но все-таки я засмеялся.

— Что такого я сказал? — недоуменно спросил Фаяз.

А я давился смехом, мычал, хрюкал и фыркал.

— Ненормальные, — пробормотал портье.

Хлопнула дверь машины. Взвизгнули на повороте шины. Задние фонари мигнули в сгущающейся темноте.

— Как ты меня напугал! — Я сел на траву рядом с мальчиком и привалился спиной к дереву, чтобы не так донимала боль.

Сохраб не сводил глаз с гигантского шатра мечети Шаха Фейсала. Подъезжали и отъезжали автомобили, правоверные, одетые в белое, степенно поднимались и спускались по ступенькам. Мы молчали. С минарета мечети, сияющей сотнями огней, доносился призыв к молитве. Во мраке храм блистал, словно бриллиант, посылая в небо столб света. Светилось и лицо мальчика.

— Ты когда-нибудь был в Мазари-Шарифе? — неожиданно спросил он.

Колени его были поджаты к подбородку.

— Очень давно. Я уж и не помню ничего.

— Когда я был маленький, папа возил меня туда. Мама и Саса тоже ездили с нами. Папа купил мне на базаре коричневую обезьянку с хвостиком крючком. Не настоящую, надувную.

— В детстве у меня, наверное, тоже была такая.

— Мы с папой тогда побывали в Голубой Мечети. Сколько рядом с ней было голубей! И они совсем не боялись людей. Саса дала мне хлеба, и я покрошил его птицам. Они как накинулись все разом! Здорово было.

— Наверное, ты очень тоскуешь по родителям, — сказал я.

Видел он, как талибы их убивали, или нет?

— А ты скучаешь по своим папе и маме? — склонил голову набок Сохраб.

— Я-то? Маму я не помню. А отец умер несколько лет назад. По нему я скучаю, да. Иногда сильно.

— Ты помнишь, какой он был?

Мне вспомнилась могучая шея Бабы, его черные глаза, копна каштановых волос. Сесть ему на колени было все равно что на два бревна.

— Помню. И помню его запах.

— А я стал забывать их лица. Это плохо?

— Нет, — ответил я. — Время все стирает.

И тут меня словно что-то толкнуло. Вот же она, фотография Хасана и Сохраба, у меня в нагрудном кармане!

— Держи, — протянул я мальчику снимок.

Он взял фото в обе руки, повертел перед носом, замер и смотрел долго-долго. Не заплакал, молодец.

Мне вдруг вспомнилась фраза, которую я где-то слышал или читал. «В Афганистане много детей, но мало детства».

— Возьми себе, — устало сказал я. — Фотография твоя.

— Спасибо.

Послышался цокот копыт, мимо нас проехал запряженный лошастью экипаж. Звенели колокольчики на сбруе.

— Я последнее время много думал о мечетях, — вымолвил Сохраб.

— Да? Почему вдруг?

— Просто они не шли у меня из головы. — Он взглянул на меня. Только сейчас из глаз у него полились слезы. — Можно тебя спросить, Амир-ага?

— Разумеется.

— А Господь... — Сохраб всхлипнул, — Господь низвергнет меня в ад за то, что я сделал тому человеку?

Я попытался его обнять. Мальчик отшатнулся.

— Конечно, нет.

Как мне хотелось прижать его к себе, приласкать, утешить, объяснить, что ему не в чем себя винить. Слишком сурово судьба обошлась с *ним* самим.

Лицо у Сохраба немного разгладилось.

— Папа мне говорил, что нельзя никому причинять зло, даже плохим людям. Вдруг они просто не умеют иначе. И потом, самый плохой человек может однажды исправиться.

— Не всегда, Сохраб.

Он вопросительно посмотрел на меня.

— Асефа, человека, который обидел тебя, я знаю с детства. Наверное, ты сам это понял из нашего с ним разговора. Когда-то давно (лет мне было, как сейчас тебе) он пытался... побить меня. Хасан меня спас. Он был очень смелый и встал за меня горой. И вот однажды Асеф жестоко оскорбил твоего папу. Это была месть с его стороны. А я не сделал ничего, чтобы помочь Хасану, как он когда-то помог мне.

— Почему люди так цепляются к папе? — спросил Сохраб дрожащим голосом. — Он в жизни никому не сделал ничего плохого.

— Твой папа был очень хороший человек, ты прав. Только вот что я стараюсь тебе втолковать, Сохраб-джан. В этом мире есть плохие люди, которые никогда не станут хорошими. Иногда приходится давать им отпор. Мне следовало разделаться с Асефом, еще когда я был мальчишкой. Ты сделал это за меня. Он получил по заслугам.

— Думаешь, папа рассердился бы на меня?

— Наверняка нет. В Кабуле ты спас мне жизнь. Он бы гордился тобой.

Сохраб вытер лицо рукавом. Рыдания сотрясали его маленькое тело.

— Я скучаю по отцу и по маме, — прохрипел он. — И я скучаю по Сасе и Рахим-хан-сагибу. Только... хорошо, что их со мной нет. Так мне порой кажется.

— Почему это? — Я коснулся его руки, и мальчик резко отдернул ее.

— Потому что... я не хочу, чтобы они видели меня таким. Я грязный. — Сохраб всхлипнул. — Я полон греха.

— На тебе нет грязи, — возразил я.

— Эти люди...

— И не смей так думать о себе.

— ...они такое вытворяли... со мной... главный и два его помощника...

— На тебе нет грязи и нет греха. — Я взял-таки его за руку, как он ни выдирался. — Я не обижу тебя. Обещаю.

Обнять его. Привлечь к себе.

Сохраб весь напрягся. Обмяк. Спрятал лицо у меня на груди.

Между теми, кто вскормлен одной грудью, существует братство. Но оно есть и между мною и маленьким мальчиком, смочившим слезами мою рубаху. Нас навеки связала победа над Асефом.

Когда же задать ему вопрос, который не дает мне уснуть по ночам? Может быть, сейчас и настал подходящий момент?

— Поедешь со мной в Америку? Будешь жить со мной и моей женой.

Сохраб не ответил.

Ведь ему надо было выплакаться.

Целую неделю я не заговаривал про Америку, будто этот вопрос меня вовсе не интересовал. И вот в один прекрасный день мы с Сохрабом взяли такси и отправились на смотровую площадку Дамани-Ко, «край горы». Отсюда, со скалистого выступа на склоне одного из холмов Маргаллы, открывался прекрасный вид на Исламабад с его зелеными проспектами и белыми зданиями. Таксист сказал нам, что оттуда можно разглядеть президентский дворец, а после дождя, когда воздух чист, видны даже земли за Равалпинди. [48] Глаза его в зеркале заднего вида перебегали с меня на Сохраба и обратно. Моя физиономия была уже не такая опухшая, зато желтизны прибавилось.

Мы сели на скамеечку в тени эвкалипта, идеальное место для любителей пикников на природе. Был жаркий день, солнце стояло высоко, небо словно выцвело. На соседних лавках лакомились самсой и пакорой, слышалась знакомая мне индийская мелодия из какого-то старого фильма, по-моему, из «Пакизы». Ребятишки играли в мяч, заливисто смеялись, кричали. Вспомнилась крыса в кабинете директора детского дома в Карте-Се, и у меня вдруг дыхание перехватило.

Во что мои соотечественники превратили родную землю!

— Что с тобой? — спросил Сохраб.

— Ничего страшного, — улыбнулся я. — Уже прошло.

Мы расстелили на нагретом солнцем столе гостиничное полотенце и принялись играть в панджпар. Музыка не утихала, теперь мотивы шли все больше незнакомые.

— Смотри, — Сохраб картами указал на ястреба, кружившего в неохватном небе.

— Я и не знал, что в Исламабаде есть ястребы, — сказал я.

— И я не знал. — Мальчик не отрывал глаз от птицы. — А там, где ты живешь, они есть?

— В Сан-Франциско-то? Наверное. Только они как-то не попадались мне на глаза.

Я надеялся, он спросит еще о чем-нибудь. Но Сохраб перетасовал карты и сказал, что хочет есть. Пришлось достать из бумажного пакета кофту. Сам-то я питался исключительно протертыми бананами и апельсинами — с этой целью пришлось одолжить у госпожи Фаяз на неделю блендер. Чашка вместо тарелки, соломинка вместо ложки.

Сохраб подал мне салфетку и проследил, чтобы я хорошо вытер губы. Я благодарно улыбнулся, и он ответил мне улыбкой.

— Твой папа и я были братьями, — неожиданно вырвалось у меня. Тогда, у мечети, я почему-то не смог ему об этом сказать. Только тайнам между нами места теперь не было. — У нас был один отец.

Сохраб отложил лепешку.

— Папа никогда не говорил, что у него есть брат.

— Он и не знал.

— Почему?

— Ему не сказали. И мне никто ничего не сказал. Все выяснилось совсем недавно.

У Сохраба сделалось такое лицо, будто он видит меня впервые в жизни.

— А почему люди скрывали это от папы?

— Я сам себе задавал этот вопрос. И ответ мне совсем не понравился. Скажем так: в глазах других мы не годились друг другу в братья.

— Потому что он был хазарец?

Я заставил себя посмотреть ему прямо в глаза.

— Да.

— А ваш отец одинаково любил тебя и папу?

Озеро Карга. Мы пускаем камешки по воде, и плоский голыш Хасана рикошетит целых восемь раз. Баба хлопает Хасана по плечу.

Больничная палата, с лица Хасана сняли повязки, волнение и радость отца.

— Думаю, он любил нас одинаково, только каждого по-своему.

— Ему было стыдно за папу?

— Нет. Думаю, ему было стыдно за самого себя.

Мы уехали со смотровой площадки ближе к вечеру, разморенные зноем. Всю дорогу я чувствовал на себе взгляд Сохраба.

Возле магазина я попросил водителя остановиться и купить мне телефонные карты.

Когда стемнело, мы лежали на кроватях у себя в номере и смотрели телевизор. Два служителя Аллаха с седеющими бородами и в белых чалмах отвечали на звонки правоверных со всего света. Мусульманин из Финляндии по имени Аюб поинтересовался, попадет ли его сын в ад за то, что его штаны висят на бедрах слишком низко, даже трусы видны.

— Я однажды видел Сан-Франциско на картинке, — сообщил Сохраб.

— Правда?

— Там был красный мост и высокий дом с острой верхушкой.

— Тебе бы на улицы посмотреть, — сказал я.

— Они такие интересные?

Муллы на экране оживленно обсуждали тему.

— Они такие крутые, что, когда машина одолевает подъем, видишь только ее капот и небо.

— Страшно, наверное. — Сохраб повернулся спиной к телевизору.

— Только на первых порах. Быстро привыкаешь.

— А снег там идет?

— Нет. Зато тумана хоть отбавляй. Ты хорошо запомнил фото с красным мостом?

— Да.

— Иногда туман такой плотный, что моста совсем не видно. Из мглы торчат только две башни.

— Ух ты! — В его улыбке было удивление.

— Сохраб?

— Да?

— Ты подумал над тем, о чем я тебя спросил?

Улыбка исчезла у него с лица. Муллы в телевизоре пришли к выводу, что сын Аюба отправится прямиком в ад. А нечего таскать такие неприличные штаны.

— Я подумал, — выговорил Сохраб.

— И что?

— Мне страшно.

— Понятное дело, — ухватился я за соломинку. — Но ты быстро выучишь английский и привыкнешь...

— Я не об этом. Хотя... Только самое страшное другое...

— Что?

Сохраб сел на кровати и подтянул колени к подбородку.

— Что, если я тебе надоем? Что, если я не понравлюсь твоей жене?

Я сполз со своей койки и сел рядом с ним.

— Ты никогда не надоешь мне, Сохраб. Обещаю. Ты ведь мой племянник, помни. А Сорая-джан очень добрая. Поверь мне, мы будем любить тебя. Это я тоже обещаю.

Я взял его за руку. Сохраб поежился, но руку не отдернул.

— Я не хочу опять в приют, — тихо сказал он.

— Этого никогда не будет. — Я стиснул ему руку. — Ты поедешь домой вместе со мной.

Он беззвучно заплакал. Через минуту его рука сжала мою.

Мы кивнули друг другу.

Дозвонился я с четвертой попытки.

— Алло, — прозвучал в трубке голос Сорай.

В Исламабаде половина восьмого вечера. Значит, в Калифорнии половина восьмого утра.

Сорая уже час как на ногах и скоро уйдет на работу.

— Это я. — Сидя на кровати, я смотрел на спящего Сохраба.

— Амир! — радостно вскрикнула она. — У тебя все хорошо? Где ты?

— В Пакистане.

— Почему ты не звонил? Я так волновалась! Мама каждый день молилась и совершала назр.

— Прости. Сейчас у меня все хорошо.

Я сказал ей, что уезжаю на неделю, самое большее на две. А прошел уже почти месяц.

— Скажи Хале Джамиле, пусть прекратит истребление овец, — улыбнулся я.

— Почему «сейчас»? И что такое у тебя с голосом?

— Не волнуйся за меня. Все замечательно. Честное слово, Сорая. Мне надо о многом рассказать тебе, я давно собирался. Но сперва самое важное.

— Слушаю тебя, — сказала она уже более спокойным тоном.

— Я вернусь не один. Со мной приедет маленький мальчик. Его надо будет усыновить.

— *Что?*

Я посмотрел на часы.

— У меня на этой дурацкой телефонной карте всего пятьдесят семь минут, а мне столько всего надо тебе сказать... Сядь, пожалуйста.

Судя по звукам, к телефону подтащили стул.

— Ну, — сказала жена.

И впервые за пятнадцать лет нашего брака я поведал ей все. Раньше я не мог без ужаса подумать о признании. А теперь у меня прямо камень с души упал. Мне кажется, сама Сорая испытала нечто подобное, когда рассказала мне о своем прошлом во время сватовства.

Когда я закончил свой рассказ, она плакала.

— Что ты на это? — спросил я.

— Не знаю, что и подумать, Амир. Столько всего сразу...

— Я понимаю.

Она высморкалась.

— В одном убеждена: он должен жить с нами. Я настаиваю.

— Это точно? — Я закрыл глаза и улыбнулся.

— И ты еще спрашиваешь? Ведь он твой *каум*, родственник, значит, и мой тоже. Ты не

можешь выгнать его на улицу. — Она помолчала. — А какой он из себя?

Я поглядел на спящего Сохраба.

— Очень милый и серьезный.

— Невинная душа. Хочу его видеть.

— Сорая?

— Да?

— *Достет дарум*. Я люблю тебя.

— И я тебя. — В ее голосе звучала улыбка. — Только будь осторожен.

— Постараюсь. И вот еще что. Не говори родителям, кто он. Я сам.

— Ладно.

И мы закончили разговор.

Тщательно постриженную лужайку перед американским посольством в Исламабаде украшали круглые цветочные клумбы и декоративные кусты. Само здание, невысокое и белое, мало чем выделялось из рядовой застройки. Металлодетекторы живо реагировали на каркас, скрепляющий мою челюсть, и на всех трех КПП меня обыскали. Когда же мы попали в само посольство, мне будто плеснули в лицо ледяной водой — кондиционеры работали на совесть. Я назвал свое имя секретарше — худощавой блондинке за пятьдесят в бежевой блузке и черных брюках, — и она улыбнулась мне. Впервые за много дней передо мной предстала женщина, одетая не в бурку или шальвар-камиз. Постукивая карандашом по столу, блондинка просмотрела список записавшихся на прием, нашла мое имя и предложила сесть.

— Лимонаду не желаете?

— Я — нет, спасибо.

— А ваш сын?

— Простите?

— Вот этот милый молодой джентльмен, — улыбнулась она Сохрабу.

— Да, будьте любезны. Благодарю вас.

Мы с Сохрабом сели на кожаный диван, рядом с которым стоял американский флаг на длинном древке. Мальчик взял со стеклянного столика журнал и принялся невнимательно листать.

— Что? — вдруг спросил он.

— Не понял?

— Ты улыбаешься.

— Просто я думал о тебе.

Мой племянник нервно усмехнулся, взял другой журнал и пролистал за полминуты.

— Не бойся, — я коснулся его руки, — ты среди друзей. Успокойся и будь как дома.

Хороший совет. Мне самому не помешало бы последовать ему. А то сижу как на иголках.

Да тут еще шнурок развязался.

Секретарша поставила перед мальчиком высокий стакан — лимонад со льдом:

— Пожалуйста.

Сохраб застенчиво улыбнулся.

— Большое спасибо, — произнес он по-английски. Еще он знал, как будет «до свидания». Вот и весь его запас иностранных слов.

— Не за что, — рассмеялась дама в брюках и, постукивая каблучками, вернулась за свой стол.

— До свидания, — вежливо произнес Сохраб.

Ручки у невысокого Реймонда Эндрюса были маленькие, чистенькие, ухоженные, на безымянном пальце блестело обручальное кольцо. Рукопожатие вялое. «Наши судьбы теперь в этих руках», — подумал я, усаживаясь напротив чиновника. На стене у него за спиной рядом с топографической картой США висел рекламный плакат фильма «Отверженные». В горшке на подоконнике росли помидоры.

— Закурите? — спросил Эндрюс глубоким баритоном, удивительным для такой тщедушной фигурки.

— Нет, благодарю.

На Сохраба едва взглянул. На меня и вовсе старается не смотреть. К чему бы это?

Эндрюс достал из ящика стола початую пачку сигарет и щелкнул зажигалкой. Намазал руки лосьоном (баночка явилась из того же ящика). С зажатой в зубах сигаретой посмотрел на помидорный куст. Закрыв ящик и выдохнул дым.

— Ну что же, — глаза его сощурились, — рассказывайте.

Я почувствовал себя как Жан Вальжан перед инспектором Жавером.^[49] Пришлось напомнить самому себе, что я на американской земле, что этот господин — не противник мне, а союзник и что помогать людям вроде меня — его работа.

— Я намерен усыновить этого мальчика и увезти с собой в Штаты.

— Рассказывайте, — повторил он, аккуратно стряхивая пепел в мусорную корзину.

Я изложил ему версию, которая созрела у меня в голове, пока я разговаривал с Сораей. В Афганистан я прибыл, чтобы разыскать сына моего сводного брата. Мальчик проживал в детском доме в ужасающих условиях. Я заплатил директору энную сумму и забрал племянника. И вот мы в Пакистане.

— Вы приходите к ребенку дядей?

— Да.

Эндрюс взглянул на часы, протянул руку и повернул горшок с помидорами.

— Кто-нибудь может удостоверить этот факт?

— Да. Только я не знаю, где этот человек сейчас.

Чиновник повернулся ко мне и кивнул. Лицо его ничего не выражало.

Он хоть в покер-то играет своими нежными ручками?

— Челюсть у вас закована в металл, как я предполагаю, вовсе не потому, что так велит мода?

Да, Сохраб, вляпались мы с тобой.

— В Пешаваре на меня напали грабители.

— Я так и думал. — Он откашлялся. — Вы мусульманин?

— Да.

— Практикующий?

— Да.

По правде говоря, последний раз я молился Аллаху, когда доктор Амани сказал, что прогноз у Бабы неблагоприятный. И молитвы вспомнились сами собой, не зря в школе зубрил.

— Хотя в вашем положении это не так уж и важно. — Он провел рукой по безукоризненно уложенным волосам.

— Что вы имеете в виду?

Я взял Сохраба за руку. Мальчик вопросительно смотрел то на меня, то на чиновника.

— Ответ получится очень длинным. Можно для начала дать вам краткий совет?

— Слушаю вас.

Эндрюс затушил сигарету и сморщился.

— Откажитесь от этой затеи.

— Простите?

— Не подавайте заявления об усыновлении. Ничего не выйдет. Вот вам мой совет.

— Принято к сведению, — мрачно сказал я. — Может, объясните почему?

— Значит, вам понадобился длинный ответ, — бесстрастно произнес Эндрюс и сдвинул руки вместе, будто собираясь пасть на колени перед образом Девы Марии. — Предположим, все в вашем рассказе правда, хотя даю голову на отсечение, вы кое о чем умолчали. А кое-что добавили. Но не это важно. Вы здесь, он тоже здесь, все остальное побоку. Так вот, ваше заявление столкнется с серьезными препятствиями. Начать с того, что этот ребенок — не сирота.

— А кто же он тогда?

— С юридической точки зрения он сиротой не является.

— Его родителей расстреляли прямо на улице. Соседи это видели.

Хорошо еще, Сохраб не понимает по-английски!

— У вас имеется свидетельство о смерти?

— *О смерти?* Это в Афганистане-то? Там у большинства населения нет свидетельств о рождении.

Глаза у чиновника так стеклянными и остались.

— Сэр, не я составляю законы. Как бы вы ни возмущались, вам придется доказывать, что его родители умерли. Мальчик должен быть официально признан сиротой.

— Но...

— Я еще не закончил. Ведь вам нужен длинный ответ. Следующая сложность — взаимодействие с властями страны, где ребенок родился. Это и вообще не просто, а если речь идет об Афганистане — тем более. Американского посольства в Кабуле нет. Это очень затрудняет дело. Вопрос становится почти неразрешимым.

— Так что же мне делать? Выкинуть мальчика на улицу?

— Я этого не говорил.

— Его изнасиловали. — Мне вспомнились колокольчики и подведенные глаза.

— Очень сожалею. — Полнейшее равнодушие, словно про погоду говорит. — Но для Службы иммиграции и натурализации это не повод для выдачи молодому человеку визы.

— Что вы хотите этим сказать?

— Если желаете как-то помочь своей родине, переведите деньги какой-нибудь достойной благотворительной организации. Или идите добровольцем в службу лагеря беженцев. Но в данный конкретный момент мы не рекомендуем гражданам США усыновлять афганских детей.

— Идем, Сохраб, — сказал я на фарси и поднялся с места.

Мальчик скользнул ко мне и прижался головой к моему бедру. На фото Хасан с сыном стояли в такой же позе.

— Можно еще вопрос, мистер Эндрюс?

— Слушаю.

— У вас есть дети?

Сощурился. Моргнул. Впервые за все время.

— Так есть или нет? Вопрос очень простой.

Молчание.

— Так я и думал. На вашем месте должен сидеть человек, который понимает, каково это — хотеть ребенка.

Я направился к выходу, Сохраб за мной.

— А *вам* можно задать вопрос? — ожил Эндрюс.

— Валяйте.

— Вы успели пообещать мальчику, что возьмете его с собой в Америку?

— И что, если успел?

Он покачал головой:

— Давать обещания детям — дело опасное. — Вздохнул и опять открыл ящик стола. —

Так вы не отступитесь?

— Не отступлюсь.

Эндрюс протянул мне визитку:

— Тогда советую обратиться к хорошему адвокату по делам иммиграции. Омар Фейсал работает здесь, в Исламабаде. Скажите, что вы от меня.

— Спасибо, — пробормотал я и взял карточку.

— Желаю удачи.

Выходя из кабинета, я оглянулся. Яркое освещенный солнцем, Реймонд Эндрюс смотрел в окно, пальцы его нежно гладили помидорный куст.

— Всего наилучшего, — попрощалась с нами секретарша.

— Ваш босс мог бы быть и полюбезнее, — пожаловался я.

Как она отреагирует? Округлит глаза и скажет что-нибудь вроде: «Известное дело. Все жалуются»?

Она понизила голос:

— Бедный Рей. После смерти дочери он просто сам не свой.

Я вопросительно поднял бровь.

— Самоубийство, — прошептала дама в брюках.

В такси на пути в гостиницу Сохраб прижался головой к окну, не отрывая глаз от проплывающих мимо элегантных зданий, осененных эвкалиптами. Его дыхание то и дело туманило стекло.

Сейчас спросит меня, как прошла беседа.

Но он так и не спросил.

За закрытой дверью ванной шумно лилась вода. С первого дня нашего пребывания в гостинице Сохраб взял в привычку мыться перед сном не меньше часа. В Кабуле-то горячего водоснабжения было не сыскать днем с огнем.

Пока он отмокал в благоухающей пене (*ну теперь-то ты чистый, Сохраб?*), я позвонил Сорае.

Рассказал о нашем разговоре с Реймондом Эндрюсом.

Спросил:

— Что скажешь?

— Давай считать, что он не прав.

Она звонила в несколько международных агентств по усыновлению. За афганского ребенка никто из них не берется, но ведь еще не вечер.

— Как родители восприняли новость?

— Мадар рада за нас. Ты же знаешь, как она к тебе относится, что бы ты ни сделал, ей все по душе. Падар... ну, по нему никогда не поймешь. Он не торопится раскрывать душу.

— А ты сама рада?

Она переложила трубку в другую руку.

— Малышу-племяннику будет хорошо с нами, уж мы постараемся. Только бы нам было хорошо с ним.

— Я того же мнения.

— Меня одолевают мысли: какое блюдо ему понравится больше всего? Какой предмет в школе он полюбит? Вот дура-то, правда? — Сораея засмеялась.

Сохраб наконец закрыл кран. Слышно было, как мальчик плещется в ванне.

— Ты молодчина, — восхитился я.

— Да, чуть не забыла! Я ведь позвонила Кэке Шарифу!

Это он читал стихи на нашей нике (написаны они были почему-то на фирменном бланке какой-то гостиницы). Это его сын держал у нас над головами Коран, когда мы с Сораей, озаряемые фотовспышками, выходили на сцену.

— И что сказал дядюшка?

— Он постарается что-нибудь для нас сделать, переговорит с приятелями из службы иммиграции.

— Вот это новость так новость! — обрадовался я. — Жду не дождусь, когда ты увидишься с Сохрабом.

— Я жду не дождусь, когда увижусь с тобой.

Трубку я повесил с улыбкой.

Вот и Сохраб вышел из ванной.

После нашей беседы с Реймондом Эндрюсом он и десяти слов не проронил. Буркнет что-то невразумительное и опять молчит.

Забравшись в кровать, мальчик натянул одеяло до подбородка и почти сразу уснул.

Я протер пяточек на запотевшем зеркале и побрился. Старомодные бритвы в гостинице, еще с «безопасными» лезвиями. В ванне я валялся, пока вода не остыла и кожа не покрылась мурашками. Образы из прошлого и мысли о будущем уносили меня далеко-далеко...

Редкозубая улыбка Омара Фейсала — смуглого круглолицего брюнета с ямочками на щеках — была сама любезность. Под мышкой адвокат держал раздутый поношенный портфель без ручки, на локтях коричневого вельветового костюма красовались кожаные заплаты. Чуть ли не каждую фразу он начинал со смеха и извинений. Что-то вроде: *Простите, я буду в пять. Ха-ха.*

Когда я ему позвонил, он настоял, что сам ко мне подъедет.

— Таксисты в этом городе — народ ушлый. — Его английский был безупречен. — Почуют иностранца — сразу сдерут втридорога.

И вот Омар у нас в номере, источает улыбки и извинения, сопит и потеет.

Стоило ему полезть в портфель за блокнотом, как на мою кровать высыпалась целая куча бумаг. Число просьб о прощении удесятирилось.

Одним глазом Сохраб смотрел на телеэкран (звук был выключен), другим — на адвоката. Я сказал мальчику утром, что к нам придет юрист, и Сохраб не стал задавать лишних вопросов, только кивнул и прилип к телевизору.

— Вот он. — Желтый блокнот в руках у Фейсала. — Надеюсь, мои дети унаследуют организационные способности матери. Извините, наверное, вы не это хотели услышать от перспективного адвоката. Ха-ха-ха.

— Реймонд Эндрюс очень высокого мнения о вас.

— Мистер Эндрюс. Да, да. Достойнейший человек. Позвонил мне и рассказал про вас.

— Неужели?

— Да, да.

— Значит, положение, в котором я оказался, вам известно.

Фейсал смахнул с верхней губы капельки пота.

— Мне известна версия мистера Эндрюса.

С застенчивой улыбкой он повернулся к Сохрабу и произнес на фарси:

— А это, наверное, юноша, из-за которого весь сыр-бор.

— Разрешите представить вам Сохраба, — сказал я. — А это господин Фейсал, адвокат, о котором я тебе говорил.

Сохраб соскользнул с кровати и пожал Омару руку.

— Салям алейкум, — произнес он тоненьким голоском.

— Алейкум салям, Сохраб. А ты знаешь, что тебя называли в честь великого воина?

Сохраб молча кивнул, вернулся на свою кровать и лег на бок, не отрывая глаз от телевизора.

— Я и не знал, что вы так хорошо говорите на фарси, — сказал я по-английски. — Ваше детство прошло в Кабуле?

— Родился я в Карачи, но долгие годы жил в Кабуле. Шаринау, рядом с мечетью Хаджи Якуба. А вырос я в Беркли. В конце шестидесятых отец открыл там музыкальный магазин. Свободная любовь, банданы, мини-юбки, все такое. — Он наклонился ко мне поближе: — Я был в Вудстоке.

— Кайф, — сказал я.

Адвокат так смеялся, что опять весь вспотел.

— За исключением нескольких мелочей, я представил мистеру Эндрюсу верную картину, — продолжал я. — Вас я ознакомлю с ее полным вариантом, без цензурных изъятий.

Фейсал лизнул палец, открыл в блокноте чистую страницу и снял с ручки колпачок.

— Очень вам буду признателен. Давайте с этого момента говорить только по-английски.

— Согласен.

И я рассказал ему обо всем. О встрече с Рахим-ханом, о дороге до Кабула, о приюте, о публичном побивании камнями на стадионе «Гази».

— Господи, — прошептал он. — У меня такие милые воспоминания о Кабуле. Трудно поверить, что там сейчас творятся такие ужасы.

— А вы давно там были?

— Порядочно.

— Ничего общего с Беркли, должен заметить.

— Продолжайте.

Рассказ мой перешел на поединок с Асефом. Я рассказал о Сохрабе, рогатке, бегстве в

Пакистан. Когда я закончил, Фейсал что-то записал, глубоко вздохнул и мрачно посмотрел на меня.

— Вам предстоит жестокая битва, Амир.

— И у меня есть надежда на победу?

Фейсал спрятал ручку.

— Боюсь, вы уже слышали это от Реймонда Эндрюса. Победа крайне маловероятна. Хотя в принципе возможна.

И куда пропала вся его веселость?

— Значит, беспризорникам вроде Сохраба никогда не обрести семью? Эти ваши предписания и законоуложения просто бесчеловечны!

— Плетью обуха не перешибешь, Амир. И против фактов не попрешь. А факты таковы: текущее иммиграционное законодательство, требования агентств по усыновлению и политическая ситуация в Афганистане не в вашу пользу.

— Непостижимо. — Меня душила злость. — То есть все как раз предельно ясно. Но все равно это выше моего понимания.

Омар нахмурил лоб.

— К последствиям любого бедствия — а Талибан куда хуже землетрясения, уж вы мне поверьте, Амир, — можно отнести практическую невозможность доказать, что тот или иной ребенок остался сиротой. Разберись, поди, может, у этого конкретного мальчика родители живы и просто бросили его из-за невозможности прокормить. Или, может, он в одном лагере беженцев, а папа с мамой — в другом. С этим сталкиваешься на каждом шагу. Так что иммиграционная служба визу не выдаст, пока официально не будет доказано, что ребенок подпадает под определение «сирота». Как ни нелепо, вам необходимо представить свидетельства о смерти.

— И кто мне их в Афганистане даст?

— Более того. Даже если доказано, что родители погибли, Служба иммиграции придерживается мнения, что пусть уж лучше ребенка усыновят в его родной стране. Хотя бы право наследования останется за ним.

— Что наследовать-то? — воскликнул я. — Талибы подмели все подчистую. Вы видели, что они сделали с гигантскими статуями Будды в Бамиане?

— Простите, Амир, я излагаю точку зрения официального органа. — Фейсал посмотрел на Сохраба и улыбнулся. — Ребенка можно усыновить только согласно законодательству его страны. И если в стране смута, как сейчас в Афганистане, властям не до приемных родителей с их бедами.

Я вдохнул и протер глаза. Мигрень начиналась сразу же за веками.

— Предположим даже, что случилось чудо и ваше дело официально рассмотрят афганские чиновники. — Омар скрестил руки на выступающем животике. — Скорее всего, последует отказ. Мусульманские страны, даже маленькие, не любят отдавать своих детей за границу. Ведь шариат в большинстве из них не признает усыновлений.

— По-вашему, мне не стоит связываться с этим делом?

— Я вырос в США, Амир. Америка меня научила: отступать, не ввязавшись в битву, значит обосраться. Но как юрист я обязан представить вам факты. А они подсказывают мне еще вот что: ни одно агентство не пошлет своего представителя в Афганистан для оценки условий жизни ребенка.

Сохраб сидел на кровати, подтянув колени к подбородку (любимая поза Хасана), и

исподтишка наблюдал за нами.

— Я его дядя, это принимается в расчет?

— Если есть доказательства. Соответствующие документы или свидетели.

— Документов нет, — утомленно произнес я. — Сохраб узнал обо всем от меня, да и сам я до недавнего времени пребывал в неведении. У меня только один свидетель, да и тот, возможно, уже умер.

— М-да.

— Омар, у меня есть какие-то варианты?

— Говоря откровенно, очень мало.

— Так что же мне делать, ради всего святого?

Фейсал набрал воздуха в грудь, постучал авторучкой по подбородку. Выдохнул.

— Вы можете подать заявление на усыновление и надеяться на лучшее. Вы можете попытаться усыновить ребенка по его собственному желанию. Для этого вам придется прожить вместе с Сохрабом в Пакистане два года, день в день. Вы можете попросить политического убежища от его имени. Процедура длительная, и вам придется доказывать факт политического преследования. Вы можете подать просьбу о выдаче гуманитарной визы. Вопрос этот в компетенции Генерального прокурора, и ее не всем дают. — Адвокат помолчал. — Есть и еще вариант, для вас, пожалуй, самый выгодный.

— Говорите же!

— Вы можете отдать мальчика в детский дом здесь, а потом обратиться с просьбой об усыновлении. Пока суд да дело, все эти формы «Ай-600» и обстоятельства семейной жизни, он будет в безопасности.

— Что еще за формы?

— Простите. Форма «Ай-600» — стандартная процедура анкетирования Службы иммиграции. Обстоятельства семейной жизни изучает агентство по усыновлению. Надо же убедиться, что вы с женой — не буйные сумасшедшие.

— Но я обещал Сохрабу никогда больше не отдавать его в детский дом!

— Как я сказал, этот вариант для вас самый подходящий.

Мы поговорили еще немного, и я проводил его до машины.

Солнце садилось. Старый «фольксваген»-жук просел под тяжестью толстяка-юриста. Фейсал опустил стекло и окликнул меня.

— Да? — Я подошел поближе.

— Вы подумайте хорошенько. Если действовать, то только так.

Как жалко, что рядом со мной нет Сораи!

Когда я вернулся в номер, телевизор был выключен. Я опустился на свою кровать и попросил Сохраба сесть рядом.

— Господин Фейсал считает, что у меня есть возможность забрать тебя с собой в Америку.

— Правда? — Сохраб слабо улыбнулся, впервые за все дни, что мы провели вместе. — Когда едем?

— В этом-то все и дело. Придется немного потерпеть. Но с его помощью мы добьемся своего.

Я погладил мальчика по голове. С улицы донесся слабый призыв муэдзина.

— Сколько потерпеть? — спросил Сохраб.

— Не знаю. Какое-то время.

Сохраб повел плечами. Улыбка его сделалась шире.

— Ничего. Можно и подождать. Это как кислые яблоки.

— Яблоки?

— Однажды, совсем маленький, я забрался на яблоню и наелся зеленых яблок. У меня разболелся живот, его раздуло как барабан. Мама сказала, что если бы я подождал, пока яблоки созреют, живот бы не прихватило. И теперь, когда мне очень хочется чего-то, я всегда вспоминаю ее слова.

— Зеленые яблоки, — пробормотал я. — Ты умница, Сохраб-джан. Такой разумный мальчик мне еще не попадался.

У Сохраба даже уши покраснели от похвалы.

— И ты возьмешь меня на красный мост, который часто окутан туманом?

— Обязательно возьму.

— И мы поедем по крутым улицам, где из машины видно только капот и небо?

— Проедемся по всем до единой. — Я постарался сморгнуть слезы.

— А английский язык трудный?

— Через год ты будешь говорить так же свободно, как на фарси.

— Правда?

— Да. — Я взял его за подбородок и повернул лицом к себе. — Только вот что, Сохраб...

— Что?

— Господин Фейсал считает, что нам будет проще уехать, если... если ты согласишься некоторое время побыть в детском доме.

— В детском доме? — Улыбка исчезла у него с лица. — В приюте?

— Совсем недолго.

— Нет. Ни за что. Прошу тебя.

— Сохраб, это правда будет недолго. Даю слово.

— Ты обещал мне, что никогда не отдашь меня в такое место, Амир-ага. — Голос у Сохраба пресекся, по щекам потекли слезы.

Хорошо же я выгляжу в глазах мальчика!

— Это же Исламабад, не Кабул. Здесь все будет совсем по-другому. Я буду часто навещать тебя. Время пролетит быстро. Очень скоро я заберу тебя оттуда, и мы улетим в Америку.

— Нет! Нет! Только не в приют! Я боюсь! Там меня будут обижать!

— Тебя никто больше не обидит. Никогда и нигде.

— Это неправда! Они всегда говорят: «Мы не сделаем тебе ничего плохого!» И всегда врут! Ради Аллаха, не отдавай меня в приют!

Я смахнул слезы у него со щеки и мягко сказал:

— Яблоки, помнишь? Это как кислые яблоки.

— Ничего подобного! Это место совсем не такое! Только не в приют! Умоляю тебя!

— Ш-ш-ш-ш. — Я прижал к себе дрожащее маленькое тельце. — Ш-ш-ш-ш. Все будет хорошо. Мы вместе вернемся домой. Вот увидишь, все будет хорошо.

— Обещай, что не отдашь меня туда! Ради Аллаха, Амир-ага! Дай слово! — В сдавленном голосе Сохраба сквозил ужас.

Дать слово и нарушить? Я крепко обнял мальчика и принялся укачивать. Через некоторое время он затих, слезы высохли, дрожь прекратилась. Немного погодя Сохраб мирно засопел,

тело его обмякло. *Ужас усыпляет детей*, вспомнились когда-то прочитанные строки.

Я отнес его в постель и уложил, потом лег сам. За окном пылал закат.

Когда меня разбудил телефонный звонок, небо было совершенно черное. Я протер глаза и включил торшер. Половина одиннадцатого вечера. Я проспал почти три часа.

— Алло?

Усталый голос господина Фаяза:

— Звонок из Америки.

— Спасибо.

Свет в ванной горел: Сохраб совершал вечернее омовение.

Щелчок в трубке. Радостный голос Сораи:

— Салам!

— Привет.

— Как прошло совещание с адвокатом?

Я рассказал ей о предложении Омара Фейсала.

— Не забивай себе голову, — сказала жена. — Мы поступим иначе. Звонил Кэка Шариф. Он говорит, главное, привезти Сохраба в США. А уж дядюшка позаботится, чтобы мы уже не расставались. Он тут посоветовался с приятелями и почти уверен, что Сохраб получит гуманитарную визу.

— Серьезно? Да здравствует Кэка Шариф!

— А мы выступим в качестве опекунов. Только надо все проверить очень быстро. Виза действительна в течение года, времени для всех формальностей по усыновлению достаточно.

— Неужели у нас все получится?

— Похоже на то.

— Вот ведь радость! Люблю тебя.

— И я тебя.

Я повесил трубку и поднялся с кровати.

— Сохраб! У меня замечательная новость! — Я постучал в дверь ванной. — Только что из Калифорнии звонила Сораи. Нет нужды связываться с детским домом, Сохраб. Мы летим в Америку, ты и я! Слышишь меня? Мы отправляемся в Америку!

Я распахнул дверь.

Из груди моей исторгся крик. Я стоял на коленях и кричал. Кричал со сжатыми зубами. Кричал так, что, казалось, разорвется горло.

Когда приехала «скорая», я тоже кричал. Так мне потом сказали.

Войти мне не позволили.

Его увозят куда-то за двойные двери. Я кидаюсь вслед за каталкой, но ее загораживают двое мужчин в хирургических шапочках и женщина в зеленом халате. Край белой простыни метет кафельный пол, из-под простыни торчат маленькие окровавленные ступни. На ногте большого пальца левой ноги трещинка. Здоровенный парень в голубом упирается мне в грудь обеими руками и выталкивает за дверь. Обручальное кольцо у него на пальце такое холодное! Пытаюсь отпихнуть его, ругаюсь.

— Вам сюда нельзя, — говорит он по-английски, вежливо и жестко. — Ждите здесь.

Двойные двери со вздохом захлопываются. Только макушки в шапочках видны через застекленный верх.

Я в широком коридоре без окон. Вдоль стен на металлических складных стульях сидят люди. Их много. Некоторые примостились на полу, на потертом ковре. Еле сдерживаю крик. Такое уже творилось со мной однажды — в крошечной тьме цистерны бензовоза на пути в Пакистан. Забыть обо всем, обратиться в облако, улететь далеко-далеко, пролиться дождем над холмами... Только ноги у меня словно залиты бетоном, глотку саднит, в легких нет воздуха. Вот она, реальная жизнь, другой не будет. Больничное помещение, запах нашатыря и пота, перегара и карри. Под потолком, в тусклом свете люминесцентных ламп, с бумажным шелестом кружат мотыльки. Рваный шепот, вздохи, всхлипывания, стоны, лязг дверей лифта. Что мне делать, что делать?

Осматриваюсь. Сердце молотом бьет по ребрам, удары гулко отдаются в ушах. Слева от меня маленькая темная кладовая. Вот что мне нужно. Выхватываю из стопки сложенное покрывало. У туалета медсестра щебечет о чем-то с полицейским. Беру ее за локоть и спрашиваю, где запад. Она не понимает и хмурится. Глаза мне заливают пот, горло горит огнем. Спрашиваю еще раз. Умоляю. Наконец полицейский сообщает, что мне нужно.

Бросаю на пол свой импровизированный *джай-намаз*, молитвенный коврик, преклоняю колени, касаюсь лбом пола. Кланяюсь и кланяюсь, обратясь к западу. А я ведь уже лет пятнадцать не молился, вдруг забыл слова? Нет, кое-что помню. *Ла иллаахай Йлла, Мохаммед расул улла*. Нет Бога, кроме Аллаха, и Мохаммед — пророк Его. Баба ошибался, Бог есть. И всегда был. Я вижу его в глазах людей в этом коридоре скорби и отчаяния. Вот он, дом Господень; здесь, а не меж возносящихся к небу минаретов в белоснежном *маджиде* обретают Бога те, кто потерял его. Да простятся мне мои прегрешения, предательство и ложь! Да простится мне, что я много лет пренебрегал обязанностями мусульманина и обратился к Аллаху лишь в трудную минуту, да будет он ко мне благорасположен и милостив! Я кланяюсь, и целую землю, и даю обет совершить *закят* и *назр*. Я буду соблюдать пост во время Рамадана и даже по окончании его. Я вспомню каждое слово из Корана, священной книги, и отправлюсь в паломничество в знойный город посреди пустыни, и поклонюсь святыне Аль Кааба. Мысли мои отныне пребудут с Господом. Пусть только исполнит одно мое желание: да не падет на меня кровь Сохраба! Хватит и того, что руки у меня обагрены кровью его отца.

Губы у меня соленые от слез. Люди в коридоре уставились на меня, а я отбиваю поклоны и молюсь, молюсь.

Господи, не воздавай мне по грехам моим!

Черная, беззвездная ночь опускается на Исламабад. Я сижу на полу в темном закутке у отделения скорой помощи, передо мной коричневый столик, заваленный мятыми газетами и журналами: «Тайм» за апрель 1996 года, пакистанская газета с фотографией мальчика, попавшего под поезд неделю назад, какое-то глянцевоe издание с улыбающимися звездами Лолливуда на обложке. На стуле у противоположной стены клюет носом пожилая женщина в изумрудно-зеленом шальвар-камизе и вязаном платке, накатывающаяся дремота то и дело обрывает ее молитвы на полуслове. Кого сегодня услышит Господь, ее или меня? Перед глазами у меня стоит лицо Сохраба, подбородок с торчащей косточкой, уши-раковинки, глаза, формой напоминающие бамбуковые листья. Почему у сына и у отца одно лицо?

Черная, беспросветная тоска хватает меня за горло. Воздуха мне, воздуха!

Поднимаюсь и распахиваю окно. В помещение врывается душный запах тления и гнили. Стараюсь дышать всей грудью, но комок в горле остается.

Опять опускаюсь на пол. Листаю «Тайм» и не понимаю ни слова. Смотрю на трещины на цементном полу, на паутину по углам, на подоконник сдохлыми мухами, на часы на стене. Четверть пятого утра. Часов шесть назад меня вытолкали из комнаты за двойной дверью. И до сих пор никаких известий.

Странное ощущение: я словно сливаюсь с полом. Ужасно клонит в сон. Глаза закрываются, и я уношусь прочь. Вот проснусь, и все, что я видел, окажется сном. И вода, звонко капающая из крана в полную крови ванну, и левая рука мальчика, касающаяся пола, и окровавленное бритвенное лезвие на бачке — этим же лезвием я брился накануне, — и полуоткрытые безжизненные глаза. Прочь, не хочу. Глаза — это слишком страшно.

Сплю. Не помню, что снится.

Кто-то трясет меня за плечо. Открываю глаза. Передо мной на корточках сидит мужчина. На нем знакомая хирургическая шапочка, рот прикрыт белой бумажной маской, на маске — сердце у меня замирает — капельки крови. На его пейджере фотография маленькой девочки с раскосыми глазами. Врач снимает маску — слава богу. Видеть больше не могу крови Сохраба. У доктора смуглая кожа — прямо швейцарский шоколад, который мы с Хасаном покупали на базаре в Шаринау, — редющие волосы и карие глаза. Он представляется — доктор Наваз, — в речи его угадывается британский акцент. Мне вдруг хочется бежать от него, и подальше, — ведь я не вынесу его слов.

Он говорит: порезы были глубокие и мальчик потерял много крови.

Губы мои шепчут молитву.

Ла иллаалай Йлла, Мухаммад расул улла.

Он говорит: ему пришлось сделать несколько переливаний.

А как я скажу обо всем Сорае?

Его дважды вытаскивали с того света.

Даю обет совершить закат и назр.

И молодой здоровый организм победил.

Буду поститься.

Мальчик жив. Все хорошо.

Доктор Наваз улыбается. Смысл его слов ускользает. Он еще что-то говорит, но я уже ничего не слышу. Я целую ему руки, и прижимаюсь лицом к его ладоням, и поливаю

слезами его короткие мясистые пальцы.

Он замолкает. Ждет.

У полутемной, набитой жужжащими приборами палаты интенсивной терапии форма буквы «Г». Доктор Наваз ведет меня между рядами коек, разделенных белыми пластиковыми занавесками. Кровать Сохраба самая последняя, рядом с ней пост медсестер, две девушки в зеленом делают записи и тихонько переговариваются между собой. Пока мы с доктором ехали в лифте, я боялся, что, завидев Сохраба, опять разрыдаюсь. Вот оно, бледное личико, его едва видно из-за проводов и трубок. Но глаза мои сухи. Странное оцепенение овладевает мной. Наверное, водитель, успевший в последнюю секунду отвернуть в сторону и чудом избежать лобового столкновения, испытывает нечто подобное.

Сидя на стуле в ногах у Сохраба, я засыпаю. Когда открываю глаза, небо в окне у поста медсестер ясное, светло-голубое. Выходит солнце. Моя тень падает на неподвижно лежащего мальчика.

— Вам бы поспать, — говорит мне сестра.

Не узнаю ее — наверное, из утренней смены. Она отводит меня в соседнюю палату — пустую — и вручает подушку и одеяло. Опускаюсь на обитый искусственной кожей диван и сразу же куда-то проваливаюсь.

Во сне я опять внизу, в комнатке возле входа в отделение скорой помощи. Появляется доктор Наваз, снимает маску, его неожиданно белые руки тщательно ухожены, волосы причесаны. Да это вовсе и не доктор. Это мистер Эндрюс, любитель помидоров из посольства. Набывчившись, он щурит глаза.

Днем госпиталь — это путаница изломанных, залитых искусственным светом коридоров, по которым оживленно снуют люди. У этого лабиринта больше нет от меня тайн, я знаю, например, что кнопка четвертого этажа в лифте не горит и что дверь мужского туалета на том же этаже перекосило и, не надавив как следует плечом, ее не откроешь. Ритм больничной жизни тоже мне знаком: суматоха перед концом утренней смены, суетня и толкотня на протяжении всего дня, тишина и спокойствие ночью, прерываемые лишь стремительным движением сестер и врачей, если кого-то привезли на «скорой». Днем я бодрствую у кровати Сохраба, а по ночам брожу по коридорам, погруженный в мысли о том, что сказать мальчику, когда он очнется. Звук моих шагов разносится далеко. Придумать мне так ничего и не удастся, и я возвращаюсь в палату интенсивной терапии с пустой головой.

Когда по прошествии трех дней извлекали дыхательную трубку и переводили мальчика в другую палату, меня в госпитале как раз не было. Измученный бессонницей, накануне вечером я отправился в гостиницу в надежде хоть немного поспать и всю ночь проворочался с боку на бок. Утро застало меня в ванной комнате. Всю кровь, конечно, смыли, отдраили стены, на пол постелили новые коврики, но все равно на ванну я старался не смотреть. А вот присесть на самый краешек почему-то хотелось. Я представил себе, как Сохраб пускает горячую воду, раздевается, развинчивает бритвенный станок, снимает металлические накладные, достает лезвие, зажимает между двумя пальцами, погружается в воду, лежит немного с закрытыми глазами... О чем он думал, когда резал себе руку?

В холле меня настиг господин Фаяз.

— Выражаю вам свое глубокое сожаление, но вынужден просить вас покинуть гостиницу. Ваше присутствие здесь отпугивает постояльцев и плохо сказывается на бизнесе,

очень плохо.

Пришлось освободить номер. За три дня, которые я провел в госпитале, денег с меня не взяли. Ожидая на улице такси, я вспомнил слова, которые господин Фаяз сказал мне, когда мы нашли у мечети Сохраба. *Дело в том, что вы, афганцы... такие беспечные.* Я тогда посмеялся над ним, а зря. Ну как я мог заснуть, если перед этим принес Сохрабу весть, которой тот боялся больше всего на свете?

Таксиста я попросил сперва отвезти меня в персидский книжный магазин. А уже потом в госпиталь.

В новой палате Сохраба кремовые стены, украшенные обшарпанной серой лепниной, кафельный пол когда-то был белым. В палате находился еще один пациент — подросток из Пенджаба со сломанной ногой, медсестра сказала мне, что он упал с крыши движущегося автобуса. От загипсованной конечности к блокам тянулись веревочки с грузиками на конце.

Кровать моего племянника была у самого окна, утреннее солнце освещало ее. Рядом стоял охранник в форме, рот полон вареных арбузных семечек, — как несостоявшийся самоубийца, Сохраб находился под круглосуточным наблюдением. Так полагается, сказал мне доктор Наваз. Увидев меня, охранник отдал честь и покинул помещение.

Сохраб в больничной пижаме с короткими рукавами лежал лицом к окну. Я думал, он спит, но, когда я пододвинул стул к кровати, глаза мальчика распахнулись, он посмотрел на меня и отвернулся. Несмотря на все переливания крови, Сохраб был смертельно бледен, на сгибе правой руки виднелся длинный лиловый шрам — напоминание о больничных процедурах.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил я.

Он не ответил, глядя на детскую площадку за окном. У качелей в тени гибискуса зеленые виноградные плети обвивали деревянную решетку. Несколько детей копошились в песочнице. По безоблачному голубому небу тихо двигался крошечный самолетик, оставляя за собой белый след.

— Доктор Наваз говорит, тебя через несколько дней выпишут. Здорово, правда?

Тишина. Пенджабец на соседней койке пошевелился во сне и что-то пробормотал.

— Мне нравится твоя палата. — Я старался не смотреть на перевязанные запястья.

Неловкое молчание.

Через несколько минут у меня на лбу и верхней губе выступил пот. Я указал на нетронутую чашку с гороховым пюре, на пластмассовую ложку:

— Ты должен есть, тебе ведь надо набираться сил. Может, тебя покормить?

Он с каменным лицом посмотрел мне в глаза и снова отвернулся. Взгляд у него был безжизненный, как тогда, в ванной.

Я достал из пакета у ног подержанную книгу («Шахнаме», купленная мною в персидской книжной лавке) и показал обложку Сохрабу:

— Эту книгу мы с твоим папой читали в детстве, сидя под гранатовым деревом на холме у нашего дома...

Сохраб глядел в окно. Я постарался улыбнуться.

— Больше всего твой отец любил легенду о Рустеме и Сохрабе, в честь которого тебя и называли. Да ты и сам это знаешь.

Какой же я идиот!

— В письме он написал, что и тебе очень нравится эта история. Почитать?

Сохраб зажмурился и прикрыл глаза рукой. Той самой, с лиловым шрамом.

Я открыл заранее заложенную страницу.

— Начнем.

Интересно, что подумал Хасан, когда впервые *сам* прочел «Шахнаме» и обнаружил, какой отсебятиной я его пичкал?

— «Внимай же повести о битве между Рустемом и Сохрабом, сколь бы печальной она ни была.

Однажды Ростем, пробудившись чуть свет, наполнил стрелами колчан, оседлал своего могучего скакуна Рехша и помчался к Турану. По дороге булавой разил он онагра, зажарил его на вертеле из ствола дерева, съел целую тушу и, запив водой из родника, заснул богатырским сном. Проснувшись, он окликнул коня, но того и след простыл. Пришлось в доспехах, с оружием брести пешком...»

Я прочел почти целиком первую главу (до того места, где юный воин Сохраб является к своей матери Техмине, царевне Семенгана, и требует сказать, кто его отец) и захлопнул книгу.

— Хочешь послушать еще? Настала очередь сражений, помнишь? Сохраб ведет свое войско в Иран к Белой Крепости.

Он мотнул головой.

— Ладно. — Меня ободрило, что он хоть как-то отреагировал. — Может быть, продолжим завтра. Как ты себя чувствуешь?

Рот у Сохраба приоткрылся, и оттуда донесся хрип. Доктор Наваз предупреждал меня, что такое возможно, ведь трубка касалась голосовых связок. Мальчик облизал губы и шепотом выговорил:

— Устал...

— Врач говорит, так и полагается...

Он опять помотал головой.

— Что, Сохраб?

Сморщившись, он прошелестел:

— Устал от всего...

Солнечный луч разделял нас, и с той стороны вырисовывалось пепельно-серое лицо Хасана — не того мальчика, с кем я резался в шарики, пока муэдзин не выкликал свой вечерний *азан* и Али не звал нас домой, и не Хасана, с которым мы играли на холме в догонялки на закате дня, а изгнанного слуги, тащившего на спине к машине Бабы свои пожитки под теплым проливным дождем, — таким я его видел последний раз в жизни.

— Устал от всего, — печально повторил мальчик.

— Чего тебе хочется? Скажи, я все сделаю.

— Мне хочется... — Он прервался и прижал к горлу руку (опять его перевязанное запястье у меня перед глазами). — Мне хочется, чтобы прежняя жизнь вернулась.

— Сохраб...

— Мне хочется, чтобы папа и мама были рядом. И Саса тоже. Мне хочется поиграть в саду с Рахим-хан-сагибом. Мне хочется опять жить в нашем доме. — Он провел рукой по глазам. — Хочу, чтобы все старое вернулось.

Что мне сказать, когда я глаз не смею поднять? Сколько можно разглядывать собственные руки? *Это ведь и моя жизнь тоже. Я играл на том же дворе и жил за теми же воротами. Но трава высохла, и чужой джип стоит у нашего дома, пачкая маслом*

асфальт. Со старой жизнью покончено, Сохраб, и населявшие ее люди либо умерли, либо умирают. Остались только мы с тобой. Я и ты, и больше никого.

— Это невозможно, — наконец сказал я.

— Лучше бы ты не...

— Не говори так, прошу тебя.

— Лучше бы ты оставил меня лежать в воде.

— Не смей так говорить, Сохраб. — Я коснулся его плеча, но мальчик сбросил мою руку. — Для меня невыносимо слышать это.

А ведь недавно Сохраб перестал меня отпихивать. Пока я не нарушил своего обещания.

— Сохраб, мне не вернуть прежнюю жизнь, как бы мне этого ни хотелось. Зато я могу взять тебя с собой. Ты был в ванной, когда я хотел сказать тебе об этом. Тебе дадут визу в Америку, и ты будешь жить с нами. Это правда. Я обещаю.

Он шмыгнул носом и зажмурился.

Зря я сказал «обещаю».

— Знаешь, за свою жизнь я сделал много дурного, в чем потом раскаивался. Самое плохое: я взял назад обещание, которое дал тебе. Но больше такого не повторится. Прости меня, пожалуйста. И верь мне. — Я понизил голос: — Так ты поедешь вместе со мной?

В тот зимний день, сидя под вишней, ты спросил у Хасана, будет ли он есть грязь, если ты велишь. Устроил другу проверочку, нечего сказать. А теперь сам оказался в роли муравья под лупой. Старайся теперь, доказывай, что чего-то стоишь. Ты заслужил.

Сохраб повернулся на другой бок, спиной ко мне, и долго не произносил ни слова. Я уж подумал, он задремал, когда услышал:

— Я так устал...

Порвалось что-то между мной и мальчиком. До моей встречи с адвокатом Омаром Фейсалом робкая искорка надежды все-таки светила в глазах Сохраба. Теперь взгляд его потускнел, и неизвестно, вспыхнут ли его глаза опять. Улыбнется он когда-нибудь? Поверит мне?

Я сидел у его кровати, пока он не заснул, потом отправился на поиски другой гостиницы.

Я и ведать не ведал тогда, что целый год пройдет, прежде чем Сохраб заговорит вновь.

Мое предложение Сохраб так и не принял. И не отверг. Он понимал: однажды повязки снимут, больничную одежду заберут. Что тогда делать маленькому хазарейцу-беспризорнику, куда податься? Сил не осталось, в душе пустота и безразличие, веры никому нет, как нет и возврата к прежней жизни. Зато есть дядюшка с его Америкой.

Что ждет его там?

Но рассуждать о будущем для меня — непозволительная роскошь. Не до того, от демонов бы отбиться.

В общем, не прошло и недели, как по раскаленному летному полю мы подошли к самолету, и воздушный лайнер унес сына Хасана в Америку.

Позади были ужасы, впереди туман.

Однажды, году этак в 1984-м, в видеомагазине во Фримонте ко мне подошел парень со стаканом кока-колы в руке, показал на кассету с «Великолепной семеркой» и спросил, смотрел ли я этот фильм.

— Тринадцать раз, — любезно ответил я. — Чарльз Бронсон умирает, Джеймс Кобурн и

Роберт Вон тоже.

Парень взглянул на меня так, будто я плюнул ему в стакан.

— Ну спасибо тебе, приятель.

Кассету он, само собой, не купил.

Так Америка преподала мне урок: у нас не принято раскрывать, чем кончается фильм. Совершившему этот смертный грех уже не отмыться, всеобщее презрение покрывает его.

В Афганистане все было наоборот: люди старались заранее разузнать побольше насчет конца. Стоило нам с Хасаном вернуться из кинотеатра «Зейнаб» с какого-нибудь индийского фильма, как на нас все накидывались — Али, Рахим-хан, Баба, толпа отцовских приятелей и дальних родственников, вечно слонявшихся по двору и по дому. Только и слышно было: «А *она* находит свое счастье? А *его* мечты исполняются или все идет прахом? А конец счастливый?»

А какой конец у истории про меня и Хасана? Счастливый или нет?

Кто знает!

Все-таки жизнь — не индийский фильм. *Зендаги мигозара*, жизнь продолжается, любят повторять афганцы. И нет ей дела до героев и героинь, завязок и кульминаций, прелюдий и финалов, жизнь просто неторопливо движется вперед, словно пропыленный караван кучи.

И хотя в прошлое воскресенье случилось маленькое чудо, это дела не меняет.

Жарким августовским днем 2001-го (месяцев семь тому назад) мы прибыли домой. Сорая встречала нас в аэропорту. Я очень давно ее не видел. Только когда она обхватила меня за шею и меня овеял яблочный запах ее волос, я до конца понял, как соскучился.

— Ты как утреннее солнышко после темной ночи, — шепнул я.

— Что?

— Ничего. — Я коснулся губами ее уха. — Это я про себя.

Она присела перед Сохрабом на корточки и взяла мальчика за руку.

— Салям, Сохраб-джан. Я твоя Хала Сорая. Мы все тебя ждали.

Сердце у меня сжалось. В улыбке жены, в ее заплаканных глазах я увидел воплощенный образ материнства. Как жаль, что у нас нет своих детей!

Глядя в сторону, Сохраб переступил с ноги на ногу.

Из кабинета на втором этаже Сорая устроила спальню для Сохраба. На постельном белье разноцветные змеи парили в синем небе, у шкафа к стене была приклеена полоска бумаги с дюймами и футами — измерять рост мальчика, на видном месте стояла корзинка с книжками, игрушками и акварельными красками.

Сохраб безучастно сидел на кровати в своей белой футболке и новых джинсах, купленных перед отлетом в Исламабаде, — все это болталось на нем как на вешалке. Лицо у него по-прежнему было смертельно бледное, под глазами — темные круги. Глядел он на нас так же равнодушно, как в госпитале за обедом — на тарелки с рисом.

Сорая спросила, как ему понравилась комната. Я обратил внимание, что она старается не смотреть ему на запястья с розовыми шрамами и в то же время глаз не может от них отвести. Сохраб наклонил голову и, не говоря ни слова, засунул руки под себя. Посидел немного и лег. Когда минут через пять мы заглянули в комнату, он уже спал.

Мы тоже легли. Сорая заснула у меня на груди. А у меня, как водится, была бессонница. И с демонами я был один на один.

Где-то в середине ночи я встал и отправился к Сохрабу. Мальчик спал. Предмет, торчащий из-под подушки, оказался моментальной фотографией, на которой Рахим-хан запечатлел его вместе с отцом.

Со снимка мне щербато улыбался брат. «Отец разрывался между тобой и Хасаном. Он любил вас обоих, но свое чувство к Хасану вынужден был скрывать», — писал Рахим-хан в своем письме. Да, я был законный сын, наследник всего, что отец нажил, в том числе и неискупленных грехов. А мой сводный брат не имел никаких прав на отцовское богатство, зато унаследовал его чистоту и благородство. В глубине души Баба, наверное, втайне считал его своим настоящим сыном.

Я осторожно засунул фото обратно под подушку и внезапно понял, что во мне уже нет ни зависти, ни ревности, ни желчи. Поразительно, при каких обыденных обстоятельствах на человека нисходит прощение. Ни торжественного настроения, ни молитвенного экстаза. Просто клубок боли, копившейся столько лет, вдруг сам собой истаял и исчез в ночи.

Следующим вечером к нам на обед пришли генерал и Хала Джамиля. Прическа у тещи сделалась короче, а волосы — темнее. С собой она принесла гостинец — миндальный пирог.

При виде мальчика Хала Джамиля воскликнула:

— Машалла! Какой же ты красивый! Сорая говорила, что ты очень хорошенький, но одно дело — услышать, а другое увидеть!

И она вручила ему синий свитер с высокой горловиной.

— Это я для тебя связала. На следующую зиму будет в самый раз.

Сохраб принял подарок.

Генерал, опираясь обеими руками на трость, глядел на Сохраба словно на какую-то диковинную безделушку.

— Здравствуй, молодой человек. — Вот и все, что он сказал.

Теща забросала меня вопросами насчет моих травм — в свое время всем было сообщено, что на меня напали грабители. Нет, необратимых повреждений у меня нет. Да, через пару недель проволочный каркас снимут и я смогу есть, как все люди. Да, конечно, я буду прикладывать ремень с сахаром, чтобы шрамы быстрее зажили. И т. д. и т. п.

Мы с генералом попивали вино в гостиной, а жена с Халой Джамилей накрывали на стол. Слушая мой рассказ о талибах и Кабуле, тесть кивал в нужных местах, при упоминании о человеке, продававшем свой протез, поцокал языком. Про казнь на стадионе «Гази» и Асефа я упоминать не стал. Рахим-хана генерал знал по Кабулу и скорбно покачал головой, услышав про его болезнь. Но, судя по взглядам, какие тесть бросал на Сохраба, дремлющего на диване, мы топтались вокруг да около основной темы.

Расправившись с обедом, генерал решительно отложил вилку и взял быка за рога.

— Амир-джан, так ты расскажешь нам, откуда взялся этот мальчик?

— Икбал-джан! Что за вопросы ты задаешь? — возмутилась Хала Джамиля.

— Пока ты занята своим вязанием, моя дорогая, мне приходится заботиться о том, что говорят в обществе о нашей семье. Люди будут спрашивать. Им захочется узнать, почему какой-то хазарейский мальчик живет под одной крышей с моей дочерью. Что мне им ответить?

Сорая уронила ложку.

— Можешь им сказать...

Я взял жену за руку:

— Спокойно, Сора. Все в порядке. Генерал-сагиб совершенно прав. Люди *будут* спрашивать.

— Но, Амир...

— Не стоит волноваться. — Я повернулся к тестю: — Дело в том, генерал-сагиб, что мой отец спал с женой своего слуги и прижил с ней ребенка по имени Хасан. Его недавно убили. Мальчик на диване — сын Хасана. Он мой племянник. Вот так и отвечайте, если вас спросят.

Все выпучили на меня глаза.

— И вот еще что, генерал-сагиб. Никогда больше не называйте его «хазарейским мальчиком» в моем присутствии. Моего племянника зовут Сохраб.

За столом воцарилось глубокое молчание.

Назвать Сохраба «спокойным» не поворачивался язык. Ведь это слово подразумевает некую умиротворенность, плавность, безмятежность. Спокойствие — это когда жизнь течет неторопливо, чуть слышно, но уверенно.

А если жизнь застыла и не движется, то какая она? Оцепенелая? Безмолвная? И есть ли она вообще?

Вот таким и был Сохраб. Молчание облегалo его словно кокон. Мир не стоил того, чтобы о нем говорить. Мальчик не жил, а существовал, тихо и незаметно.

Порой мне казалось, что люди в магазине, на улице, в парке не видят Сохраба, смотрят сквозь него, будто никакого мальчика и нет. Сажу, читаю, подниму глаза от книги — а Сохраб сидит напротив меня, словно возникнув из ничего. Он не ходил, а скользил словно тень, даже движения воздуха не чувствовалось. А большую часть времени он спал.

Сора. очень расстраивалась из-за маленького молчуна. Мы еще приехать не успели, а жена уже напридумывала для него и занятия по плаванию, и футбол, и кегли. И что ее ждало? Ни разу не раскрытые книжки в детской, линейка для измерения роста без единой отметки, нетронутые составные картинки-пазлы? О своих собственных несбывшихся мечтах я уж и не говорю.

А вот в мире было беспокойно. Во вторник утром, 11 сентября, рухнули башни-близнецы и настали большие перемены. Всюду замелькали американские флаги: на антеннах такси, на одежде прохожих, даже на замызганных кепках попрошайек. Как-то прохожу мимо Эдит, уличной музыкантши, каждый день играющей на аккордеоне на углу Саттер-стрит и Стоктон-стрит, а у той на футляре инструмента — американский флаг.

Вскоре США подвергли Афганистан бомбардировке, на политическую сцену опять вышел Северный альянс, талибы, словно крысы, попрятались по пещерам. Зазвучали названия городов, знакомые мне с детства: Кандагар, Герат, Мазари-Шариф. Когда я был совсем маленький, Баба возил меня с Хасаном в Кундуз, мы втроем сидели в тени акации и по очереди пили арбузный сок из глиняного горшка — вот и все, что сохранила память. Теперь с уст Дена Разера, Тома Брокау^[50] и многочисленных посетителей кофеен не сходила битва за Кундуз, последний оплот талибов на севере. В декабре представители пуштунов, таджиков, узбеков и хазарейцев собрались в Бонне, и под недремлющим оком ООН начался политический процесс, призванный положить конец кровопролитию, длящемуся уже более двадцати лет. Каракулевая шапка и зеленый чапан Хаида Карзая приобрели популярность.

Все это прошло мимо Сохраба.

Мы с Сораей занялись кое-какими проектами, связанными с Афганистаном, причиной тому был не только гражданский долг, но и тишина, воцарившаяся на втором этаже нашего дома, безмолвие, засасывающее, словно черная дыра. Меня никогда не привлекала общественная деятельность, но когда позвонил Кабир, бывший посол в Софии, и попросил оказать посильную помощь в больничном проекте, я согласился. Небольшой госпиталь стоял когда-то у самой афгано-пакистанской границы, там оперировали беженцев, подорвавшихся на минах. Но деньги кончились, и госпиталь закрыли. Мы с Сораей вызвались руководить проектом. Теперь большую часть времени я проводил в своем кабинете за электронной почтой: вербовал по всему миру участников, хлопотал о субсидиях, организовывал мероприятия по сбору средств. И убеждал себя, что, привезя сюда Сохраба, поступил правильно.

Новый год мы с Сораей встретили у телевизора. Выступал Дик Кларк,^[51] густо сыпалось конфетти, люди целовались, поздравляли друг друга, радостно восклицали. А у нас дома с приходом нового года ничего не изменилось. Все окутывала тишина.

Четыре дня тому назад (сейчас март 2002 года), в холодный дождливый день, произошло маленькое чудо.

Мы с Сораей, Халой Джамилей и Сохрабом отправились в парк Лейк-Элизабет во Фримонте на собрание афганцев. Генерал недели две как отправился на родину — ему предложили в Афганистане министерскую должность. С серым костюмом и карманными часами было покончено. Хала Джамиля намеревалась последовать вслед за супругом, как только он худо-бедно обустроится. Она ужасно скучала по мужу, беспокоилась о его здоровье — и мы настояли, чтобы она пока переехала к нам.

В прошлый вторник — первый день весны — был афганский Новый год, *Солинау*. Афганцы с берегов всего залива Сан-Франциско участвовали в праздничных собраниях и мероприятиях. У меня, Сораи и Кабира был и еще повод для радости: наша маленькая больница в Равалпинди неделю назад открылась — пока, правда, только педиатрическое отделение, без хирургии. Однако начало было положено.

Все последние дни светило солнце, но в воскресенье с самого утра зарядил дождь. Афганское счастье, горько усмехнулся я, встал с кровати и, пока Сорая спала, совершил утренний намаз. В словах молитвы я давно уже не путался.

На место мы прибыли около полудня. Кучка людей пряталась под наскоро сооруженным навесом. Кто-то уже жарил *болани*, дымились чашки с чаем, исходило паром блюдо *ауша* из цветной капусты. Из аудиоплеера разносился хриплый голос Ахмада Захира. Наверное, наша четверка выглядела забавно, когда мы шагали по мокрой траве: впереди я с Сораей, за нами Хала Джамиля, Сохраб в необъятном желтом дождевике — замыкающий.

— Чему улыбаешься? — спросила Сорая, закрываясь от дождя газетой.

— Афганцы и Пагман неразделимы. Даже если настоящие сады Пагмана далеко.

Вот и навес. Жена и теща сразу направились к полной женщине, жарящей болани со шпинатом. Сохраб вошел было под пластиковую крышу, но сразу выскочил обратно под дождь, руки в карманах дождевика, мокрые волосы — прямые и каштановые, как у Хасана — облепили голову, встал у грязной лужи и смотрит в нее. Его никто не замечал. Со временем расспросы насчет нашего приемного сына — какой странный! — поутихли, чему мы были несказанно рады, ибо порой соотечественники бывают на редкость бестактны. Чего стоит одно только преувеличенное сочувствие, которым нас долго душили, все эти возгласы вроде

«О ганг бичара» («Бедный немой малыш»). Новость, на наше счастье, давно потускнела, и сейчас Сохраб для всех слился с пейзажем.

Я пожал руку Кабиру, невысокому седому человеку. Он представил меня целой дюжине новых знакомых, среди которых были отставной учитель, инженер, бывший архитектор, хирург — ныне хозяин ларька с хот-догами в Хейворде. Все они в Кабуле были знакомы с Бабой, все его уважали, у всех он сыграл в жизни определенную роль. По их словам, мне очень повезло. Ну как же, у меня ведь был такой замечательный отец.

Мы поговорили про тяжелую и, наверное, неблагодарную работу, ждущую Хамида Карзая в связи с проведением Лоя жирга^[52] и с грядущим возвращением короля после двадцати восьми лет изгнания. Мне вспомнилась ночь дворцового переворота 1973 года, когда под звуки стрельбы небо полыхало серебром, — Али тогда обнял меня и Хасана и сказал: не бойтесь, идет охота на уток.

Кто-то рассказал анекдот про Муллу Насреддина, все засмеялись.

— Твой отец любил хорошую шутку, — сказал Кабир.

— А ведь правда.

Я с улыбкой вспомнил, что первое время даже американские мухи прищлись Бабе не по душе. Сидя на кухне с мухобойкой, он с отвращением смотрел на зловредных насекомых, суетливо ползающих по стене и с поспешным жужжанием перелетающих с места на место, а потом прорычал:

— В этой стране даже мухи куда-то торопятся!

Часам к трем дождь перестал, но небо по-прежнему хмурилось. Подул холодный ветер. Народу прибавилось. Афганцы поздравляли друг друга, обнимались, целовались, делились угощением. В мангалах разожгли угли, далеко разнесся запах куриного кебаба и чеснока. Поставили кассету с каким-то новым, неизвестным мне певцом. Весело кричали дети, один Сохраб неподвижно стоял возле урны в своем желтом дождевике и смотрел вдаль.

Немного погодя, когда бывший хирург подробно рассказывал мне, как они с Бабой вместе учились в восьмом классе, Сорая дернула меня за рукав:

— Погляди-ка, Амир!

Штук шесть воздушных змеев парило в воздухе — желтые, красные и зеленые пятна на сером фоне.

Продавец змеев расположился неподалеку от нас.

— А ты не хочешь поучаствовать? — спросила жена.

Я подумал. Передал ей чашку с чаем. Подошел к продавцу и указал на желтого змея, обтянутого тканью.

— *Солинау мубарак*, — пожелал мне торговец, принял двадцатку и вручил деревянную шпулю с намотанной лесой.

— Вас тоже с Новым годом, — ответил я, проверяя на прочность покрытый «жидким стеклом» шпагат. Метод проверен еще мной и Хасаном: зажать лесу между большим и указательным пальцем и как следует дернуть. Из пореза сразу же показалась кровь. Продавец ухмыльнулся. Я улыбнулся ему в ответ.

Сохраб так и стоял около урны, только теперь глядел в небо. Со змеем в руках я подошел к нему.

— Нравится материал? — спросил я.

Сохраб посмотрел на меня, на змея, потом опять на небо. Волосы у него были совсем мокрые, даже струйки по щекам стекали.

— Я где-то читал, что в Малайзии при помощи воздушных змеев ловят рыбу, — сказал я. — Ты об этом наверняка не знал. К змею привязывают леску с крючком, и он летит себе над мелководьем. Тень на воду не падает, и рыба не пугается. А в Древнем Китае генералы посылали войскам приказы на змеях. Это правда. Я тебя не обманываю.

Я показал мальчику окровавленный палец:

— *Тар* — в отличном состоянии.

Краем глаза я видел, что Сорая наблюдает за нами из-под навеса, руки стиснуты на груди. В отличие от меня, она постепенно оставила попытки заинтересовать чем-то мальчика. Вопросы без ответа, пустые взгляды, молчание — все это было ей слишком больно, и она решила подождать лучших времен. Вдруг что-то сдвинется.

Я посплюнул палец и выставил руку вверх.

— Твой отец просто топнул бы ногой и посмотрел, куда полетит пыль. Он много таких штучек знал. — Я опустил руку. — Ветер вроде западный.

Сохраб в молчании смахнул капельку воды с мочки уха и переступил с ноги на ногу.

Сорая как-то спросила у меня, какой у него голос. Я сказал, что и сам уже забыл.

— Я тебе не говорил, что твой отец лучше всех бегал за змеями в Вазир-Акбар-Хане? А может, и во всем Кабуле, — продолжил я, тщательно привязывая лесу к петельке посередине крестовины. — Все соседские мальчишки ужасно ему завидовали. Он даже в небо не смотрел, когда бежал. Говорили, он следует за тенью змея. Но я-то его знал лучше. Он не гнался за тенью. Он просто... знал, где змей упадет.

Сразу пять змеев взмыли в небо. Люди с чашками в руках задрали головы.

— Поможешь мне запустить его? — спросил я.

Сохраб глянул на змея и опять уставился в небо.

— Ладно, один справлюсь.

Я ухватил шпулю левой рукой и отмотал фута три шпагата. Желтый змей, лежащий на траве, вздрогнул.

— Тебе предоставляется последняя возможность.

Но Сохраб не сводил глаз с двух змеев, парящих высоко над деревьями.

— Ну что же. За дело.

И я сорвался с места и зашлепал по лужам, зажав в кулаке конец лесы и стараясь держать змея высоко над головой. Как давно я не запускал змеев! Вот уж, наверное, посмешище-то. Шпуля в левой руке потихоньку разматывалась, леса резала в кровь правую руку. Ветер подхватил змея, и я ускорил бег. Еще порез, и еще. Шпуля быстро завертелась.

Все, дело сделано. Можно остановиться, перевести дух. И посмотреть на небо.

Мой змей маятником качался в вышине из стороны в сторону, слышался тихий шелест, будто бумажная птица машет крыльями. Кабульские зимы так и ожили у меня в памяти. Мне опять было двенадцать лет, и все старые навыки ко мне вернулись.

Рядом кто-то стоял. Я скосил глаза. Это был Сохраб, руки в карманах дождевика. Бежал вслед за мной, вот ведь как.

— Хочешь подержать? — спросил я.

Сохраб не ответил. Но руки у мальчика сами собой выскочили из карманов. Помедлив, он ухватился за протянутую ему лесу. Я быстро выбрал слабинку. Сердце у меня колотилось.

Мы стояли с ним бок о бок, высоко задрав головы. Дети, визжа, играли в догонялки, по парку разносилась музыка из какого-то старого индийского фильма, мужчины постарше молились, преклонив колени на пластиковые коврики, пахло мокрой травой, дымом и

жареным мясом...

Если бы я мог, я бы остановил время.

Зеленый змей подлетел поближе к нашему. Его направлял мальчишка с прической ежиком и в майке с надписью печатными буквами «ROCK RULES». Мальчишка поймал мой взгляд, улыбнулся и помахал мне рукой. Я помахал ему в ответ.

Сохраб передал мне лесу.

— Так, — сказал я. — Давай-ка преподнесем ему урок. А?

Отсутствующее выражение исчезло с лица Сохраба, глаза его больше не казались стеклянными. Они ожили. В них появился азарт. Щеки покраснелись.

Он ведь еще ребенок, как я мог забыть об этом!

Зеленый змей потихоньку подбирался к нашему.

— Не будем торопиться, — прошептал я. — Ну, давай... иди ко мне...

Зеленый занял позицию чуть выше нашего, не подозревая о ловушке, которую я ему приготовил.

— Смотри, Сохраб. Это один из любимых приемов твоего отца. Старый приемчик под названием «подпрыгни и нырни».

Сохраб учащенно сопел, изо всех сил вцепившись в вертящуюся шпулю. Стоило мне мигнуть, как шпулю уже держали маленькие мозолистые руки с треснувшими ногтями. Где же Сохраб? Откуда взялся мальчик с заячьей губой? И почему все засыпал слепящий снег, пахнувший курмой из репы, орехами и опилками? Как тихо стало. Только откуда-то издалека доносится голос хромого старого слуги, зовущий нас домой.

Зеленый змей теперь прямо над нами.

— Сейчас ударит, — шепнул я Сохрабу. — Момент настал.

Зеленый помедлил немного. Ринулся вниз.

— Готов! — воскликнул я.

Я проделал все блестяще. И это после стольких-то лет! Рывок в сторону — и мой змей увернулся. Слегка отпустить лесу, резко дернуть. Еще раз. Еще. Теперь мы выше. Описываем полукруг.

Все, братишка, сопротивление бесполезно. Леса-то твоя с треском перерезана. Прием Хасана сработал.

Зеленый, кувыркаясь и трепыхаясь, снижается.

Люди у нас за спиной свистят и хлопают. Я вне себя от радости.

Сияющий Баба аплодирует мне с крыши.

Смотрю на Сохраба.

Он кривит рот.

Он улыбается!

Не может быть!

Ватага мальчишек уже кинулась вдогонку за змеем.

Моргаю, и улыбка исчезает с лица мальчика.

Но она была! Я сам видел!

— Хочешь, я принесу тебе этого змея?

Кадык у Сохраба дергается. Волосы развеваются по ветру.

По-моему, он кивает.

Слышу собственный голос:

— Для тебя хоть тысячу раз подряд!

Бросаюсь вслед за змеем.

Всего-навсего улыбка. Она ничего не решает, ничего не исправляет. Такая мелочь.

Вздвогнувшийся листок на ветке, с которой вспорхнула испуганная птица.

Но для меня это знак. Для меня это первая растаявшая снежинка — предвестник весны.

Бегу. Взрослый мужик в толпе визжащих детей. Смешно, наверное. Но это неважно.

Ветер холодит мне лицо. На губах у меня улыбка шириной с Панджшерское ущелье.

Я бегу.

Халед Хоссейни о своем романе

Амир сам скажет вам, что он не является ни самым благородным, ни самым храбрым мужчиной. Но три года назад он совершил благородный и храбрый поступок. Он вернулся в талибанский Афганистан после двадцати лет отсутствия, чтобы искупить свой детский грех предательства. Он вернулся, чтобы спасти ребенка, которого никогда не видел, и тем самым спасти себя от собственного проклятия. Путешествие это едва не стоило ему жизни. И всему виной я. Ведь в конце концов, это я создал Амира, который является главным героем моего романа «Бегущий за воздушным змеем».

В 2003 году, когда моя книга ушла в печать, я повторил путешествие моего героя, сев в «Боинг-727» рейсом на Кабул. Как и Амир, я не был там очень много лет, целых 27, мне было 11, когда я покинул Афганистан. И теперь я возвращался туда 37-летним врачом, живущим в Северной Калифорнии, писателем, мужем и отцом двух детей. Я не отрываясь смотрел в иллюминатор, надеясь, что в прорезах между облаками увижу Кабул. И, когда это случилось, я словно слился со своей книгой и своим героем, я стал Амиром и вдруг ощутил родство с древней землей, которая виднелась далеко внизу. Это очень удивило меня. Я ведь и думать о ней забыл. Но выходит, дело обстояло иначе. И Афганистан тоже не забыл меня. Бытует мнение, что человек пишет о том, что он испытал. Я же собирался испытать то, что написал.

Мое двухнедельное пребывание в Кабуле окрасилось совершенно ирреальными оттенками, ибо каждый день я видел те места и те предметы, которые я уже видел — глазами Амира, в своем воображении. Но так же, как и Амир, я чувствовал себя туристом на собственной родине. Мы оба слишком долго не были здесь, мы не участвовали в двух войнах, бушевавших здесь, мы не страдали с остальными афганцами. Я писал о чувстве вины Амира. Теперь я и сам испытал то же чувство.

Граница между воспоминаниями Амира и моими собственными стерлась. На страницах книги Амир переживал мои воспоминания, а теперь я переживал его. Я помнил красивую улицу Джаде, а теперь здесь руины, груды щебня, остатки стен в выбоинах от пуль, за которыми нищие нашли себе пристанище. Я помнил, как отец покупал мне на этой улице мороженое. И я помнил, как Амир и его верный друг Хасан покупали на этой же улице бумажных змеев — у слепого старика по имени Сайфо. Я посидел на осыпающихся ступенях «Кино-парка», где мы с братом частенько смотрели советские фильмы и где Амир с Хасаном смотрели свое любимое кино «Великолепная семерка» — не менее тринадцати раз. Вместе с Амиром я заглянул в дымные, тесные кебабные, куда водили нас наши отцы и где все так же, спустя столько лет, у открытого огня сидели по-турецки мужчины, исходя потом и раздувая угли под вертелами с шипящими кебабами. Вместе с Амиром мы пристально вглядывались в синее небо над садами Бабура, правившего в XVI веке, и ловили глазами бумажного змея, плывущего высоко-высоко над городом. Я смотрел в небо и думал о том солнечном зимнем дне в 1975-м, когда 12-летний Амир сделал выбор и предал Хасана, который боготворил его. Этот день будет преследовать его всю жизнь. А сделай он иной выбор, то остался бы в Афганистане и с талибами.

Я сидел на трибуне стадиона «Гази» и наблюдал за новогодней процессией, в которой участвовали тысячи афганцев. Я смотрел на них и видел своего отца и себя, играющих в

бозкаши, а еще я видел Амира, который был свидетелем талибской расправы над двумя любовниками — вон там, у стойки южных ворот, где сейчас группа молодых людей в традиционной одежде танцует танец атан.

Но особенно вымысел и правда слились воедино, когда я отыскал наш старый дом в районе Вазир-Акбар-Хан, дом, в котором я вырос, так же как и Амир вырос в соседнем доме. Мне потребовалось три дня поисков, адреса я не помнил, а все вокруг изменилось до неузнаваемости. Но я искал и искал, пока не наткнулся на знакомую арку.

Я вошел в дом, и солдаты, обитавшие там теперь, оказались настолько любезны, что позволили мне мой ностальгический тур. И я увидел, что краска на моем доме, как и на доме Амира, облезла, трава пожухла, деревьев во дворе больше не было, а стена, ограждавшая двор, почти обрушилась. Как и Амира, меня поразило, каким же маленьким оказался мой дом по сравнению с тем, что жил в моей памяти. И — клянусь! — когда я вышел за ворота, то увидел на асфальте то самое гудронное пятно в виде кляксы Роршаха, которое увидел и Амир. Я попрощался с солдатами и пошел прочь, и во мне росло чувство, что если бы я не написал «Бегущего за ветром», то моя встреча с отчим домом потрясла бы меня гораздо сильнее. Ведь я уже пережил ее — в книге. Я стоял рядом с Амиром в воротах его дома и вместе с ним переживал потерю. Я видел, как он положил руки на ржавые штыри ограды, и мы вместе вглядывались в просевшую крышу и раскрошившееся крыльцо.

Вы скажете, что вымысел украл жизнь, — что ж, так оно, наверное, и есть.

Об авторе



Халед Хоссейни родился в 1965 году в Кабуле в семье афганского дипломата. В 1980-м его семья получила право на политическое убежище в Соединенных Штатах, где он поступил на медицинский факультет. Дебютный роман «Бегущий за ветром» стал главным американским бестселлером нового века и уже несколько лет является одной из самых читаемых книг в мире. Роман переведен более чем на сорок языков, общий тираж превысил десять миллионов экземпляров. В 2005 году Халед Хоссейни получил престижную литературную премию «Свидетель мира».

В ноябре 2007 года состоится мировая премьера фильма, снятого по роману Халеда Хоссейни. Российская премьера фильма «Бегущий за ветром» запланирована на весну 2008 года. В 2007 году вышел второй роман Халеда Хоссейни, «Тысяча сияющих солнц», который тотчас стал самой популярной книгой в книжных магазинах всех англоязычных стран.

Примечания

1

Парк «Золотые Ворота» в Сан-Франциско — один из крупнейших парков в мире, с секвойевым лесом, лагунами и искусственными озерами, в числе которых и озеро Спрекелс.

2

До войны Вазир-Акбар-Хан был респектабельным и очень спокойным районом Кабула, где помимо домов состоятельных горожан располагались иностранные представительства.

3

Мешхед — священный город шиитов, расположен на севере Ирана, на пересечении нескольких древних торговых путей; в Мешхеде находится грандиозная мечеть Гаухаршад, которая является святыней шиитов, и в город стекается множество паломников — до 11 миллионов ежегодно. Город возник на месте мученической смерти (по-арабски «машхад») 8-го шиитского имама Резы

4

Хазары (или хазарейцы) — тюркоязычный кочевой народ, история которого полна загадок. В настоящее время наиболее многочисленны хазарейцы в Афганистане, где их проживает более миллиона человек, в основном в центральной горной части (Хазараджат). В отличие от основного афганского населения, пуштунов, являющихся суннитами, хазарейцы исповедуют шиизм. Говорят хазарейцы на диалекте таджикского языка (хазараги). Хазарейцы долго сохраняли независимость, пока в 1892 году афганский эмир Абдуррахман не покорил Хазараджат.

5

После смерти пророка Мохаммеда мусульмане разделились на суннитов (от *арабск. ахль ассунна* — люди сунны) и шиитов (от *арабск. шиа* — приверженцы). Первые считали, что после смерти пророка никто из людей не может исполнять роль посредника в отношениях с Богом. Божественную волю можно выявить, изучая Коран и сунны — сборники преданий о

жизни пророка. Шииты же, напротив, утверждали: после смерти Мохаммеда посредником между Богом и людьми стал Али — двоюродный брат пророка, женатый на его единственной дочери. После убийства Али эта роль перешла сначала к его потомкам, а потом к духовенству, самые видные представители которого у шиитов носят титул аятоллы (знамение Бога). Сначала борьба между суннитами и шиитами шла с переменным успехом, но в конце концов шииты, уступавшие по численности своим оппонентам, потерпели поражение и на протяжении многих веков почти во всех мусульманских странах оставались дискриминируемым меньшинством. Единственной крупной страной, где им удалось прочно утвердиться, стал Иран.

6

Белуджистан — историческая область в Азии, на юго-востоке Иранского нагорья. Сейчас Западный Белуджистан входит в состав Ирана, а Восточный — в состав Пакистана.

7

Нан — дрожжевые лепешки, широко распространенные от Афганистана до Индии

8

Закят, закят (арабск., буквально — очищение), религиозный «очистительный» налог у мусульман, взимание которого предписано в Коране, а размеры и правила обложения приведены в шариате. Закят предназначался на содержание пророка Мохаммеда и его семьи, для помощи нищим, путешественникам и участникам «священной войны». В феодальных мусульманских государствах закят взимался со скота, ремесла, торговых прибылей, наличных денег и драгоценностей. У современных мусульман закят — добровольное даяние мусульманскому духовенству.

9

Хафиз — знаменитый персидский поэт, умер в 1389 году; его гробница в иранском Ширазе — место паломничества; величайший лирик Востока, сочетающий глубокое и жизнерадостное мировоззрение и совершенство формы. На русском языке известен прежде всего в переводах Фета.

Руми, Джалаледдин (1207–1273) — персоязычный поэт-суфий. Наибольшую славу принесла Руми созданная в последние годы жизни поэма «Месневи и манави». Свои теоретические положения Руми иллюстрировал притчами, заимствованными из фольклора народов Востока.

10

Саади (1203–1292) — персидский поэт-классик, автор произведений в жанре мудрых рассуждений, ставших образцом этого популярного направления в персидской классической литературе. Самые знаменитые произведения Саади — «Бустан» (1257) и «Гулистан» (1258).

11

«*Шахнаме*» — общее название прозаических и стихотворных сводов мифов и исторических хроник персидских народов. Самый значительный из них — знаменитая поэма великого персидского поэта Фирдоуси, писать которую начал другой персидский поэт — Дакики. От остальных сводов сохранились лишь фрагменты. «Шахнаме» начали составлять в III–VI веках на среднеперсидском языке, в VIII–IX веках — переводить на арабский язык, но эти тексты до нашего времени не дошли. В X веке на их основе были созданы своды на фарси.

12

Перевод С. Липкина.

13

Слава Богу (*арабск.*).

14

Бог даст (*арабск.*).

15

Герат расположен в крупном оазисе на северо-западе Афганистана, его основание приписывается Александру Македонскому. Город стал знаменит в XV веке — своей школой искусства миниатюры; центром декоративно-прикладного искусства он остается и сейчас.

16

Дауд Хан в последние годы правления короля Захир-шаха был премьер-министром, именно он убедил короля Афганистана отказаться от традиционной ориентации на Великобританию и создать современную армию по образцу вооруженных сил СССР. По тогдашнему «призыву Дауда» в московские военные училища и академии были направлены сотни курсантов и офицеров. 17 июля 1973 года Дауд Хан возглавил военный переворот, в результате которого король был отправлен в изгнание, Афганистан объявлен республикой, а Дауд Хан — ее президентом.

17

Ахмад Захир (1946–1977) — культовая фигура для афганцев, и не только в музыке; погиб в автомобильной аварии при загадочных обстоятельствах.

18

Священный Коран делится на 114 глав — сур (собственно «рядов» — камней в стене); каждая сура состоит из нескольких (от 3 до 286) стихов — аятов («чудо», «чудесное свидетельство»).

19

Манту (манты) — традиционное мясное блюдо народов Центральной Азии, известное под другими названиями также в Китае и Пакистане; состоит из мясного фарша в тонко раскатанном тесте; готовится на пару. *Пакора* — овощи, поджаренные во фритюре.

20

Ракат — цикл словесных формул и движений при совершении намаза. В ракат входят: заявление о количестве всех ракатов, которые верующий собирается произнести; 1-я и, как правило, 112-я суры Корана; отдельные строки из других сур; периодическое повторение «Аллах Акбар» — «Аллах велик». Если молитва происходит в мечети, то все действия производятся синхронно всеми присутствующими по примеру муллы.

21

Во имя Господа (*арабск.*).

22

Шурави — т. е. советские (от *шура* — совет).

23

Поле-чархи — пригород Кабула, где расположена тюрьма, получившая печальную известность после прихода к власти прокоммунистического режима как застенков для политзаключенных.

24

Рубаб — струнный щипковый музыкальный инструмент, очень популярный начиная со Средних веков во всей Центральной Азии. Низами сравнивает нежный, утонченный звук рубаба с щебетом певчих птиц.

25

«Человек ценой в шесть миллионов долларов» — знаменитый приключенческий телесериал 1974–1978 годов, пожалуй, первый из целой плеяды фильмов о киборгах. Его герой — бывший астронавт, которому после ранения заменили часть органов электромеханическими устройствами.

26

Майк Хаммер — герой популярных нуар-детективов Микки Спиллейна.

27

«Микалоб» — известная марка американского пива с чешско-немецкими корнями, название происходит от названия чешского городка Мехолупы.

28

Колледж низшей ступени — государственный или частный колледж с двухлетним сроком обучения, по окончании которого выпускнику присваивается квалификация

младшего специалиста. Сейчас в таких учебных заведениях обучаются около 40 процентов всех американских студентов. Закончив колледж высшей ступени с 4-летним сроком обучения, выпускник получает степень бакалавра.

29

Газель (арабск. «воспевать (женщину)») — одна из наиболее распространенных стихотворных форм в персидской и тюркской лирике (ее популярность можно сравнить с популярностью сонета в поэзии европейской), сформировалась газель в X–XI веках в творчестве персидских стихотворцев.

30

Джонни Карсон — популярный американский комик и телеведущий, его ежедневная программа «Сегодня вечером» шла на телеканале NBC более 30 лет. За это время программа получила четыре награды «Эмми».

31

Нихари — баранина или говядина под соусом карри.

32

Талибан — исламистское движение, пришедшее к власти в 1996 году. Оно зародилось в городе Кандагаре в первой половине 1990-х годов. По официальной версии, мулла Мохамад Омар (бывший моджахед, потерявший глаз на советско-афганской войне, присвоивший себе духовный титул наместника пророка) собрал небольшую группу радикально настроенных исламских студентов — «учеников Аллаха» — и повел их в бой за очищение ислама и установление богоугодной власти на территории страны. Слово «талиб» как раз и означает «ученик».

33

Гульбеддин Хекматияр — один из самых непримиримых афганских моджахедов, во времена советско-афганской войны его группировку финансировало и вооружало ЦРУ. Хекматияр исполнял две функции: вооруженное противостояние советским войскам и поддержка формирований моджахедов за счет производства наркотиков. Именно Хекматияр был одним из тех, кто в 90-е годы превратил Афганистан в мировой центр производства

героина. После вывода из Афганистана советских войск и свержения тогдашнего премьера Наджибуллы Хекматияр стал на какое-то время премьер-министром Афганистана. В 1994 году, когда Хекматияр вел бои за контроль над Кабулом, в городе в результате артобстрелов погибло более четырех тысяч человек. Когда в 1996 году в Кабул вошли талибы, он бежал в Иран, откуда был выдворен в 2002 году как персона нон-грата после того, как перешел на сторону талибов и стал призывать к войне с новым афганским правительством и американскими войсками. Наряду с Усамой Бен Ладеном, Гульбеддин Хекматияр является одним из самых разыскиваемых террористов.

34

Бурка (паранджа, чадра) — самый радикальный способ сокрытия женской красоты. Экзотическое одеяние, свободного покроя и яркой расцветки, укутывает женщину с головы до пят. В области глаз находится «смотровое окошко», забранное матерчатой сеточкой. Таким образом, женщина, будучи полностью закрытой, включая глаза, может видеть все, что происходит перед ней.

35

Раббани, Бурхануддин (р. 1940) — государственный деятель Афганистана, президент страны в 1993–1996 годах. В современном Афганистане остается лидером партии «Хезб-е джамиат-е ислами».

36

Лола (или лале) — дикие тюльпаны.

37

Кавали (каваль) — музыкальный инструмент, восточная разновидность флейты.

38

Паколь — традиционный афганский головной убор в виде коричневого шерстяного берета «две лепешки». В годы афганской войны являлся одним из атрибутов душманов.

39

Ахмад Шах-Масуд (1953–2001) — политический и военный деятель Афганистана, уроженец долины Панджшер. После организации в 1973 году попытки политического переворота бежал в Пакистан, после переворота 1978 года стал одним из самых активных организаторов повстанческих операций. Его популярность среди населения объяснялась прежде всего тем, что Шах-Масуд не был сторонником тотальной мобилизации. Свое прозвище, «Лев Панджшера», Шах-Масуд получил за эффективную партизанскую войну, которую он вел против советских войск и афганского правительства. После вывода советских войск стал одной из центральных фигур во властных кругах Афганистана. Позже ожесточенно воевал с движением Талибан, возглавив Северный альянс — объединение военных групп, противодействующих талибам. 9 сентября 2001 года Ахмад Шах-Масуд был тяжело ранен в результате взрыва бомбы, организованного двумя смертниками, выдававшими себя за саудовских журналистов. Умер 15 сентября 2001 года. Переходное правительство Афганистана посмертно присвоило ему титул «героя афганской нации».

40

Генерал Абдул Рашид Достум (Дустум) — один из главных участников исторических переворотов и мятежей последнего десятилетия в Афганистане. Бывший коммунист, предавший Наджибуллу, впоследствии активный участник антиталибской коалиции. Одно время под его контролем была чуть не половина Афганистана.

41

Бедиль (1644–1720 или 1721) — персоязычный поэт Индии, суфий. Создатель усложненного, так называемого «индийского стиля».

Абдурахман Нуриддин ибн Ахмад, прозванный *Джами* (1414–1492), — персидский и таджикский поэт и философ-суфий. В своих произведениях утверждает достоинство человека, идеалы добра, справедливости и любовь как движущую силу Вселенной. Автор философской поэмы об Александре Македонском — «Книги мудрости Искандера» (1486–1487) и книги притч «Бахаристан» («Весенний сад», 1487), содержащей образцы народной мудрости и морали.

42

Суфизм — мистическое течение в исламе, учение о постепенном приближении к познанию Бога посредством мистической любви. Суфизм оказал огромное влияние на всю исламскую культуру.

43

Табла — индийские барабаны.

44

Самса — пирожки, выпекаемые в тандыре, широко распространены от Индии до Турции;
бириани — индийский плов с мясом, овощами и йогуртом.

45

Лолливуд — ироническое название киноиндустрии Пакистана, базирующейся в Лахоре.

46

Маргалла — горы, возвышающиеся над столицей Пакистана и являющиеся национальным парком, где водятся редкие виды животных и птиц. «Визитная карточка» Исламабада.

47

Мечеть Шаха Фейсала, которая может вместить до 100 000 верующих, была построена на деньги короля Саудовской Аравии Фейсала.

48

Равалпинди — большой город на реке Лех, рядом с Исламабадом; пока строился Исламабад, являлся столицей Пакистана, сейчас он практически слился с Исламабадом.

49

Жан Вальжан и *инспектор Жавер* — персонажи романа Виктора Гюго «Отверженные».

50

Ден Разер и *Том Брокау* — знаменитые американские тележурналисты, в описываемое время ведущие программы новостей на каналах Си-би-эс и Эн-би-си.

51

Дик Кларк — известнейший американский актер, сценарист, кинорежиссер и продюсер.

52

Лоя жирга — традиционный парламент племенных, религиозных и этнических лидеров Афганистана.